

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Сержант Краузе насмешливо глядел, как Шабров поспешно схватил буссоль и потащил на позицию. Он



был местный, из Уфы. Чувствовались в нем крепость и подобранность природного хищника. Железный кулак его раз и навсегда пресекал робкие порывы к независимости.

Василий Агафонов

Восход кровавый и закат кровавый. Печаль темна и ненависть остра. И жалкой стала за колючкой ржавой Шекспировских трагедий мишура.

Случайным здесь и слабым не видна Безмолвна и оправданно-жестока Без договора, отдыха и срока Идет непримиримая война.

Анатолий Радыгин



Начиная с 60-х годов очень большое значение для меня приобрела оппозиционная деятельность в самом Советском Союзе. Это была искра, пробуждавшая веру — если не в то, что наступит перемена, то, во всяком случае, в то, что невозможно отнять у людей то человеческое, что им присуще. Оппозиция



в самом центре коммунизма, после стольких лет его господства, заставила, по крайней мере, усомниться в том, что система всеисильна в своем обезчеловечивании, препарировании человека и превращении его в предмет, в тех условиях, люди сопротивляются... то не все потеряно...

Виктор Кулерский

Насмешливым счастьем богаты, В беспечности плотской вольны, Мы — медленных волн перекаты



Под медным отливом луны. В безбрежности провинциальной На свалке времен и пространств Улыбкой провиденциальной Кончается сладостный транс.

Андрей Бородин

...Великобритании не хватает того, что можно назвать «лагерной литературой». Тот особый мир, который создается тайной полицией, цензурой, пытками, сфабрикованными процессами, конечно, известен в общих чертах, и существование оно не одобряется...



Джордж Орвелл

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · **Петр Григоренко** · Милован Джилас
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти
Эжен Ионеско · Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный · Амос Oz
Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Авраам Бен-Яков
Avraham Ben-Yakov
6, Hagana str.
Jerusalem 97852, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
Edward D. Lozansky
508 23rd Street N. W.
Washington, DC 20037, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Higariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова

K

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

51

Издательство «Континент»
1987

СОДЕРЖАНИЕ

Иосиф Бродский – Из цикла «Жизнь в рассеянном свете»	7
Владимир Максимов – И Аз воздам... Глава из романа	25
Елена Игнатова – Десять стихотворений	46
Андрей Бородин – Первая публикация. Стихи	52
Василий Агафонов – Из книги «Житие гарнизона». Рассказы	62
Марина Темкина – Стихи	82
Юрий Гальперин – Сукин сын. Рассказ	87
Григорий Марк – «Из мокрого, синего снега...» Стихи	126
Феликс Кандель – Слеза в дыму. Притча с извлечениями из хроник	131
Анатолий Радыгин – Восход кровавый и закат кровавый. Венок сонетов. Публикация Э. Штейна	156
СТИХИ	
Кирилл Померанцев, Виктор Еиютии	167
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ТРЕХ КОНТИНЕНТОВ	
Микола Зеров – Сонеты. Перевод с украинского и вступительная заметка <i>Василия Бетаки</i>	173
Яков Шабтай – Собственный полосатый тигр, нагоняющий смертельный страх. Перевел с иврита <i>Валерий Кукуй</i>	178
Томас Венцлова – Пять стихотворений. Перевод с литовского <i>Н. Горбаневской</i>	208
Рикардо Гуиральдес – Шорник. Перевод с испанского <i>А. Алмазова</i>	214
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Александр Зиновьев – С чего начинать. Статья первая. – Обращение к третьей русской эмиграции	219
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Виктор Кулерский – «Солидарность» вчера и сегодня	243

ЗАПАД – ВОСТОК	
Жан-Пьер Руссо – Финляндизация сознания	297
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Моше Вайсман – Суд отказал	307
ИСТОКИ	
Семен Бадаш – Забытые имена	319
ИСКУССТВО	
Соломон Волков – Феномен Ростроповича. К 60-летию великого артиста	329
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Джордж Орвелл – Артур Кестлер. Перевод с английского <i>Игоря Бродецкого</i>	345
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Георгий Иванов – Неизвестное стихотворение. Публикация <i>Кирилла Померанцева</i>	359
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	361
Комментарий Георгия Владимова к выступлению «Литературной газеты»	363
НАША ПОЧТА	371
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Алексей Татарinov – Одышливая гармония	401
Майя Муравник – Роман о бегстве	408
Р. Франкон – Несостоявшийся апокалипсис	413
Дмитрий Бобышев – Жареные розы Елены Шварц	418
КОРОТКО О КНИГАХ	427
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	433
НАША АНКЕТА	
Интервью с Куртом Воннегутом	437

ИЗ ЦИКЛА
«ЖИЗНЬ В РАССЕЯННОМ СВЕТЕ»

* *
 *

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.
В эту пору – разгул Пинкертонам,
и себя настагаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.
За такие открытья не требуют мзды;
тишина по всему околотку.
Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта –
пар клубами, как профиль дракона.
Помолись лучше вслух, как другой Назорей,
за бредущих с дарами в обеих
половинках земли самозванных царей
и за всех детей в колыбелях.

1980

* *
 *

Ночь, одержимая белизной
кожи. От ветреной резеды,
ставень царапающей, до резной
мелко вздрагивающей звезды,

ночь, всеми фибрами трепеща
как насекомое, льнет, черна,
к лампе, чья выпуклость горяча,
хотя абсолютно отключена.
Спи. Во все двадцать пять свечей,
добыча сонной белиберды,
сумевшая не растерять лучей,
преломившихся о твои черты,
ты тускло светишься изнутри,
покуда, губами припав к плечу,
я, точно книгу читая при
тебе, сезам по складам шепчу.

BAGATELLE

Елизавете Лионской

I

Помраченье июльских бульваров, когда, точно деньги
во сне,
пропадают из глаз, возмущенно шурша, миллиарды
и, как сдача, звезда дребезжит, серебрясь в желтизне
не от мира сего замусоленной ласточкой карты.

Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу козинак,
сокращает красавиц до профилей в ихних камеях;
от великой любви остается лишь равенства знак
костенеть в перекладинах голых садовых скамеек.

И ночной аквилон, рыхлой мышце ища волокно,
как возможную жизнь, теребит взбаламученный гарус,
разодрав каковой, от земли отплывает фоно
в самодельную бурю, подняв полированный парус.

II

Города знают правду о памяти, об огромности лестниц в
так наз.
разоренном гнезде, о победах прямой над отрезком.
Ничего на земле нет длиннее, чем жизнь после нас,
воскресавших со скоростью набранной к ночи
курьерским.

И всегда за спиной, как отбросив костяшки, рука
то ли машет вослед, в направленьи растроченных денег,
то ли вслух громоздит зашвырнувшую вас в облака
из-под пальцев аккордом бренчащую сумму ступенек.

Но чем ближе к звезде, тем всё меньше перил;
у квартир –
вид неправильных туч, зараженных квадратностью,
тюлем,
и версте, чью спираль граммофон до конца раскрутил,
лучше броситься под ноги взапуски замершим стульям.

III

Разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве,
время жизни, стремясь отделиться от времени смерти,
обращается к звуку, к его серебру в соловье,
центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти.

Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи
в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью,
руку бросившим пальцем на слух подбирает ключи
к бытию вне себя, в просторечьи – к его безголосью.

Так лучи подбирают пространство: так пальцы слепца
неспособны отдёрнуть себя, слыша крик «Осторожней!»
Освещённая вещь обрастает чертами лица.
Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.



Я распугивал ящериц в зарослях чаппареля,
куковал в казенных домах, переплывал моря,
жил с китайяной. Боюсь, моя
столбовая дорога вышла длинней, чем краля
на Казанском догадывалась. И то:
по руке не вычислить скорохода.
Наизнанку вывернутое пальто
сводит с ума даже время года,
а не только что мусора. Вообще верста,
падая жертвой свою предела,
губит пейзаж и плодит места,
где уже не нужно, я вижу, тела.
Знать, кривая способна тоже, в пандан прямой,
озверевши от обуви, пробормотать «не треба».
От лица фотографию легче послать домой,
чем срисовывать ангела в профиль с неба.

«БАРБИЗОН ТЕРРАС»

Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне.
Постояльцы храпят, не снимая на ночь
черных очков, чтоб не видеть снов.
Портье с плечами тяжелоатлета
листает книгу жильцов, любуясь
внутренностями Троянского подержанного коня

Шелест кизилового куста
оглушает сидящего на веранде
человека в коричневом. Кровь в висках
стучит, как не принятое никем
и вернувшееся восвояси морзе.
Небо похоже на столпотворение генералов.

Если когда-нибудь позабудешь
сумму углов треугольника или площадь
в заколдованном круге, вернись сюда:
амальгама зеркала в ванной прячет
сильно сдобренный милой кириллицей воляпюк
и совершенно секретную мысль о смерти.

1974

* *
*

Те, кто не умирают, живут
до шестидесяти, до семидесяти,
педствуют, строчат мемуары,
путаются в ногах.

Я вглядываюсь в их черты
пристально, как Миклуха
Маклай в татуировку
приближающихся
дикарей.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ни ты, читатель, ни ультрамарин
за шторой, ни коричневая мебель,
ни сдача с лучшей пачки балерин,
ни лампы хищно вывернутый стебель
– как уголь, данный шахтой на-гора,
и железнодорожное крушение –
к тому, что у меня из-под пера
стремится, не имеет отношенья.
Ты для меня не существуешь; я
в глазах твоих – кириллица, названья...
Но сходство двух систем небытия
сильнее, чем двух форм существованья.

Листай меня поэтому – пока
не грянет текст полуночного гимна.
Ты – все или никто, и языка
безадресная искренность взаимна.

* *
*

Чем больше черных глаз, тем больше переносиц.
А там – до стука в дверь уже подать рукой.
Ты сам себе теперь дымящий миноносец
и синий горизонт, и в бурях есть покой.
Носки от беготни крысиныя промокли.
К лопаткам приросла бесцветная мишень.
И к ней, как чешуя, прикованы бинокли
не видящих меня смотря каких женьшень.
У северных широт набравшись краски трезвой
(иначе – серости) и хлётких резюме,
ни резвого свинца, ни обнаженных лезвий,
ни собственной родни глаз больше не бздоме.
Питомец Балтики предпочитает Морзе!
Для спасшейся души – естественней петит.
И с уст моих в ответ на зимнее по морде
сквозь минные поля эх яблочко летит.

* *
*

Как давно я топчу, видно по каблуку.
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.
То и приятно в громком кукареку,
что звучит как вчера.
Но и черной мысли толком не закрепить,
как на лоб упавшую косо прядь.

И уже ничего не снится, чтоб меньше быть,
реже сбываться, не засорять
времени. Нищий квартал в окне
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,
в лицо запомнить жильца, а не,
как тот считает, наоборот.
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю как клубок
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.

* *
*

Вечер. Развалины геометрии.
Точка, оставшаяся от угла.
Вообще, чем дальше, тем беспредметнее.
Так раздеваются догола.

Но – останавливаются. И заросли
скрывают дальнейшее, как печать
содержанье послания. А казалось бы –
с лавии и начать...

Луна, изваянная в Монголии,
прижимает к бесчувственному стеклу
прыщавую, лезвиями магнолии
гладко выбритую скулу.

Как войску, пригодному больше к булочным
очередям, чем кричать «ура»,
настоящему, чтоб обернуться будущим,
требуется вчера.

Это – комплекс статуи, слиться с теменью
согласной, внутренности скрепя.
Человек отличается только степенью
отчаяния от самого себя.

РЕЗИДЕНЦИЯ

Небольшой особняк на проспекте Сарданапала.
Пара чугунных львов с комплексом задних лап.
Фортепьяно в гостиной, точно лакей-арап,
скалит зубы, в которых, короткопала
и близорука, ковыряет средь бела дня
внучка хозяина. Пахнет лавандой. Всюду,
даже в кухне, лоснится, дразня посуду,
образ – в масле – мыслителя, чья родня
доживает в Европе. И отсюда – тома Золя,
Бальзака, канделябры, балясины, капители
и вообще колоннада, в чьем стройном теле
размещены установки класса «земля-земля».

Но уютней всего в восточном – его – крыле.
В окнах спальни синее ольшаник не то орешник,
и сверчок верещит, не говоря уже о скворешнях
с их сверхчувствительными реле.
Здесь можно вечером щелкнуть дверным замком,
остаться в одной сиреневой телогрейке.
Вдалеке воронье гнездо как шахна еврейки,
с которой был в молодости знаком,
но спасибо расстался. И ничто так не клонит в сон,
как восьмизначные цифры, составленные в колонку,
да предсмертные вопли сознавшегося во всем
сына, записанные на пленку.

ЖИЗНЬ В РАССЕЯННОМ СВЕТЕ

Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом
ветра. Автомобили катятся по булыжной
мостовой, точно вода по рыбам
Гудзона. Еле слышный
голос, принадлежащий Музе,

звучащий в сумерках как ничей, но
ровный как пенье зазимовавшей мухи,
нашептывает слова, не имеющие значенья.

Неразборчивость буквы. Всклобоченная капуста
туч. Светило, наказанное за грубость
прикосновения. Чье искусство –
отнюдь не нежность, но близорукость.
Жизнь в рассеянном свете! и по неделям
ничего во рту, кроме бычка и пива.
Зимой только глаз сохраняет зелень,
обжигая голое зеркало, как крапива.

Ах, при таком освещении вам ничего не надо!
Ни торжества справедливости, ни подруги.
Очертания вещи, как та граната,
взрываются, попадая в руки.
И конечности коченеют. Это
оттого, что в рассеянном свете холод
демонстрирует качества силуэта;
особенно, если предмет немолод.

Спеть, что ли, песню о том, что не за горами?
о сходстве целого с половинкой,
о чувстве, будто вы загорали
наоборот: в полнолуние, с финкой.
Но никто, жилку надув на шее,
не подхватит мотивчик ваш: ни ценитель,
ни нормальная публика. Чем слышнее
куплет, тем бесплотнее исполнитель.

АРИЯ

Что-нибудь из другой
оперы, типа Верди.
Мало ли под рукой.
Вообще – в круговерти.

Безразлично о ком.
Трудным для подражания
птичкиным языком.
Лишь бы без содержания.

Скоро мене полста.
Вот гоношится бобрик
стриженого куста.
Вон изменяет облик,
как очертанья льдин,
марля небесных клиник.
Что это – я один?
Или зашел в малинник?

Розовый истукан
здесь я себе поставил.
В двух шагах – океан,
место воды без правил.
Вряд ли там кто-нибудь
кроме солнца садится,
как успела шепнуть
аэроплану птица.

Что-нибудь про спираль
с башней. И про араба
и про его сераль.
Это редкая баба,
если не согрешит.
Мысль не должна быть четкой.
Если в горле першит,
можно рвануть чечеткой.

Глянь, день прошел. Пчела
шепчет по-польски: «збродня».
Лучше кричать вчера,
чем сегодня. Сегодня

оттого мы кричим,
что, дав простор подошвам,
рок, не щадя причин,
топчется в нашем прошлом.

Ах, потерявши нить,
«моль» говорит холстинка.
Взгляда не уронить
ниже, чем след ботинка.
У пейзажа – черты
вывернутого кармана.
Пение сироты
радует меломана.

НА ВИА ДЖУЛИА

Теодоре Л.

Колокола до сих пор звонят в том городе, Теодора,
будто ты не растаяла в воздухе пропеллерною снежинкой
и возникаешь в сумерках, как свет в конце коридора,
двигаясь в сторону площади с мраморной
пиш.машинкой,
и мы встаем из-за столиков! Кочевника от оседлых
отличает способность глотнуть ту же жидкость дважды.
Не говоря об ангелах, не говоря о серых
в яблоках, и поныне не утоливших жажды
в местных фонтанах. Знать, велика пустыня
за оградой собравшего рельсы в пучок вокзала!
И струя буквально захлебывается, вестимо
оттого, что не всё еще рассказала
о твоей красоте. Городам, Теодора, тоже
свойственны лишние мысли, желанье счастья,
плюс готовность придраться к оттенку кожи,
к щиколоткам, к прическе, к длине запястья.

Теперь здесь торгуют останками твоих щиколоток,
загорелых доспехов, погасшей улыбкой, грозной
мыслью о свежих резервах, памятью об изменах,
оттиском многих тел на выстиранных знаменах.
бронзой

Всё зарастает людьми. Развалины – род упрямой
архитектуры, и разница между сердцем и черной ямой
невелика – не настолько, чтобы бояться,
что мы столкнемся однажды вновь, как слепые яйца.

По утрам, когда в лицо вам никто не смотрит,
я отправляюсь пешком к монументу, который отлит
из тяжелого сна. И на нем начертано: «Завоеватель»,
но читается «завыватель», а к вечеру – «забыватель».

ИЗ ПАРМЕНИДА

Наблюдатель? свидетель событий? войны в Крыму?
Масса жертв – всё в дыму – перемирие полотенца...
Нет! самому совершить поджог! роддома! И самому
вызвать пожарных, прыгнуть в огонь и спасти младенца,
дать ему соску, назваться его отцом,
обучить его складывать тут же из пальцев фигу.
И потом, завернув бутерброд в газету с простым лицом,
сесть в электричку и погрузиться в книгу
о превращаньях красавиц в птиц, и как их места
зарастают пером: ласточки – цапли – дрофы...
Быть и причиной и следствием! чтобы, Н лет спустя,
отказаться от памяти в пользу жертв катастрофы.

* *
*

Е. Р.

Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке
отражения город. Позвякивают куранты.
Комната с абажуром. Ангелы вдалеке
галдят, точно высыпавшие из кухни официанты.

Я пишу тебе это с другой стороны земли
в день рожденья Христа. Снежное толковище
за окном раздражается искренним «ай-люли».
Белизна размножается. Скоро Ему две тыщи
лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда,
завтра – четверг. Данную годовщину
нам, боюсь, обмывать, не добавляя льда,
избавляя следующую морщину
от возможной щеки; в просторечии, вместе с Нем.
Вот тогда мы и свидимся. Как звезда – селянина,
через стенку пройдя, слух бередит одним
пальцем разбуженное пианино,
будто кто-то там учится азбуке по складам.
Или нет – астрономии, вглядываясь в начертанья
личных имен там, где нас нету. Там,
где сумма зависит от вычитанья.

дек. 1985

* *
*

В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой,
и одна в углу говорила мне: «Молодой!
Молодой, поди, кому говорю, сюда».
И я шел, хотя голова у меня седа.

А в другой – красной дранкой свисали со стен ножи,
и обрубок, качаясь на яйцах, шептал: «Бежи!»
Но как сам не в пример не мог шевельнуть ногой,
то в ней было просторней, чем в той, другой.

В третьей – всюду лежала толстая пыль, как жир
пустоты, так как в ней никто никогда не жил.
И мне нравилось это лучше, чем отчий дом,
потому что так будет везде потом.

А четвертую рад бы вспомнить, но не могу, потому что в ней было как у меня в мозгу. Значит, я еще жив. То ли там был пожар, либо – лопнули трубы. И я сбежал.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

I

Годы проходят. На бурой стене дворца появляется трещина. Слепая швея, наконец, продевает нитку в золотое ушко. И Святое Семейство, опав с лица, приближается на один миллиметр к Египту. Видимый мир заселен большинством живых. Улицы освещены ярким, но посторонним светом. И по ночам астроном скрупулезно подсчитывает количество чаевых.

II

Я уже не способен припомнить, когда и где произошло событие. То или иное. Вчера? Несколько лет назад? В воде? В воздухе? В местном саду? Со мною? Да и само событие – допустим, взрыв, землетрясение, измена, огни Кузбасса – ничего не помнит, тем самым скрывает либо меня, либо тех, кто спасся.

III

Это, видимо, значит, что мы теперь заодно с жизнью. Что я сделался тоже частью шелестящей материи, чье сукно заражает кожу бесцветной мастью.

Я теперь тоже в профиль не отличим
от какой-нибудь латки, складки, трико паяца,
долей и величин, следствий или причин –
от того, чего можно не знать, сильно хотеть, бояться.

IV

Тронь меня – и ты тронешь сухой репей,
сырость, присущую вечеру или полдню,
каменоломню города, ширь степей,
тех, кого нет в живых, но кого я помню.
Тронь меня – и ты заденешь то,
что существует помимо меня, не веря
мне, моему лицу, пальто –
то, в чьих глазах мы в итоге всегда потеря.

V

Я говорю с тобой, и не моя вина,
если не слышно. Сумма дней, намозолив
человеку глаза, так же влияет на
связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.
Это – чтоб лучше слышать кукареку, тик-так,
в сердце пластинки шаркающую иголку.
Это – чтоб ты не заметил, когда я умолкну, как
красная шапочка не сказала волку.

СТРЕЛЬНА

Владимиру Герасимову

Боярышник, захлестнувший металлическую ограду.
Бесконечность, велосипедной восьмеркой
принюхивающаяся к коридору.
Воздух принадлежит летательному аппарату,
и легким здесь делать нечего, даже отдернув штору.

О, за образчик взявший для штукатурки лунный
кратер, но каждой трещиной о грозовом разряде
напоминавший флигель! отстраняемый рыжей дюной
от кружевной комбинации бледной балтийской глади.
Тем и пленяла сердце – душу! – окаменелость
Амфитриты, тритонов, вывихнутых неловко
тел, что у них впереди ничего не имелось,
что фронтон и была их последняя остановка.
Вот откудова брались жанны, ядвиги, ляли,
павлы, тѣзки, евгении, лентяи и чистоплюи!
Вот заглядевшись в чье зеркало, потом они подставляли
грудь под несчастья, как щеку под поцелуи.
Многие – собственно все! – в этом, по крайней мере,
мире стоят любви, как это уже проверил,
не прекращая вращаться ни в стратосфере,
ни тем паче в искусственном вакууме пропеллер.
Поцеловать бы их вправду затяжным как прыжок
с парашютом, душным,
мокрым французским способом! Или – сменив кокарду
на звезду в головах – ограничить себя воздушным
и воскреснуть, к губам прижимая, точно десантник,
карту.

* *
*

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской Вырица или Тарту.
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. «В нашей семье, – волнуясь,
ты бы вставила, – не было ни военных,
ни великих мыслителей». Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.

Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неимением
тела

тает, ссылаясь на неспособность клеток –
то есть извилин! – вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остаётся, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue, New York, N. Y. 10018

С 1 октября 1985 г. – ЗАГРАНИЧНАЯ ПОДПИСКА
в любую часть света (кроме Канады) *обычной почтой*:
(газеты за неделю высылаются бандеролью)

	1 год	6 мес.
Ежедневные и воскресные издания:	\$ 160.00	\$ 85.00
Воскресные издания только:	\$ 65.00	\$ 40.00

В страны Европы и Латинской Америки *воздушной почтой*:

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 325.00	\$ 175.00
Воскресные издания только:	\$ 125.00	\$ 70.00

В страны Азии, Африки и Австралии *воздушной почтой*:

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 350.00	\$ 200.00
Воскресные издания только:	\$ 145.00	\$ 85.00

Подписываясь на газету, будьте добры послать нам
денежный перевод на сумму заказа в американских долларах.

При продлении подписки обязательно прикрепите
компьютерную наклейку с Вашим адресом.

И АЗ ВОЗДАМ...

Глава из романа

«Бездна бездну призывает»
(Псалом XLI, 8)

ОДИССЕЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

(От автора)

Недавно в сборнике «Минувшее»* я прочел интересный материал самиздатского автора о судьбе Забайкальского казачьего войска. В фактологическом отношении я не извлек для себя из этого материала чего-либо принципиально нового: через трагические события, рассказанные автором, в той или иной степени пришлось пройти почти всем сословиям послереволюционной России. Новизна текста, на мой взгляд, в толковании этих событий. Как справедливо отмечается публикатором в предисловии: «Всякое зло не остается бесследным. Тем более – зло, носящее массовый характер: потомки расплачиваются за него». Недаром в заключение своего пространного очерка автор приходит к единственно логическому выводу: «Каждый рассчитывается за прожитую жизнь. Рассчитывается по-разному. Кого раздавливает совесть при жизни, кто содрогается, оглянувшись назад на смертном одре. Со всеми вместе расплачивается история».

Вот уже несколько десятков лет мы говорим о русской трагедии вообще и, в частности, о трагедии последовательных ленинцев, российской демократии, дворянства, интеллигенции, крестьянства, рабочего клас-

* Минувшее. Исторический сборник. Париж, «Атеней», 1986.

са, нацменьшинств и, наконец, казачества. Представители каждого из этих сословий по отдельности обвиняют в этом всех и вся, кроме самих себя. Одни – евреев, другие – русских, третьи – иноземное влияние и пришлых варягов, четвертые – союзников, а пятые – всех вместе взятых.

Но, внимательно и непредвзято изучая революционный период русской истории, невольно приходишь к выводу, что виноваты все и никто. Никто, в конечном счете, не вышел победителем из этой небывалой еще в человеческой истории политической смуты, все оказались побежденными ею, даже сами победители, сделавшись, в результате, безвольными пленниками той системы, которую они создали.

Нельзя, к примеру, отделить трагедию подлинных ленинцев, очутившихся впоследствии в подвалах той самой Лубянки, которую они выпестовали собственными руками, от трагедии тех, кого они загоняли туда до того, как исчезнуть там самим. То же самое можно сказать и о русских демократах печально известной эпохи Временного правительства, в течение всего лишь восьми месяцев разложивших собственное государство до полного основания. Не лучшим образом вело себя и наше достопочтенное дворянство, не только бросившее в лице своей аристократии страну на произвол судьбы, чтобы отсидеться в эмигрантской безопасности, но и выделившее из своих рядов множество попутчиков и апологетов большевизма, начиная от Ленина, кончая огромной частью офицерского корпуса во главе с бывшими генералами, вроде Брусилова, Зайончковского, Верховского, Снесарева и десятков, если не сотен других, составивших вскоре головку Красной армии: Каменева, Егорова, Тухачевского, Шапошникова, Вацетиса, Свечина и прочих, менее известных, но не менее беспринципных. Об интеллигенции я уже и не говорю, примеры Блока, Брюсова, Маяковского, Станиславского, Тимирязева, Мейерхольда, Эйзенштейна у всех на памя-

ти. Умолчу о тех, кто, восторженно приняв большевистский переворот, с годами опаматовались и вернули русской культуре свой долг сторицей. Даже трагедию крестьянства, рабочего класса и национальных меньшинств нельзя сегодня рассматривать без учета их собственного соучастия в преступлениях большевизма. Слава Богу, имеется достаточное количество потрясающих своей достоверностью свидетельств о кровавых зверствах этих сословий над ни в чем не повинными, кроме своего происхождения, людьми, о кошмарных самосудах, поджогах и садизме, проявленных ими в годы Гражданской войны. В том же свете следует, на мой взгляд, рассматривать и трагедию национальных меньшинств, давших этому движению его лучшие головы. Вспомним автора упомянутой мною вначале статьи об истории забайкальского казачества: «Каждый рассчитывается за прожитую жизнь». Если же каждый из нас не возьмет свою долю вины за случившееся с Россией, а будет продолжать валить ее на других, то, по моему глубокому убеждению, крови не будет конца, и мир окажется обреченным тоталитарной тирании.

Замысел моего нового романа именно в этом. Судьба русского казачества неотделима от судьбы всех народов, населявших ко времени Октябрьского переворота Российское государство. Поэтому я и назвал его «И Аз воздам», используя для этого эпиграф из толстовского романа.

Предвижу, что вызову своим толкованием нашей новейшей истории много упреков и нареканий, но, как говорится, истина дороже. У меня – сына и внука рабочих и крестьян, активных участников революции, в прошлом убежденных коммунистов, писателя наконец, есть такое право. И не только право, но и обязанность.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Как возникает книга? Разумеется, у каждого по-разному. У меня же книга начинается с неясного, едва ощутимого гула, исподволь дробящегося на отдельные шумы, звуки, слова, а из слов – на полуобрывки речи, фразы, эхо разговоров, сквозь разноцветную мешанину которых вдруг принимаются вырисовываться очертания, черточки, черты отдельных лиц и силуэтов, встреченных мною когда-либо, приснившихся мне ненароком или случайно запавших в память по чьим-то сторонним рассказам или воспоминаниям. Где, к примеру, я видел вот этого, с вызывающе вздернутыми ноздрями, глаза-стого, оглохшего от собственного крика патлатого мужика в пестрой рубахе с засаленным воротом, в расхристанных чунях на босу ногу? Может, он пригрезился мне как-то в хмельном бреду, а может, я выхватил его из той крикливой толпы, что закружила меня в стародавние времена в яростной драке на кирпичном заводе под Пластуновской? Или эта вот девочка, почти подросток с острыми сосками под ситцевым платьем, опрокинутый навстречу ветру, ослепленный солнцем прозрачный абрис и умоляюще сложенные перед собой ладони в ссадинах и детских цыпках? О чем она просит, и чем я ее обидел? Не успеваешь вспомнить, как подступает вдруг к горлу степь, першит в легких полынной дурью, лошажьим потом, кизячной золой. И вот уже навстречу, будто скелет арбуза, уже ковыляет перекаати-поле, а следом за ним из-за плоского горизонта наплывает на меня топот тысяч копыт, чтобы через мгновение, сквозь пыль и чад вдалеке выявиться воочию крылатой стаей бунчуков и знамен обезумевшей от вина и крови разинской вольницы: даешь волю, однава живем! Вольную волю, но лишь себе и для себя! Нет на свете ни святого, ни береженного, ничего нет: алтарей, чужого

добра или жизни, родни или клятвы! Все с раската! А час грянет, и собственную голову с него же. Татарин ли, москаль, польский ли шляхтич, бусурманин ли из неметчины, на дороге не становись, пощады не вымолишь. Только сила солому ломит: когда крушила она им хребты, гнули они гордые выи, вязали своих вожаков и волокли их к царскому раскату, вымаливая для себя милости и награды. Правда, едва успевали отрасти у жеребят конские загривки, как душа их снова взбухла соблазном гульбы и разбоя и вновь растекалась угарной лавой казачья беспредельщина во все те концы, где что-то плохо лежало, и снова, отбесновавшись, покорялись сильнейшему, каялись, откупались атаманами, униженно целовали на верность то ханскую, то шляхетскую, то царскую грамоты, чтобы в конце концов осесть на цепной государевой службе, да и то до первого испытания: одно слово – казаки!

С этого-то испытания и завязывается моя книга. Ниточки прочитанного, рассказанного, увиденного и приснившегося – песен, баек, речений, плачей, прибауток – потянулись в один узелок, и узелок этот стал разрастаться во мне, образуя бесконечный лабиринт событий и судеб, ведущий автора по своим неисповедимым путям, властно подчиняя его законам собственной логики. Тут-то и оказалось, что и захлебнувшийся от собственного крика глазастый мужик недаром в памяти прорезался, и острогрудая девочка с умоляюще сложенными перед собой ладонями пригрезилась. Оба они затвердели обликом и четко определились в цепи зачатого мною действия, потянув затем вереницу человеческих особей разного обличья и возраста, сцепленных водино веригами самого, может быть, рокового русского безвременья.

Так оно и пошло складываться. Сначала пахнуло в меня удушливым холодком той январской ночи в Новочеркаске, когда, брошенный даже собственным, с фронта еще, ординарцем, одиночным выстрелом по-

кончил свои счеты с жизнью атаман Войска Донского Каледин. (И она – эта ночь – отозвалась во мне с такой явственной резкостью, что у меня скулы свело от порохового запаха этого выстрела.) Затем пригрезилась жженая стерня под Лорисояским разъездом, по которой ревущей лавой накатывалась на пригородные сады Екатеринодара кубанская конница генерала Эрдели, и августовское солнце, будто сквозь закопченное стекло, слепила ей глаза своей расплавленной желтизной. После чего потекла, поехала, понеслась передо мной еще сырая, еще склеенная на живую нитку, еще слишком неряшливая, но уже цельная лента будущего действия: жирные, словно облитые нефтью мухи, лениво кружащие над головой повешенного Калабухова*; ледяная корка при Урупской переправе, вся в кровавых пятнах и конских яблоках; моровая тишь над колхозными станицами, от которой подступает к горлу сладкая тошнота; космы казачьих папах под германской свастикой; обреченные бараки в Лиенце, где резали вены и готовились к смертным хождениям остатки красновского воинства; и сам Краснов – увечный и страждущий – на допросах у неумолимого Меркулова... И еще, и еще, и еще... Да уж что говорить, грешили братцы-станичники, зело грешили, но зато и платили по грехам, дорого платили!

Мне еще клеить и клеить, смывать и снова переклеивать эту беспорядочную и капризную ленту, но она уже втянула меня в свой вихревой водоворот, и ее уже не вымотаешь из себя обратно, разве что вместе с собственным нутром.

Здесь, с чего ни начни, все кажется многообещающим. От любого отдельного куска сразу же тянутся во все стороны связи, смычки, переплетения, составляющие в конце концов одно целое, но тем сложнее начать, тем труднее выбрать главное, тем невыносимее предчувствие неудачи.

* Идеолог Кубанской независимости.

И все же.

Все же из этой мешанины я выбираю наугад первое возникшее сейчас вот перед глазами: «Плавни дымилась». Заранее предвижу, что какой-нибудь ловкий штукарь от литературы, брезгливо поморщившись, обвинит меня в банальности или штампе, но в то майское утро восемнадцатого года, что сейчас привиделось мне, они действительно...

2

...дымились, источая в безмятежное небо запах волглого камыша, озерной тины и птичьего помета.

Семен раздвинул камыши, и в него хлынула августовская степь, вся в черных рубцах и подпалинах сожженных казачьим сполохом иногородческих хуторов. Ближайший из них, тот, что маячил впереди обгоревшими печными трубами чуть в стороне от пустынного большака, еще вчера был для Семена Тимкова тем единственным местом, откуда начиналась и где кончалась земля и от которого не осталось теперь на свете ничего, кроме этих обгоревших труб, этого безлюдного большака неподалеку и этого сквозного простора под августовским небом.

Когда отец Семена Ануфрий Тимков, вместе с женой на сносях, перебрался сюда со скудной Рязанщины, хутор уже разменивал свой четвертый десяток. Народ в нем собрался с бору по сосенке, из всяких медвежьих углов России, разных вер и кровей, добытчики лучшей доли, с судьбами в прошлом подчас не простыми и темными, о которых рассказывать было не принято, да никто, впрочем, и не любопытствовал: так надежнее.

Жили ни шатко, ни валко, крестьянствовали по возможности, батрачили у станичников, промышляли ручными ремеслами, большого добра на новом месте не

нажили, но и не бедовали, хлеба наедались вдосталь да и на приварок не жаловались, благо на землю здесь грех было жаловаться, не зря о ней говорено: воткни в нее дышло – тарантас вырастет.

Осев здесь нищими, хуторяне с годами обвыкались с харчевым достатком, матерели духом и принимались поглядывать в сторону казачьего избытка с завистью и вожделением. Станичники же отгораживались от них презрительной враждой, довольствуясь до поры спорыми их руками и показной сговорчивостью. Но обе стороны животом чуяли, что худому этому миру века не пережить, что уже брезжит впереди время, когда смертная сеча между ними грянет, и что не будет в этой сече пощады ни виноватому, ни правому: для кого-то из них на кубанской земле места не останется.

Обжившись на хуторе, старший Тимков к хлебопашеству не потянулся, к земле не прикипел, безбедно сводил концы с концами печным делом, на жизнь не жаловался, никому не завидовал, пребывал неизменно в улыбочивом ко всем и всему расположении и жил, как говорится, сыт, пьян и нос в табаке.

– Че нам копить, Сема, – говаривал бывало он сыну, кося на него веселым глазом, – все одно с собой не унесешь, день будет – пицтя будет, было б ремесло в руках, остатнее приложится...

Сына Ануфрий тоже приохотил к своему занятию, водил за собою по окрестным хуторам и станицам, понуждал присматриваться, обучал делу, делился с мальцом секретами и хитростями ремесла, а когда тот окончательно вошел в силу, справил ему незамысловатый печной инструмент и понапутствовал:

– Берись-ка, Сема, за свой ум, не век же за отцом сидеть, неровен час, за хозяина в дому останешься, все под Богом ходим...

И напорочил. Как-то ввечеру, уже перед самой войной, употребил Ануфрий не в меру горячего, прямо с поду свежего хлеба да и сгорел в одночасье от нутря-

ного заворота. Жил мужик и – кончился, словно и не бывало, хотя память по себе, не в пример многим, оставил добрую. Даже то, что громоздилось теперь от хутора впереди – прокопченные пожаром до черноты печные остовы, – было в прошлом, считай наполовину, делом его рук.

Только хозяином в доме Семен не стал. Оказавшись во вдовстве, мать его – Прасковья Федоровна, или, на хуторской лад, просто Федоровна, – до этого безвольная и во всем потакавшая мужу, вдруг круто взяла дом в свои руки, сыну шагу лишнего ступить не давала, поднять ему чего тяжелее ведра было заказано, чуть не пылинки с него сдувала, с утра до ночи кружилась по хозяйству, беспечно приговаривала:

– Не тянись, Семка, ишшо нагорбатишься, какие твои годы, авось у нас не семеро по лавкам, один ты у меня, сама управлюсь, гуляй, Семка, пока гуляется...

Так и парубковал он за широкой спиной матери, почитай, до самой войны, когда присмирили хуторские гульбища, проводив на далекий фронт главных ухажеров и заводил. В ожидании своего срока Семен коротал время с однолетками в разговорах о скором призыве, на рыбалке или за выездкой конной поросли. Зыбкая еще душа его, затвердевая, томилась и млела в предчувствии многих печалей и нечаянных радостей.

Будто сквозь текучие водоросли в озерной глубине, перед ним, натекая одно на другое, дразнились по ночам отрывочные видения, от которых у него обморочно набухало сердце: ночной вагон с замороженными насквозь окнами, битком набитый вязким и говорливым солдатским месивом; пустые глазницы вымерших хат над Кубанью; кусок облезлой стены под сводчатым потолком, сплошь испещренной кричащими письменами; огни диковинного города из тех, что доводилось видеть ему на заморских картинках; слепая метель за колючей, в ворсистом инее изгородью; снова родной хутор в переплетении проводов и металлических рога-

ток над жестяными крышами. И через все это – летучей тенью – облик женщины: сначала пугливого подростка, затем уверенной в себе девахи со смоляной косой за круглым плечом, позже – заматеревшей с годами в каждойдневной маяте бабы с как бы застывшим в бесцветных глазах упреком к кому-то и, наконец, квелой старухи, подслеповато глядящей у дороги из-под вялой руки в дымную даль впереди себя. Налево пойдешь, направо пойдешь, а прямо – вот оно, как на ладони!

Война подступала к Кубани исподволь, крадучись, тихой сапой: все учащались зауспокойные службы в станичной церкви, все гуще выявлялось увечных на базарах и сходах, все тише и скупее отмечались престольные праздники. Казалось, самый воздух день ото дня густел, наливался спертым, словно в предгрозье, удушьем. В этом тягостном напряжении окончательно рвались последние связи, соединявшие казачьи станицы с иногородними хуторами и выселками. Они непримиримо откладывались друг от друга на две стороны: одна еще настойчивее укоренялась в своих старых укладах, другая жадно распяляла себя посулами пришлых говорунов из обеих столиц: соблазн легкого дележа и отмщения кровных обид кружмя кружили мужицкие головы.

Под призыв Семен попал уже к шапочному разбору, когда фронт, разваливаясь, растекался во все концы России серым потоком солдатской вольницы. После хуторского оцепенения мир вломился к нему в душу оглушительной разноголосицей, хороводом лиц, имен, названий, лозунгов и местностей, хмельным дурманом обманчивой воли. И Семен закружился в этом мутном омуте, безвольно втягиваясь в его головокружительную воронку.

Повидать пришлось, кому сказать – не поверят. При нем на перроне Могилевского вокзала повисло на матросских штыках тело генерала Духонина, в двух шагах от него на солдатском митинге в Красном селе хрипел пьяный Дыбенко: «А чего нам Ленин, надо бу-

дет, мы и этого шута горохового повесим!», на его глазах продавали станичники большевикам за наличные изморожденных ими же до кровавого теста казачьих же офицеров. И много еще чего, о чем, особенно к ночи, лучше и не вспоминать.

Пока тянулись к дому, станичный молодец держался одним гуртом с иногородними. Возвращались в силе и злобе сводить окончательные счета со своими стариками и замиряться со всеми, без различия рода и звания на вечные времена. Только на чем замиряться, до времени не задумывались, а когда по возвращении отрезвели, оказалось, что в смысле равенства и братства, то да, милости просим, свободы тоже сколько душа пожелает, хоть лопатой гребь, только вот насчет земли, нет, нетути, своя рубаха к телу ближе, самим у кого признаться бы.

Тут-то и заколобродило в иногородческих хуторах: как, почему, за что кровь проливали? По правде говоря, крови до этого пролито было фронтовыми заводилами больше чужой, чем своей, зато теперь потекла она по степи, как вода, не поймешь, где своя, где – чужая. Раз схватившись, в провальном затмении вскоре и вовсе забыли, с чего началось, из-за какой корысти сеча и кто первый начал? В одно лишь среди смертного побоища уверовали несокрушимо: на одной земле отныне места для них не осталось – или те, или другие.

Дошло дело и до тимковских выселок. В летних сумерках, едва успели отечерять, остывающее небо за окном вдруг вспыхнуло близким заревом.

– Неужто горим, – перекрестившись, отнеслась к нему мать растерянным лицом, – Господи, Твоя воля!..

Этим, устремленным к нему, сверху вниз, обмякшим от страха обликом она и осталась в его памяти на всю последующую жизнь.

Занялось сразу, будто поговору, со всех концов, так что не угадать, куда кидаться и кого выручать, а потом уж взялось пластаться в разные стороны под на-

растающий отовсюду крик, вой и конский топот: белого света не взвиделось!

С гиком и свистом казачья ватага пронеслась сквозь хутор, веером распалась за околицей, двумя дугами окружила его и залегла, закрыв в него все входы и выходы.

Остальное слилось в нем прерывистой каруселью, где в кинжальном скрещении света и тьмы люди, повозки, скотина, птица, горящие крыши, снопы искр над деревьями и ломкие тени на черной глади озерной воды под горой. Все живое вокруг бежало, ползло, продиралось в разные стороны, гонимое страхом и надеждой в поисках спасительной щели, тропы, стежечки, способных вывести из этой полыхающей ловушки.

Впервые за короткие месяцы разгульной жизни Семен оказался не лихим ловцом, а загнанным зверем, враз в полной мере хлебнув, каково маяться живой душе в этой шкуре. Он кружил, петлял, метался среди огня и крика по хуторским задворкам в исступленной жажде пробиться к желанным плавням, где ему были ведомы каждая кочка и любой пятачок, пока не почувал под ногами их блаженную топь.

Ночь напролет он не смыкал глаз, вслушиваясь в ночь над собой, а когда наконец рассвело, опасно поднялся и слегка раздвинул камыш...

Плавни дымились...

3

Миша Кацман* родился и вырос в Ростове, и все у него в его короткой жизни было связано с этим городом. Город был гулкий, норовистый, хлопотливый, с пестрой

* Имя и фамилия подлинные. Первопоходник, Георгиевский кавалер. В эмиграции – начальник контрразведки РОВСКА, участник французского Сопротивления.

толпой, разноязычным эхом, маковками храмов сквозь вязь тополей и лезвием Дона за дальними крышами. Таким этот город и отложится в нем до самой старости, излучая в него из далекого далека режущий душу свет своего сокровенного облика. Даже на пороге девятого десятка, уже в эмигрантском угасании, ему, словно в перевернутый бинокль, все еще продолжал грезиться тот январский вечер восемнадцатого года, когда безусым гимназистом он жался на галерке городского театра, жадными глазами впиваясь в едва освещенное пятно сцены, по сквозной пустоте которой неспешно расхаживал коренастый, в коротких усах человек, в полушубке внакидку поверх офицерского мундира, и не то чтобы говорил в зал, а как бы сам с собою раздумывал вслух:

– ...По всему Задонью и Дону льется людская кровь от большевистских катов, стоном стонет родная земля, а русское офицерство отсиживается по семейным квартирам да городским кабакам и в ус не дует, – он вдруг остановился и резко повернулся к залу всем лицом, изойдя в темноту откровенным презрением. – Сколько вас тут собралось, господа хорошие? Думаю, не меньше тыщи, а у Алексева под началом по сию пору всего четыреста штыков, и те в лес смотрят. Я спрашиваю вас, господа офицеры, чего вы ждете, на что надеетесь? На Бога, на чудо, на союзников? Понапрасну время тратите – кроме вас самих, вас никто не спасет, доберутся и до вас питерские комиссары, мало вас, видно, на ремни резали и на штыки подымали, что и по сей день в разум не пришли, – он замолчал, словно переводя дыхание, а затем выкрикнул в зал срывающейся хрипотцой: – Я-то буду знать, за что меня повесят, от меня эта сволочь сполна получила, а когда до вас доберутся, вам и вспомнить будет нечего, кроме своего позора!..

В ответ сквозь табачный чад, смешанный с людским дыханием, снизу, под театральный свод, выплеснулась возбужденная разноголосица:

– Что вы нас агитируете, Чернецов, вы не на солдатском митинге, говорите конкретнее!

– Мы не изменяли стране, страна нам изменила, нас давно за людей перестали считать!

– Господа, полковник прав, не время нам свои обиды холить, у нас на глазах Россия гибнет!

– А с чем идти, с шашками на пулеметы?

– Так и так добьют, лучше уж умереть по-солдатски!

– Давайте к делу, полковник!..

Тот, сцепив руки за спиной, слегка покачивался с пяток на носки, недобро смотрел во тьму перед собой, устремляясь взглядом сквозь пространство и голоса, но когда зал наконец затих, откликнулся сразу, не задумываясь:

– К делу так к делу. Кто хочет идти со мной против большевиков, милости прошу. Запись внизу, в вестибюле, у дежурного офицера. Сбор завтра утром здесь же, у подъезда. Желаю здравствовать...

И пошел себе прочь, за кулисы, походкой одновременно пружинистой и тяжелой. Шел, словно сцену раскачивал под собой, прочь от возбужденно гудящего зала.

В эту минуту, подхваченный ликующей решимостью, Миша мысленно уже тянулся следом за ним, отныне и навсегда определив этим завтрашнюю свою судьбу. Ему даже не хотелось думать о том, как отнесутся к его выбору у него дома. Миша заранее знал, что отец, давно положивший себе за правило не вмешиваться ни во что на свете, тем более в жизнь собственных детей, лишь скептически пожмет плечами и молча запретя у себя в кабинете. Мать, во всем потакавшая отцу, тоже уйдет к себе втихомолку оплакивать своего обожаемого первенца, а дед посмотрит на него поверх очков, нервически дернет себя за клинышек голубеющей уже бородки и, как всегда в таких случаях, скорбно покачает яйцеобразно лысой головой:

– Опять евреи суют нос в чужие дела, мало нам было горя от гойских болячек, мало нас били за двадцать веков, что нам еще не надоело разгрести сор у соседей, будто кроме нас некому...

Но в том-то и дело было, что Миша с детства еще упрямо отказывался считать окружавший его мир чужим. За отцом, жизнь которого определялась расстоянием между прозекторской в городском морге, где он служил патологоанатомом, и раковиной домашнего кабинета, откуда он, вернувшись с дежурства, уже никуда не выходил; за матерью, бесплотной тенью скользившей по квартире в постоянной готовности кинуться на первый же зов мужа; за дедом, вечно уткнувшимся клинышком жесткой бородки в очередную газету; за родственниками, время от времени шумно наводившими их дом, наподобие незримого, но липкого шлейфа, тянулась какая-то непонятная Мише и странная для него жизнь, где в местечковых углах России, заквашенная на страхе и нищете, словно взбухающая опара, вызревала гремучая ненависть.

Более всего это чувствовалось с наездами к ним младшего брата отца – Якова. Дядя Яков считался несчастьем семьи, но и в некотором роде ее гордостью: немногим старше племянника, он уже успел отметиться в полдюжине тюрем и трех ссылках, откуда неизменно, хотя и не всегда удачно, бежал, мотаясь по стране из города в город по делам, о которых домашние лишь многозначительно переглядывались. Появлялся он в доме по обыкновению внезапно и так же внезапно исчезал, чтобы спустя некоторое время появиться вновь и снова целиком заполнить их огромную квартиру своей тщедушной, но ртутно подвижной фигуркой, казалось, прямо-таки источавшей из себя копотное тление раздражительной злости.

За обедом, когда семья, единственный раз в день, собиралась за столом в полном составе, дядя Яков рта никому не давал раскрыть, слепо тыкал вилкой в еду

перед собой, лихорадочно ерзал по сторонам воспаленными глазами, тоненьким голоском вещая о грязных свиньях, эксплуататорах, сосущих кровь из трудящихся, о классовой борьбе, русском быдле, каковое, по дядиному мнению, необходимо для его же пользы научить наконец уму-разуму, о грядущей борьбе и социальной революции в мировом масштабе. Вещал и знойно вытлевал при этом изнутри неподдельной страстью и убежденностью.

Слушая воспаленные речи гостя, Миша никак не мог взять в толк, где тот ухитрился проникнуться такой ненавистью к эксплуататорам, за какой класс выступает и чему хочет научить кого-то, если, и это-то он знал определенно, дядя его никогда и нигде не работал, ни к какому классу не принадлежал и ничему в своей короткой жизни не учился?

Поэтому, когда мятежный дядя, в попытках зажечь племянника своим горением, загонял его в какой-нибудь темный угол квартиры и принимался доверительно сообщать ему о скором празднике, который должен был вот-вот наступить на их улице, и о тех, кто тогда, быв вчера еще ничем, сразу станут всем, Миша старался побыстрее выскользнуть из-под цепких дядиных рук. Он никогда не считал себя «ничем» и еще меньше жаждал стать «всем», ему достаточно было чувствовать себя наравне с другими, не менее, но и не более того.

Не забыть Мише, как однажды кто-то из старшеклассников в коридоре гимназии пустил ему в спину «жиденка» и как случившийся при этом учитель Закона Божия отец Николай остановил его и, отведя в сторону, назидательно уперся в него мрачными на выкате глазами:

– Помни, отроче, в церкви Христовой нет ни эллина, ни иудея, все мы равные перед Господом, а по нации ты тоже, как все – российский подданный, – и, перекрестив, легонько оттолкнул от себя кончиками массивных пальцев. – Ступай себе с Богом...

С этим он рос, встретил войну, потом революцию, с этим определял свое отношение к происходившему вокруг него, с этим после чернецовского выступления спускался в театральные вестибюль, чтобы отыскать дежурного офицера с заветным списком добровольцев в отряд казачьего партизана.

Но отыскивать Мише никого не пришлось. В углу полупустого уже фойе, у самого выхода, за столиком, явно извлеченным из театрального реквизита, сидел в папаше и бекеше нараспашку молодой есаул, с незрячей отчужденностью глядя на текущую мимо него разреженную цепочку в офицерских шинелях. Они тянулись к выходу, огибая одинокий стол с таким озабоченным видом, будто только крайне неотложные дела не позволяют им около него задержаться.

Есаул некоторое время все так же незряче просвечивал внезапно возникшего перед ним гимназиста, после чего осмысленно озарился в Мишину сторону благодарным вниманием:

– Я вас слушаю, юноша.

– Полковник сказал записываться, – Мишу кружило жаркое удушье. – Я хотел бы...

– Сколько же вам лет, дорогой? – не дал тот ему договорить. – И что на это скажут ваши родители?

– Мне уже семнадцать, – отдаваясь отчаянью, слукавил Миша, – и я волен сам распоряжаться собою.

Скуластое, в обмороженных пятнах, лицо есаула снисходительно обмякло, и он взялся за перо:

– Ваше имя?

– Миша... Кацман...

Перо в задубелых руках есаула на мгновение загнулось, образовав вокруг себя расплывчатое пятнышко:

– Привыкайте теперь, дорогой, полностью называться, – не поднимая глаз от бумаги, осекшимся вдруг голосом проговорил он, – вы не на гимназический экзамен идете – в бой.

– Михаил... Михаил Иванович...

И без того красные уши есаула еще более побагровели, он тяжело поднял на Мишу татарские, с сухим блеском внутри глаза, выговорил с задумчивой расстановкой:

– Вот так, Михаил Иванович, собралось тут сегодня без малого тысяча человек, а записалось у меня ровно тридцать девять, вы – сороковой и, кто мог ожидать – Кацман, – и поднялся, протягивая Мише наждачную ладонь. – Сбор завтра в шесть утра, у подъезда...

Наутро к театру явилось шесть добровольцев. И среди них – Миша. Михаил Иванович. Кацман.

Вот так.

4

«Чернецов легко взял Звереву – Лихую – Каменскую, но 20-го в бою с Голубовым попал в плен. На другой день Подтелков после диких надругательств зверски зарубил Чернецова.

Со смертью Чернецова как будто ушла душа от всего дела обороны Дона. Все окончательно разваливалось. Донское правительство вновь вступило в переговоры с Подтелковым, а генерал Каледин обратился к Дону с последним своим призывом – послать казаков-добровольцев в партизанские отряды. В этом обращении, 28 января, Каледин поведал Дону скорбную повесть его падения:

„...Наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе, подняли мятеж, в союзе со вторгнувшимися в Донецкий округ бандами красной гвардии и солдатами напали на отряд полковника Чернецова, направленный против красногвардейцев, и частью его уничтожили, после чего большинство полков – участников этого подлого и гнусного дела – рассеялись по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущество.

В Усть-Медведицком округе вернувшиеся с фронта полки, в союзе с бандой красноармейцев из Царицына, произвели полный разгром на линии железной дороги Царицын – Себряково, прекратив всякую возможность снабжения хлебом и продовольствием Хоперского и Усть-Медведицкого округов.

В слободе Михайловке, при станции Себряково, произвели избиение офицеров и администрации, причем погибло, по слухам, до 80 одних офицеров. Развал строевых частей достиг последнего предела и, например, в некоторых полках Донецкого округа удостоверены факты *продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение...*“

29-го Каледин собрал правительство, прочитал телеграммы, полученные от генералов Алексеева и Корнилова, сообщил, что для защиты Донской области нашлось на фронте всего лишь 147 штыков, и предложил правительству уйти.

– Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития; предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю.

И во время обсуждения вопроса добавил:

– Господа, короче говорите. Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла!

В тот же день генерал Каледин выстрелом в сердце покончил жизнь»*.

5

Надийка особенно и не тужила, пестрой птахой носилась по двору и дому, радела тетке в маленьком их

* А. И. Деникин. Очерки русской смуты.

хозяйстве, исподволь входила в свою пору, чувствуя, как день ото дня под ситчиком детского еще платица наливается ее тело знойной тяжестью и сладкой истомой. Вызревшая в ней плоть бередила ей душу по ночам смутными снами, в которых она обморочно взлетала и падала, вознесенная над землей ликующей бестелесностью: «Когда же, – легким сквознячком проносилось в ней, – когда?»

Невдомек ей было, что где-то далеко за окраинными крышами ее однолетки уже седлают коней, чтобы, схлестнувшись в смертной междуусобице, навсегда разделить мир на правых и виноватых и тем обречь его на вечную кровь, что вещей всадник ее – среди них и что считанные дни остались, как он объявится у их порога.

Размеренная городская маята просыпалась сразу и со всех сторон, будто вспоротая от края до края чьей-то настойчивой и властной рукой: громче прежнего загрохотали повозки за воротами, гуще сделался лошажий храп вокруг Сенного базара, чаще колокольный звон в вышине, а вперемишку с этим – то и дело расчеркивалась отблесками пожаров, погрохатывала и чадно курилась степь вокруг пригородов. Дымная лава великой смуты захлестывала город сплошным кольцом.

В один из таких дней гул этой лавы вломился к ним во двор следом за подбористым хлопцем в казачьей папахе набекрень и застиранной до нитяной основы черкеске в обтяжку, с совсем молодым еще, но уверенно затвердевшим лицом.

– Здравствуйте вам, хозяйюшка, – бойко вступил было он, но тут же веселым, с васильковым дымком глазом выделил Надийку и смущенно осекся, – мне сюда на постой наказано, меня Семеном кличут. – И еще смущеннее. – Я – смирной...

Оказался гость и вправду смирным. Не прекословя, определился в угловой пристройке для хозяйственной рухляди, пропадал со двора с раннего утра, возвращался чаще всего лишь к ночи, хозяев не обременял, а только,

иной раз сталкиваясь с Надийкой, не скрывая восхищения, робко сторонился и напряженно краснел, словно боялся обжечься об нее или ненароком ее коснуться.

Цепким глазом своим тетка, видно, отметила про себя тихое томление постояльца, насмешливо шурилась в сторону племянницы, грубовато посмеивалась:

– Смотри, Надежда, изведешь жильца, потом не наплачешься. По нынешним временам женихи на дороге не валяются, а коли и валяются, то уже не женихи, а хмельные или покойники...

Да что Надийке были теткины те разговоры, если у самой у нее голова шла кругом, земля под ногами катилась невесть куда, а небо над ней выглядело с овчинку!

И в конце концов случилось то, что и должно было случиться, когда все-таки коснулся он ее ненароком, а коснувшись, уже не сдержал себя, потек горячим воском по ее безвольной покорности, и ночи в домовый пристройке слились с ясными днями в одно целое, а пришел час расставаться, время остановилось для нее, чтобы снова начаться только со следующей встречей.

В то утро впервые вышла она за ворота, в последний раз со сладостной мукой припала к нему и, бесильно отпав от него, долго еще смотрела из-под руки ему вслед, словно вбирала его в себя всего, без остатка. Кто мог сказать тогда Надийке, что стоять ей вот так у дороги – у разных дорог! – с малыми промежутками ни много, ни мало – всю жизнь.

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* *
*

Сколько горя, сколько черной боли
Прижила я в городе Петровом.
Греемся на пепелище старом,
Корчимся на пепелище новом.

Веришь ли в манишки и крылатки,
Кринолины, гвардию, рапиры?
Узнаёшь потемкинские пятки
У атлантов, гениев, кумиров?

Были Боратынский, Воротынский,
Бенкендорфы, Гоголь и Закревский,
Пушкины, Матюшкины, Белинский,
И Леблон, и Блок, и Достоевский?
Уверяют, были...

* *
*

Пела я на клиросе
и под небесами,
как звезда светилася
в деревянном храме.
Обходя без устали
городок-пустыню,
площади и улицы
все перекрестила.

Рукопись получена из Ленинграда.

Всё согреть старалася
каменное ложе,
Ксения Петербургская,
тайная надежда.

* *
*

Прохладнеет. Столетия на рассвете
был город Петербург в молочной вате
туманов. Рельсы пахли серебром.
И Райвала и Царское в цветеньи,
на островах гулянье и сирени,
поэты, террористы, карнавал...
Все это Блок прекрасный описал.

В пределах погибающей Пальмиры
иных земель тогда звучали лиры,
чужих языков складывался стих.
Империи горячее сердце,
ты всем давало место обогреться,
сгореть в чахотке у твердынь твоих:

Литовский стих у царскосельских статуй,
грузинский – пышноцветный и богатый,
и Сёдергран мистический узор...
И мучит звук у века на закате
российского стиха, его собратий
над брошенной столицей, как укор.

* *
*

На улицах города, где снег и ветер,
где мы узнали, что человек смертен,
где мы пьянели в глухом цветеньи,
а ночь прикапливала наши тени,
я присягаю вам в прежней вере.

О бредни о Бабеле и Бодлере!
О девушки в бабушкиных перчатках,
дворянской складки, железной хватки,
с коими мне ни в чем не тягаться,
я не забыла о прежнем братстве.

Сияй же, полдень любви несчастной,
желанья славы, молитвы страстной,
когда вступили, не зная броду,
в свершенья пору, забвенья воду.

* *
*

Вечером где-нибудь пригородной природой
на пикничке, на обочине, на пяточке
станем мы наслаждаться незрелым вином и свободой –
я, Евгений безумный с обломком руля в руке,
да юродивый бронзовый с жижей болотной в руке,
да зеленый конек с горделивою царскою мордой.

Вечером... болью и желчью стакан дополна
лечит... Не жалеюсь, нет, не с тобою, с судьбою
вечно... Играла, марала, боролась одна,
и если ангел теперь нас покличет трубою,
«Счастлива, – слышишь, скажу, – и свободой больна!»

Что ты трудишь под рогатыми лаврами лоб?
Мозг под землю уложен, как в трубчатой кости.
Хриплое пенье Невы, шпиль золотой на погосте,
над чертежом твоим старым – пыльного неба захлёб,
тень отлетающих крыл на фабричной коросте.

* *
*

Муза гражданственной скорби – гражданка Петрова.

Время линяет, меняет былой колорит.

Только она не стареет, смотрит сурово,
пламя котельной за ней непреклонно горит,
скорби народной... Лампочка слабо мигает...
Что мы? – пороли горячку? Смыкали каркас
времени?... Дарья, Савраска, Сенная –
всё из беспамятства вырвет пылающий газ –
и под луною Сенатскую, спящую глухо...
Тенью от бронзы мерцает бумажный конек.
На невезухе-лошадке писатель-непруха
гиблого слова из лесу вывозит возок...

* *
*

Византийская сень. Молочный дым.
Кристаллический иней. Граненый снег.
Голенастым, хмурым и молодым
Я запомню тебя навек,

Я запомню сияющий ломкий наст,
Да утраты свежую полынью,
На Хованском кладбище страшный пласт,
Там сховали подругу мою.

Как потом открывался колодец сна
И лечила звездная немота.
Утешенья вода голуба, черна,
Обручальным золотом повита.

* *
* ,

А. Сопровскому

Ты прав – расправленный простор,
трава, присоленная снегом,
и в полночь жизни – смутный вздор,
что не излечишься побегом,
судьба... больна... а не страна...
Все это было, было, было,
как бы истертое кино
перед глазами зарябило.

По мне же – горсточка тепла,
свободный говор, гонор нищий
и страшная живая мгла,
что за спиной моею свищет,
важней. В любой из наших встреч
сквозь поговорки и усталость
земная соль, родная речь
теней сбивается в кристаллы.

* *
*

В воздухе пахнет жильем,
пани Антося горбится над шитьем,
воздух иголкой ранен, холст пробит через край
карий и золотой мальчик в ногах играет,
и я говорю: «Голубь, к нам прилетай,
нищему, голубь, подай!»

Время проступит чернью на серебре.
Выйдешь умыться – снег захрустит в ведре.

Как молоком покрашенный крепкий чай,
бурое солнце взойдет и помедлит час.
Новую твердь и землю скует мороз.
Звон ото льда и звезд.

Благослови же мир Свой на трех китах,
темное тело речки в широких льдах,
всех, кто живет под кровлей, и вербы куст,
беды, суеты наши – и эту грусть:
слышишь: лепечет небо и дышит наст,
знать, что волхвы пройдут, не окликнув нас.

* *
 *

Сердечный перебой от злобы и от грусти,
и под ногами дерн так прочен и так груб.
Где влажный куст ручья, где ответвления устьев?
Где запах ночи, лепесток у губ?
Когда я почала железную ковригу?
А помнишь крупный шрифт поэмы о Петре
и детства круглый свет?
Под лампой зреет книга
и нежной желтизной мерцает на заре.
Так, вопреки всему, нас обольщает память...

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

* * *

Дождь на исходе. Провинция в полудреме.
Люди водой истекают по лицам голым.
Здесь на Фому отпускают в ответ Ерему,
Потчуют маслицем, правда, слегка прогорклым.

Лето в разгаре. Как беженец завезенный
Противу воли (воли давно лишившись),
Я каждый день пожинаю паек казенный,
В полном уме, не ошалев, не спившись.

Утром гремят трамваи, кричат старухи,
Хмурые рожи с похмелья места уступают,
Тертые бабы билетики покупают
И пацанам обрывают с досады ухи.

Днем возле пивных, у гастрономов грязных
Соображают (припомни перовскую тройку)
Тройки щербатых парней и девиц безобразных
И распивать идут на ближайшую стройку.

Вечером танцы в ДК: тут молодежь, зверея,
Верит инстинктам и подлой своей природе –
Стадо без пастыря в тяжком, тупом разброде.
Брякнешь в сердцах «войну бы им поскорее».

Вот и гуляя по улицам глинобитным,
Я всё ищу не участия, а просто взгляда;
Други мои разбрелись по своим орбитам,
Что нам – героям былые стихи и клятвы?!

Душу свою положить теперь не сумею.
Други в Париже, в Антверпене, в Дюссельдорфе...
В местном музее пылится Христос – Остендорфер
В профиль Его писал, от веры немая.

Часто стою я пред истинным полуликом:
Алые губы, коричневый глаз, сиянье –
И, растворяясь в покое Его великом,
Чувствую в будущем всех наших душ слиянье.

В вечной отчизне сойдемся поодиночке,
Сядем за стол и услышим, как бьют куранты,
Где-то в советской, подернутой страхом ночке,
В мире, где люди с рождения эмигранты.

В мире, где люди, забыв про свое изгнание,
Тщатся устроить рай и пожить, как боги.
Где первозданны одни лишь пути-дороги,
Нами покрытые некогда расстоянья.

НАД ФОТОГРАФИЕЙ

Холодно. Осень в Германии. Сушь.
Дождь отменили по радио.
Нет бы, поглуше сыскать тебе глушь...
Впрочем, чего это ради я...

Тушью подчеркнуты арки, дома,
Окна, открытые форточки,
Парка ограда, церковей терема,
Готики праздной оборочки.

Зонтик под мышкой – статный старик.
Мопс громыхает ошейником,
Видно, удвоен на жалость тариф
Всеми забытым отшельникам.

Не поднимай понапрасну бузу,
Заново века не выкроишь.
Всадник из Бамберга пустит слезу,
Ты ее вытрешь.

* *
*

(сентиментальный новогодний романс)

хочешь, возьми с моих губ новогоднее солнце,
а улыбнуться и клювиком ткнуться в морщины
то же, что плавать в пространствах постов и бессонниц
или на счётах устало считать годовщины,

или курить натошак, обгорелые листья
писем чужих разбирать и укладывать в ящик,
если ты любишь простые открытые лица,
то помолись за влюбленных, любимых и спящих

только б успеть от метели нырнуть в подворотню,
крикнуть, охрипнуть, дать лапу хозяйской овчарке,
ночь пронести под полой, как больную ворону,
и опустить осторожно на памятник в парке

шапкой, намыленной снегом, в подъезд упереться
и целовать воротник, подогнувши колени,
вот мое слово, а вот мое синее сердце
в томной оправе изысканной ласковой лени

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

*

Насмешливым счастьем богаты,
В беспечности плотской вольны,
Мы – медленных волн перекаты
Под медным отливом луны.

В безбрежности провинциальной
На свалке времен и пространств
Улыбкой провиденциальной
Кончается сладостный транс.

В ночном безъязыком безумьи
В постельных шурша берегах,
Слагаясь в избыточной сумме,
В исполненных грудью слогах

Мы слышим намек на величье
Своей безысходной судьбы,
Пускай же путями приличья
Бредут соляные столбы.

Качается белая роза
В кувшине на старом трюмо,
Из мглы ледяного тороса
Мерцает безумье само.

И сердце блаженно ликует.
И высокопарный рассвет
Волну за волною штрихует,
Кладет силуэт в силуэт.

Пока фарисей и законник,
Премногих наук корифей
Жжет лампу, спортсмен-греховодник
Доволен подругой своей.

И вновь потолка провисанье,
Зеркальный трехстворчатый крен,
Подветренной шторы бряцанье –
Слагаются в четкий рефрен

«Мы медленных волн перекаты».
По сути смертельная смесь!
Сверчки, кузнецы и цикады –
Участники утренних месс,

С предельно простым настроением
Заводят трещоток обмен
Над медленным светлым струением
Постаполлонических бездн.

*

«Труден единый финал» –
Думал я в пустоту,
Шел и припоминал
Дачную маяту.

Там размечтались друзья,
Пес возле будки уснул.
К станции вьется стезя.
Поезд огнями сверкнул.

Я возвращался домой,
В полночь увидел с холма:
Прочерк дороги прямой,
Рощицы бахрома,

Грань осиянной реки,
Поля пшеничного плат,
И как с холма ручейки
Скатываясь, бурлят.

Сириус колкий блистал,
В глянце росистых террас
Выбелил лунный металл
Липовый иконостас.

Гордый законченный мир,
Что ты решил про меня?
Душу возьми, как потир,
И пригуби, наклоня.

С голоса жемчуг осыпь,
Памяти дай овдоветь,
С сердца влюбленную зыбь
Выстуди, только ответь!

Брежат его рубежи,
Пахнет подмокшей золой.
Счастьем меня одолжи,
Да ублажи похвалой.

Поздно. Уносит река
Розовощекий туман.
Месяц провис в облаках
Бледный, как наркоман.

Путь мой не близок. Вослед
В спину тревожно глядит
Призрак мне ссуженных лет,
Я их оплачу в кредит.

В каменный город вернусь,
К женщине в спальню войду,
Медленно улыбнусь,
Вслушаюсь, как в саду

Плещется ветерок,
Кружит с березами клен,
Не навсегда и не впрок
Нынче я вдохновлен.

Нынче я дивно богат,
Сбрось же с неистовых плеч
Неожиданья наряд,
Дай тебя светом облечь.

В вихре холодных волос
Губы твои отыскать,
Молодость, тайную злость
Яростно расплескать.

Некто узорнокрыл
Явится к дележу.
Я на вопрос: где ты был?
Правду тебе скажу.

*

Дороги вдоль мокрых березовых рощ,
Вишневых, заброшенных кущ
Уводят меня, отрешённого, прочь
От северных пасмурных туч.
От стука колес, перекрещенья рельс
Светло и легко в голове,
И кажется, что не ноябрь, а апрель
Ждет по возвращенью к Неве.
На месяц на юг, чтоб душой пережить
Под занавес года всё то,
Что лето успело нам наворожить,
Пройдя, как вода решето.
Продлить эту осень, блаженный финал
Предсмертья трудов и плодов.
Всмотреться в себя, словно в Крюков канал,
Вдали от земных холодов.
Я помню, на севере в серый предел
Уткнулся земной горизонт,
И дождь налетал за густой чистотел
И шлепал о парусный зонт.
Есть прелесть забитых на зиму турбаз –
И детских купален речных,
Когда неумолчного ветра рассказ
Сбивается в ливнях ночных.
И помнится мне одинокая ночь,
И чудится голос родной,
И гордость, которой себя превозмочь
Смогла ты оставшись одной.

Уже за окном непрерывно скользят
Облитые солнцем луга,
А где-то дожди по вагонам стучат,
А следом крадутся снега.

* *
*

С порывами ветра взлетая, как скомканный клочок
Вчерашней газеты, и шлепаясь грудью об лужи,
Надутой лягушкой проквакав «бывает и хуже»,
«Но реже» подскажет заплеванный твой потолок.

Из храма сознания, что пласт попирает земной
Раскатистый ор нарастает и на уши давит,
И спеты псалмы, и Давид замечает: тогда ведь
Всё было иначе, и вроде бы как не со мной.

И вот я пытаюсь раздвинуть чуть-чуть кругозор,
На голову встав, углубить на вершок пониманье.
Что карма сулит? вспоминая о папе и маме,
О крае степей, перелесков, болот и озер.

Способностью жить отличаясь от них до поры,
Деталью памяти день ото дня богатея,
Смотри, как потеет поверх одеял Доротея,
Жена твоя верная, поприще дивной игры.

Так осень однажды подмокшим газетным листом
Прилипнет к стеклу с напечатанным в рамке известьем,
А где-то душа монгольфьером взлетит над
предместьем –
Миражем былого и лопнет в пространстве пустом.

ВМЕСТО ЖАЛОБЫ

Когда иной раз сидишь над письмом, часами
Смотришь в окно, грызешь шариковую ручку –
Подумай, рядом с тобой, под теми же небесами
Живут люди, ничего не знающие про разлуку;
Нет смысла судить, блаженны они иль убоги
Прежде, чем не подведены некоторые итоги.

В этом году была на редкость теплая осень,
Это ясно теперь, когда листва на деревьях
Поредела, а по полям зеленеет озимь.
Когда на вершинах альп, на скалистых гребнях
В час заката отликает красным,
Можно быть спокойным и беспристрастным.

Сто пятьдесят лет назад здесь клял Бога коллежский
Советник и поэт Федор Иванович Тютчев,
Лет сто двадцать, как Федор Михайлович Достоевский
Бился об пол в очередном припадке падучей,
Ныне проделав тот же путь из варягов в греки,
Я покинул отчизну и, думается, навеки.

В этом году слишком многое прояснилось,
Чтобы помнить былое, как авангардный театр:
Дружно косят ли где кукурузу на силос,
Хоронят соседа, атомный ли реактор,
А не вкусить больше той жизни полуабсурдной,
Разве что в так называемый «День Судный».

В этом году, выправив нужные документы,
Я сел в поезд и долго махал и махал рукою,
На перроне стояли друзья, чьи приметы
Вдруг всплывают в мозгу с такой неземной тоскою,
Что вскрикиваешь, перо свое роняешь на пол...
Тень наклоняется и поднимает его – «на, мол,

На, мол, пиши, ибо что ты еще умеешь?
Нежно стонать, не оскорбляя чужого слуха!»
В иноязычном хаосе многое перемелешь
Прежде, чем отпадет надобность в слове разлука.
Так рассуждая над полным окурков блюдцем,
Все же отметишь вскользь настоящее плюсом.

Вообще самое здоровое из суждений
Есть суждение о природе вещей, о силе,
В чем-то пропорциональной честности наблюдений
За полетом гири, которую откусили
От ноги человека, подвешенного над бездной.
Смотри и суди сам, легко ли ей падать, бедной.

Так летит без меня в тартарары Россия.
Будьте счастливы! Приятного Вам полета!
Все Вы правы, хоть возьми и в глаза нассы я,
Правота отцеубийцы и живоглота
Не нуждается в комментариях, мало толку
Спорить с мутантом, умнее поставить точку.

Еще раз по порядку: эта осень минула,
И, как ни крути, предстоит пережить зиму
(Дай Бог, не последнюю). В нынешнюю минуту,
Вместо того, чтоб о прошлом тянуть резину,
Лучше подумай, как на беженческую подать
Выкроить лыжи, о прочем не стоит помнить.

БОРОДИН Андрей – родился в 1960 году в Воронеже. Жил, работал, учился в Воронеже, Ленинграде, Москве. Эмигрировал в мае 1986 года. Живет в Австрии, студент факультета германистики Зальцбургского университета.

ИЗ КНИГИ «ЖИТИЕ ГАРНИЗОНА»

СПАСЕНИЕ РЫЖЕГО КОНЯ

В полночь загорелся сортир. Просторный, на десять очков с каждой стороны, стоял он недалеко от штабного барака, так что Василий Тимофеевич Борисенков легко мог наблюдать интимные нужды своего гарнизона. Еще накануне приказал он перекрасить сортир в какой-нибудь веселый цвет. Не что чтобы «жить стало лучше, жить стало веселей», просто надвигалась инспекторская поверка, и ходил упорный слух, что «главному» нравятся свежепокрашенные сортиры. Пронырливые штабные умы строили хитрые догадки, как под папашой «главного» воинская доблесть и опрятный сортир соединяются в мистическом неразрывном единстве. Тут, конечно, открывались необъятные исследовательские просторы для какого-нибудь психоаналитика, особенно с тяжелым немецким акцентом, но наша держава презирала эту еврейскую физику. Увы! Богатый материал пропал. Начисто.

На складе у Кривощука в это время имелось только две краски: черная и оранжевая.

– Приказано, чтоб было весело. А какое уж тут к дьяволу веселье в черном сортире? Крематорий.

Он с сомнением окунул палец в оранжевую.

– Оно точно, весело. Да чему ж тут особо радоваться? Сделал свое дело и уходи. Может, смешать?

Кривощук зачерпнул тем же пальцем черную. Получалась такая дрянь, что скулы заломило.

– Ну, хрен с ней! Пускай будет оранжевая.

Первым заметил огонь майор Паскин. Был он изрядно пьян и, волоча тяжелый чемодан, продирался

огородами, чтобы какая-нибудь борзая фигура его не заметила. Еще оставалось два дня законного отпуска, в которые хотел он тихо отмокать на маленькой сокрытой веранде. А тут неровен час перехватят.

Потом Столбов в сапогах на босу ногу вышел за малой нуждой и уже совсем было прицелился на угол казармы, как почувствовал запах дыма, а там увидел и огонь. Поднявшийся ветер хватал длинные искры, крутя, гнал их к гимнастическому залу. Столбов тоже не стал поднимать шума, а тихо прокрался мимо дневального, неслышно снял сапоги и уже приготовился нырнуть в постель, как дневальный заорал тревогу.

У отдельного домика пожарной команды, матерясь, бегал майор Майданник. Он был в отчаянии, седые виски торчали дыбом.

– И надо же, чтобы случилось в мое дежурство! Всего-то год осталось дотянуть. Э-эх! Куроедов, наладили помпу?

– Никак нет, товарищ майор.

– Да я ж, знаешь, что с вами сделаю? Да я ж вас всех в строевую определю, к Показаньеву. Он вам намотает соплей на кулак.

– А чего же я могу сделать? Клапан заело.

– Рапорт напишу, и всех вас как есть к Показаньеву, – бешено шипел Майданник со слезами на глазах. Пожарники завертелись. Место было сладкое. Особенно приятно было, лежа на травке, наблюдать усталых солдатиков, бредущих в грязных робах с очередных хозработ или печатающих строевым под командой не в меру ретивого старлея. Наконец помпа выдала первую вялую, ржавую струю. Ее подкатили ближе, струя пошла веселее. Вдали уже гремел бас Василия Тимофеевича. Майданник задрожал. Он сам схватился за ручки помпы. Но было поздно.

– Майданник, рас-----й, тебе не людьми командовать, а говно возить.

Сильная речь Василия Тимофеевича украшалась с некоторых пор внушительным «Г» фрикативным. «Г» фрикативное вполне овладело и прочими весомыми чинами гарнизона. Даже отдельные лейтенантики не без успеха пробовали его на политзанятиях, особо живописуя международную обстановку. Майданник совершенно сник. Он стоял, тяжело опустив руки, ни на кого не глядя.

– Год только остался. Э-эх! Не повезло. Вот то есть как не повезло!

А пожарники уже бежали к гимнастическому залу. Бас Василия Тимофеевича гремел на крыльце. Его медная физиономия светилась. Маленькие глазки свирепо утыкались в каждую не довольно расторопную фигуру.

– Спа-сай снаряды! Качай веселей!

Все бросились волочить из зала что ни попадя.

– Коня, коня выводи! – ревел Борисенков, в фуражке, сдвинутой на самый затылок.

Два дюжих, по второму году пожарника выволокли коня. Его рыжий круп слегка дымился.

– Руби окна! – не унимался Василий Тимофеевич.

Пожарники с готовностью высадили все четыре окна, проворно ожидая других указаний.

– Рахматуллина ко мне, – сырым басом затрубил Василий Тимофеевич. – Ну, Рахматуллин, с сортиром управитесь без меня.

– Так точно, товарищ подполковник.

– Чтоб к утру все было сделано.

– Так точно.

– И краской, краской.

– Слушаюсь.

Борисенков пошел с крыльца. Ступени гнулись. Последний раз взглянув на спасенного коня, он положил дородное тело в ожидавший «козлик». Мотор взревел. Пыль осела. Рахматуллин пнул ногой безответного коня.

– Ну...

Лебедева прямо с гауптвахты направили во вторую роту капитана Галяутдинова.

– Постарайтесь к нам больше не попадать, Лебедев, – напутствовал его Тайзетдинов. Александр молча кивнул. Кое-кого сунули в минометчики, а Шабров и Фаерман оказались в батарее безоткатных орудий, у Колбаснера. Кончился карантин.

Галяутдинов прибыл в роту недавно. Семейство его, напротив, не спешило прибывать. Капитан рассчитал, что нечего ему делать в холостом офицерском бараке и торчал в роте с утра до вечера. Он здорово насел с физической подготовкой. Затевал бегать кроссы, составив углом кривые ноги, ловкой сухой обезьяной влезал по канату и готовился учинить марш-бросок в противогазах. Словом, надоел всем ужасно, и единственным от него спасением был караул. Мироненко после присяги ходил понурый, нося, как вериги, расхристанный мундир.

– Мироненко, почему пуговицы не чищены? – приставал с утра Галяутдинов.

– Все равно потемнеют, товарищ капитан, – убеждал Мироненко, скорбно нависая над Галяутдиновым, – много раз проверял.

– А вы все-таки почистите. – И капитан шел дальше.

Почему-то к Мироненко он имел снисхождение. В одну из ночей, когда холодный ветер стрелял незастегнутым пологом, в палатку ворвался дневальный и, размахивая фонарем, стал срывать одеяла.

– Подъем, подъем, химическая тревога. – Все с проклятиями поднимались и, хватая противогазы, вываливали наружу. Шел мелкий дождь. Галяутдинов был уже здесь. В блестящем прорезиненном плаще, он всюду попевал. Дубленое, скуластое личико озабоченно хмурилось.

Александр чувствовал себя неважно. Накануне катали дрова, и он опять повредил ногу. Ту самую. Идти в санчасть не хотелось, да и бесполезно. Когда уморенные сержанты построили роту, Галяутдинов выступил к хмурым рядам.

– Командирам отделений следить, чтобы клапана из масок не вынимали. Надеть противогазы. Вперед, бегом марш. – Капитан натянул маску и бросился вперед. Лебедев бежал, стараясь наступать внутренней частью стопы. Дождь усилился, но плащ-палатка еще держала. Скоро он уже не мог наступать и внутренней частью и здорово отстал. Они с Мироненко были последними. Мироненко еле шел, преувеличенно хромая и стянув противогаз.

– Эй, веселей, веселей, – заорал Пахарь, новый ротный старшина.

– А чего тут веселиться, – проворчал Мироненко, – у меня нога сломана.

Пахарь, покосившись, пробежал вперед. Александр тоже сорвал маску.

– Сейчас жди Галяутдинова. За ним побежал.

– Да хрен с ним. Все равно.

Скоро появился Галяутдинов.

– В чем дело? Почему не бежим?

– Вы ж знаете, товарищ капитан, у меня нога была сломана. Ну, с тех пор боли не проходят.

– Хорошо, Мироненко, а у вас? Тоже нога? – Александр кивнул. – Что с ней?

– Бревню уронил.

– В санчасти были?

– Нет.

– Бегом марш.

Лебедев медленно заковылял, пытаясь нащупать наименее болезненную часть стопы.

– Вперед, Лебедев, вперед. – Опять полосовала боль. Стиснув зубы, он ковылял как мог быстро.

– Вы будете бежать или нет? – Александр молчал.

– Эх! Пристрелить бы! – сожалительно оскалился капитан и, не оглядываясь более, пропал в мокрой тьме.

БАТАРЕЯ КОЛБАСНЕРА

Батарея Колбаснера ожидала, когда подвезут макеты. Уже наступила жара. Над полигоном висели жаворонки. Золотые одуванчики разбежались по громадному полю. Далекая кукушка высчитывала чью-то судьбу. Шабров лежал на спине. Прикусив травинку, он глядел в бездонно опрокинутое небо и вспоминал, как в такой же лениво-истомный полдень они с Рязановым рысили по объявлению. В интимном мире лабухов Рязанов считался признанным экспертом по шведским сьютам, американским джекетам и прочим экзотическим продуктам далекого Запада. В просторном гардеробе, завешенные папиными кителями, дремали изысканные красавцы с пятой авеню, а в глубинном нижнем ящике, «законсервированные от рашен воздуха» несколькими слоями целлофана, лежали «Аллигатор», «Инспектор» и прекрасная шведская лаковая пара. Рязанов только что поведал ужасную историю, приключившуюся с ним накануне. – Представляешь, чувак, захожду в мой любимый комок на Герцена. Измаил, как всегда, говорит: «Нэ тэрай драгоценный врэмья», – и ведет к товару. Ну, я работаю, и вдруг какой-то василий злобно рванул к джекетам и прямо из-под носа уводит прекрасный шведский сьютец. А главное, видно, что ни хрена он в этом не сечет, да и не с его суконным рылом поднашивать такой сьютец.

– Так и увел?

– Ааа! – морщится Рязанов, – не спрашивай.

– А вдруг и здесь лажа?

– Ну нет, – он достает объявление. – «Куплю коллекцию грампластинок, шляпу фирмы „Стетсон“ и ботинки „Инспектор“. Звонить после пяти».

– Прямо не объявление, а пароль какой-то. Крик души.

– Я ему сходу позвонил, чувак, говорю, имею интересующие вас шузы, на гудрическом каблуке еще не стерлась надпись «Инспектор»...

– Шабров, тащи буссоль к первому номеру, мишени привезли. – Это, конечно, Краузе. Женя поднялся. Сержант Краузе насмешливо глядел, как Шабров поспешно схватил буссоль и потащил на позицию. Он был местный, из Уфы. Чувствовались в нем крепость и подобранность природного хищника. Железный кулак его раз и навсегда пресекал робкие порывы к независимости. Женя старался с ним ладить, долгими вечерами рассказывал всякие музыкальные истории и в конце концов добился иронического покровительства. Начались стрельбы. Безоткатки ревели невыносимо. Никакой шлем не мог погасить этого адского воя. Разрывало уши. Глаза вылезали из орбит. Струи пламени со свистом отрывались от тыльной части орудий. У Фаермана из ушей пошла кровь. Его положили в окоп, и он лежал там, маленький, скрюченный, обхватив голову руками.

– Огонь, – хрипел Колбаснер, резко приседая и отмахивая правой рукой.

– Огонь, – ревел Краузе, так же отмахивая рукой, и оглохшие, ослепшие, безумные номера кружились вокруг сверкающих молний, как соблазненные бабочки у смертного огня.

ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ

Капитан Субботин грубо толкнул дверь кабинета, в упор глядя на Борисенкова, уселся на край стола.

– Вот вы, Василий Тимофеевич, все студентов защищаете, а они, извините за выражение, вам на голову с...ут.

– Что такое, Иван Порфирьевич, – настороженно, с рассчитанным добродушием спросил Борисенков.

– Дело серьезное, политическое. – Субботин качал сапогом, ударяя пяткой о край стола и необыкновенно раздражая Борисенкова.

– Уж и политическое. Ну, выкладывайте, что там стряслось.

– Выкладывать, вот это вы в самую то есть точку. Кладут. Кладут. У Галяутдинова. На политзанятиях. Прямо на стол.

– Кто, что? – заревел Василий Тимофеевич, еще не понимая, о чем реветь, но чувствуя нутром, что дело скверное.

– Есть подозрения, что студенты. Ну, правда, г...о лошадиное.

– Отпечатки!

– Василий Тимофеевич, не руками ж они его носят.

– Да нет, – нахмурился Борисенков, – сапог.

– Я уже провел кое-какое дознание. В нашей части три лошади имеются, при хозроте. Только там и можно его достать.

– Кого?

– Да г...о же, – рассердился Субботин. – Значит, там их и ждать.

– А с чего вы взяли, что студенты?

– Да кто еще? Не азиатам же этим заниматься.

– Хорошо, держите меня в курсе. – Субботин насмешливо поклонился.

– Слушаюсь.

Оставшись один, Борисенков забарабанил толстыми пальцами.

– Хочет политическое дело раскрутить. Тогда и Фрол Кузьмич не поможет. – Василий Тимофеевич собрал пальцы в кулак и ударил по столу, затем рванул трубку телефона.

– Дежурный, немедленно, срочно, Галяутдинова ко мне. Из-под земли достать.

Минут через десять капитан Галяутдинов, запыхавшись, стучал в кабинет.

– Товарищ полковник... – Василий Тимофеевич нахмурился и нетерпеливо махнул рукой.

– Погоди. – Он оглядел знакомые серые стены, потолок. – А чёрт его знает, – неопределенно хмыкнул он. – Эти особисты... Ты обедал? – неожиданно спросил он.

– Я? – растерялся Галяутдинов.

– Машину, – рывкнул в коридор Борисенков и зашагал к выходу.

Дома Василий Тимофеевич молча протянул капитану стакан, разлил коньяк, выпил единым глотком и, оставив сердитые глазки в сухое, жесткое переносье, сказал:

– Ну, Галяутдинов, как на духу, выкладывай эту говенную историю.

За обедом Василий Тимофеевич уже соображал необходимую стратегию и поощрительно клал тяжелую руку на негнущееся капитанское плечо.

– Старшину Пахаря убрать в дальнюю командировку. Взять от него письменное заявление, что всю эту историю выдумал для получения служебных выгод. Но сначала провести ревизию в каптерке и составить акт. Всегда чего-нибудь недостает. Будет ерепениться, отдадим под суд. Усилить политико-воспитательную работу. Все ясно, капитан?

Галяутдинов поспешно закивал. Василий Тимофеевич поднялся.

– Шофер отвезет вас в расположение.

Борисенков еще долго сидел, соображая, какими мерами обезвредить Субботина, и крепко загибал пальцы.

К ВЕРШИНАМ СЕКСУАЛЬНОЙ СДЕРЖАННОСТИ

Старший лейтенант Никитин объявился на пространствах алкинского гарнизона недавно и расхаживал по этим пространствам с постоянным волчьим оскалом и острым подозрением в привычно немигающих серых глазах. Уже полз упорный слушок, что новый комендант неумолимо строгий пресекал всякого рода сладких приязней, что бабам лучше не попадаться ему на глаза, что даже жены офицеров жаловались на него Борисенкову и что Василий Тимофеевич жалобы эти совершенно отверг, а высоконравственную деятельность коменданта одобрил с твердостью. Объяснение этому искали и находили в лице супруги полковника, Генриетты Федоровны, сухопарой, черной, строгой дамы. Генриетта Федоровна, верно, не любила «распущенности» и часто лично наставляла Никитина в многотрудном деле искоренения «этой грязи». Но грязь всякий раз успевала находить щелку и просачивалась, марая чистые ризы бойцов войсковой части 21420.

Однажды накрыли Пузыря, баловавшегося с «кирпичницей», тертой, пухлявой бабенкой. Пузырь «ходил в завод» третьего дня, отхлебав все протянутые километры, и зазнакомился. Подруга его обнадежила, что тоже явится с оказией, игриво прикусывая металлическими зубами. И вот явилась. И захоронились они так уютно. И щедро выкатила зазноба из голубой, в ромашку осыпанной сумки щекастый пузырь самогона, и жарко приваливалась теплой грудью, так что Пузырь дурел от терпкого запаха, пристыв меж двух сдобных половин, и уже сами, не спрашиваясь хозяйна, что-то делали руки. Но заломились молодые березы, с треском распахнулись кусты орешника, и немигающий зрак Никитина занавесил улыбчивый свет. Пузырь отмяк, медленно, на неохотных ногах завинтился навстречу старлею. Подруга грудью легла на самогон.

– Отставить, – проскрипел Никитин, ловко выдернув бутылку.

– Ты чо на людей бросаиси, твоя чтоль? – завопила кирпичница, пытаясь отнять самогон.

– Отставить, – опять проскрипел Никитин и махнул рукой. Тут же, как гриб после дождя, из кустов выпер ширококоротый высокий парень, сержант комендантского взвода.

– Вы, гражданка, не буяньте, как лицо постороннее, – медленно разъяснял Никитин. – Своевольно проникли на территорию воинской части. С алкогольным напитком. Теперь будете ощущать последствия.

– Какого последствия? Чо несешь-то, валенок оловянный, – распалаясь баба, все норовя пропихнуться к бутылке.

– Васильев, слышал? Замечай. А сейчас веди их к Тайзетдинову, составляй акт. А этого в камеру, – ткнул он в сторону Пузыря. Пузырь все так же опущенно молчал, перемигивая белесыми ресницами. Он мучительно вспоминал, в какой камере прошлым разом оставил заначку анаши. Баба опять заголосила, но Васильев сгреб ее за плечи и поволок. Пузырь молча зашагал следом.

Плодотворные беседы Никитина с Генриеттой Федоровной подвинули коменданта на новые эффективные поиски пресечения всякой распущенности. Он не уставал расширять список укрепительных мер. Вершиной многотрудной этой деятельности явился способ, именуемый «подштанники». Сдевки или бабы, невзирая на возраст и вопли, под веселые занозистые прибаутки снимались расторопными караульными людьми подштанники, и этими подштанниками жертва понуждалась мыть длинные штабные коридоры. Но несколько раз метод дал осечку: бабы оказались без порток. На этот обескураживающий случай Никитин заставлял помимо коридора прихватывать и кабинеты. Увы, казенной тряпкой, отчетливо сознавая невосполнимую

потерю нравственного урока. Хотя и не было случая, чтобы кто-нибудь попался вторым разом, число баб, схваченных без порток, резко возросло, из чего Никитин делал справедливый вывод, что совершенства в мире нет. Поступали предложения пользоваться на этот случай бюстгалтеры, но комендант предложения эти отверг, интуитивно чувствуя, что нету в том заемной силы и должной глубины поругания. Так и трудился неутомимый наш воспитатель, пока однажды не наемкнули Василию Тимофеевичу, вероятно, облыжно, что Никитин не только уроки нравственности берет у Генриетты Федоровны, что ходит он повышено гоголем, что Генриетту Федоровну видели в местах совсем ей не подходящих и что... Но не стал более слушать Василий Тимофеевич, заревел страшно, дунул, и только пыль за клубилась, и пропал всякий след старшего лейтенанта Никитина, и бабы все как одна заходили в подштанниках.

Пузырь же счастливо нашел анашевую заначку и весел был неизбежно даже в присутствии Тайзетдинова. А потом всех согнали на суд, где припомнились ему месяц назад ушедшие из каптерки сапоги, и что «променял солдатский мундир на бабья юбка», и что совсем не советский он человек и потому надо ему сидеть в тюрьме. Пузырь в ответ глядел безмятежно, раскаяния не выказывал ни в едином повороте конопатого своего лица и, когда его уводили, сорвав погоны и ремень, широко улыбался.

РЫЖИЙ

Старший сержант Бубнов, ражий окатыш с избытым оспой лицом, дотягивал срок службы с заметным сожалением. Он объявился недавно, первым орал – рота, подъем, – резко бегал утренние кроссы, подго-

няя отстающих «чурок» увесистым конопатым кулаком. Частенько вспоминал владимирскую тюрьму, где служили отец его и старших два брата, а вечерами читал руководство для надзирателей внутренних тюрем.

Увидев Лебедева, он двинул рыжие брови кверху, оскалился и поманил его пальцем.

– Чего ж ты еле идешь, когда тебя старший сержант вызывает? А ну давай еще раз, бегом.

– Вот прорастешь в надзиратели внутренних тюрем, тогда, может, перед тобой и побегут.

– Ага, вот ты как. Ладно. Пошли на плац. – Они молча спустились по бетонным ступеням казармы.

Как вывездило ночь! Как оцепенели деревья! Как холодно и печально проливается за горизонт млечный путь!

– Ложись! – неожиданно заорал Бубнов.

– Ну нет, это нам ни к чему. – Лебедев оглянулся.

По ступеням спускались Костя и Шишко.

– Послушай, Ваня, – ласково спросил Теодор Маркович, – тебе сколько до дембеля?

– Ну два месяца. А что?

– Так отдыхать надо, сил набираться.

– Ладно, не встревай.

– А то, неровен час, надорвешься.

– Вы чего, угрожать? Да я на вас всех положил с прибором.

– Мы не угрожаем, – миролюбиво протянул Костя, с холодным прищуром глядя на Рыжего, – а совсем наоборот, советуем.

С минуту Бубнов молча смотрел на них, затем повернулся и ушел в казарму.

– И чего нейметса, до дома рукой подать.

– Да ему там и дом, где давиловка. Ты ему сегодня на глаза не попадайся.

– Уж лучше в глаз, чем на глаза, – усмехнулся Костя.

А еще через час Сашу звали в ленинскую комнату, и там Рыжий с двумя сержантами сразу бросился на него... И долго еще лежал он, сжимая ножку стула в затекшей правой руке и пробуя языком разбитые соленые губы.

НОВЫЙ ГОД

Под новый год в щи засадили изрядный кусок свинины. Офицерство торопилось домой, отдавая поспешные, строгие наказания пожилым кускам и нетерпеливо расторопным сержантам. Капитан Галяутдинов, уставя колючие скулы в лицо Пахаря, мерно качал сухим коричневым пальцем.

– Ургарчева поставить дневальным, пуговицы, подворотничок, сапоги. Не напиваться! – Пахарь туманно глядел оловянными глазами. – Павловскому выдашь новые сапоги. На время. Да чтоб не отливали с крыльца.

– Сделаем, Мустафа Икрамович. Я их тогда заставлю весь «чай» убрать вокруг казармы.

– Что ж еще? – Галяутдинов тер наморщенный нос.
– Да. Байсоголову разрешить пойти к жене, но чтоб утром как штык.

– Так точно.

– Ну, с новым годом, старшина. Надеюсь, все будет в порядке. – Не дожидаясь ответа, капитан покатился к выходу, значительно скрипя голенищами.

Гига Байсоголов, высокий, красивый малый, московский плейбой, непременный посетитель закрытых и слегка приоткрытых просмотров, откачивал права с Черномазовым.

– Я уже третий подворотничок меняю и больше не буду.

– Будешь, – с ленивой уверенностью возражал Черномазов. – Куда ты денешься. И бабе твоей приятно:

пришел как положено. – Гига хмурил сросшиеся брови, злобно пинал ножку кровати, шел перешивать. Танька не была его женой, а одной из многочисленных подружек, рассыпанных по сладким московским местам, где примятые жизнью плейбои давали снисходительные уроки напивавшему молодняку. Гига попал в армию вслед несчастливой пьянке. Было много переломано и сколько-то избито. Папа Байсоголов не имел сил остановить последствия, скорее – не желал. Он покачал крупной седой головой, приподнял брови и уехал с очередной молодой ассистенткой снимать фильм в глухую грузинскую деревню. Неожиданный приезд Таньки Гига принял почти как должное. А пока Танька устроилась на окраине части, твердо ожидать своего матримониального шанса. Она даже показывала некоторую хозяйственную деятельность, прикупив набор кастрюлек и чугунную сковородку.

Обычно Гига в махровом халате лежал на продавленном диване, без напряжения глядя перед собой довольно красивыми круглыми глазами.

– Чувиха, а помнишь, как гуляли на Мосфильме у Паши Самохвалова? Я что-то тогда много выпил.

– А когда ты выпил мало? – сердито возражала Танька, гремя кастрюльками.

– Ну, чувиха, грубишь. Да. Хорошо тогда погуляли! – Гига лениво потягивался, полные губы набухали порхающей улыбкой. – А твоя Галька дрянь оказалась. Отар от нее подхватил триппер. – Танька усиливалась не отвечать, яростно помешивая гречневую кашу с распустившейся тушенкой. Из-под золотистых волос мрачно глядели огромные, черные глаза.

– Подхватил триппер, – мечтательно повторил Гига. В ту же секунду кастрюля, со свистом разрезая воздух, стукнулась в его махровую грудь.

– Ну, чувиха, грубишь, – удивлялся Гига. Танька уже хваталась за следующую кастрюльку, черные глаза пылали... Потом она долго плакала в объятиях обожае-

мого Гигочки, привычно обнимавшего ослабевшую подругу.

На новый год к Гиге собирались идти Овчуков-Суворов, Костя, Федосов, чуть ли не Боня. Все с нетерпением ждали явления Василия Тимофеевича. После этого Овчуков-Суворов и Теодор Маркович должны были уложить Пахаря заранее припасенным пойлом, которое чумазые мастеровые старлея Токина гнали из взрывпакетов. Субботин сбился с ног, разыскивая таинственный самогонный аппарат, а он спокойно дремал в станине токарного станка. Наконец показался Федосов, выставленный далеко в сторону штаба.

– Плывет. Василий Тимофеевич и Хуличенко.

– Батальон... Сыррнаа! – завивающимся дискантом пропел Ургарчев. Все застыли. Борисенков сделал несколько тяжелых шагов. Воинство ело глазами.

– Приятно, как этак-то все замирает, – Василий Тимофеевич в удовольствии щурил глазки. – А вот поглядим, как они ответят. Здравствуйте, орлы!

– Здра, вра, бра!

– Хм. И отвечают ничего, дружно. Вольно.

– Вооль-но, – запел Ургарчев. Борисенков прошел в ленинскую комнату, посмотрел боевой листок, зашел в каптерку. Пахарь, Овчуков-Суворов почтительно потеснились.

– Ну что, Пахарь, сапоги солдатам вовремя выдаешь?

– Так точно, товарищ полковник.

– Небось, третьей категории?

– Никак нет. По положению.

– Ну, гляди там, – Василий Тимофеевич и мрачный Хуличенко зарулили к выходу. Пахарь развернулся к Овчукову-Суворову.

– Доставай.

Лебедев был в гостях у Гиги только один раз. Продираясь сумеречным лесом, он соображал, как ловчее обойти третий караул. Вчера молодой узбек подстрелил

там полковую свинью. Ее-то и ели в новогодних щах. Иван Порфирьевич Субботин шил узбеку религиозный фанатизм.

– Вы эти ваши байские штучки бросьте. В нашем социалистическом обществе, что свинья, что баран, все равны.

– Товарищ капитан, он шумел в кустах и не отвечал на стой команда, что будуш делать?

– А это, знаешь, чем пахнет? – распаялся Субботин и совал ему в нос свиное ухо. Узбек плакал.

Пошел снег. Саша выставил руку. Снежинки таяли на горячей ладони. Давно-давно в такую же глубокую, теплую ночь на Садово-Кудринской подставлял он снежинкам маленькую ладошку. Кажется, ему было семь лет. Белые хлопья оседали на траурных прутьях чугунной решетки. Радужные нимбы холодных фонарей, гипнотический сон тишины, и откуда-то из строгого бархата ночи приходит «буря мглою небо кроет»... и падают белые хлопья, растираясь в стеклянную пыль на краю дрожащих фонарей.

* * *

Они вошли втроем и долго топтались у входа, тяжело сопя и гулко звеня оружием.

– Вот, шли мимо, думаем зайдём, поздравим. С новым годом то есть.

– Кто вы?

– Да вы не бойтесь, не бойтесь, – все более утесняя ее в угол, напряженно подмигивал высокий краснорожий сержант.

– Что вам надо? – уже в страхе пятилась Танька. – Я кричать буду. – Но откуда-то протянулась широкая, корявая лапа, запечатала рот, мертво сдавила скулы, бросила на пол.

- На диван волоки.
- Кусается, сука.
- Ляжки, ляжки ей раздери...

Третий, старший сержант Александров, безучастно стоял в стороне, ожидая установления твердого порядка. И когда должный порядок был установлен и бывшее в конвульсиях тело приведено в нужное положение, он, не снимая шинели, навалился на него всею кабаньей тяжестью.

Гига рванул дверь, подбитую старою ватой.

– Танька, это я, – не дожидаясь ответа, он прошел в сени, скинул шинель, осыпанную снегом, пригладил волосы. В комнате было темно, и он не сразу разглядел скорчившуюся в углу дивана фигурку. Огромные глаза глухо, без блеска смотрели на него.

– А что ты в темноте сидишь и вообще какая-то... – он подошел к выключателю.

– Не надо.

– Что не надо?

– Не надо включать свет, – прошептала Танька, еще более вжимаясь в угол.

– Да что случилось-то? Сейчас ребята придут. – Танька не отвечала, черные зрачки расширились и крупные слезы, сперва задержавшись на напряженных кончиках ресниц, покатались неостановимо. Гига, неловко перебирая ногами, склонился к дивану.

– Ну не плачь, пожалуйста, не плачь, – жалко морщил он красивое, смуглое лицо. – После нового года распишемся, если тебе уж так этого хочется. – Танька закрыла лицо руками.

– Я... домой... еду...

– Да что? Какая муха тебя укусила?

– Ох, Гигочка... Какие же вы сво-ло-чи! О-оо-о! – простонала Танька и зарыдала в голос. Тут только заметил он растерзанное платье, багровый синяк, синие пятна у шеи. Гига почувствовал, как жарко ударило в голову, резко схватил ее за руку.

– Кто?

– Не зна-ю, – всхлипывала Танька. – Какие-то трое... с автоматами.

– Солдаты? – злобно допытывался Гига.

– Один офицер был. Такой. На кота похожий.

– Светлый? – Танька молча кивнула и опять закрыла лицо руками. – Александров. Он сегодня дежурный по части, – утвердился Гига и, схватив шинель, выскочил наружу. Он плохо различал дорогу и несколько раз падал на колени, пригребая снег к пылающему лицу. В казарме он застал одного дневального.

– А, Гига, ты же к жене пошел. Аль надоела? – Не отвечая, он прошел к кровати, нашарил дыру в соломенном матраце и сжал в кулаке горсть патронов. Патроны достал Шишко, когда пили на складе у Колесника. Дневальный все еще смотрел в его сторону.

– Слушай, – мрачно произнес Гига, – выпить хочешь?

– А есть?

– Постой на шухере, я сейчас. – Дневальный вышел на крыльцо. В два прыжка Гига был у стойки с оружием, схватил автомат и спрятал под шинель.

– Ну, чего там?

– Да не могу найти, – бормотал Гига, – сперли, что ли, сволочи. Но я сейчас. Сбегаю к знакомому татарину. – Дневальный разочарованно присвистнул. – Ну, это когда. Сейчас вся казарма привалит с ужина. – Но Гига уже не слушал. Он заскочил в рощу, отщелкнул магазин, затолкал патроны и передернул затвор.

Старший лейтенант Александров (ударение о последний слог отсекалось как-то более ловко в рычащих обращениях Василия Тимофеевича или ворчливо-небрежных аттестациях Леонида Андреевича) в этот поздний предновогодний вечер находился при штабе, в комнате дежурного по части. Он только что сделал распекай часовому у денежного ящика, на котором недавно

навел печати, а тот, виновато сутулясь пухлой спиной, бормотал «Так точно» и крепче сжимал зазябшими красными лапами ствол автомата. Александров глядел прозрачными пустыми глазами в темное окно. Тяжелая шинель его небрежным комом громоздилась на стуле. Он отстегнул кобуру, вынул «Макаров», взвесил на ладони его холодную тяжесть.

– Хорошая штука. А девка была неплоха, Охрименко верно говорил. Тоща немного. Надо бы Охрименке наказать, чтобы в следующий раз... – Дверь тягуче закрипела, и, обернувшись, он увидел высокого солдата с белым лицом и широко раскрытыми неподвижными глазами. Прямо в лоб Александрову глядел черный хобот АК. Почти минуту неотрывно глядели они друг на друга. Из коридора слышалось тяжелое переминание часового. Александров, отшвырнув стул ногою, метнулся вбок и дважды выстрелил, оборвав короткую дробь автомата. Гига медленно сползал вдоль косяка, глаза его были широко раскрыты, в них умирал нерастраченный гнев. Затем голова упала на грудь. В коридоре загрохотали сапоги. Круглое лицо часового показалось в дверях.

– Кто-то стрелял, товарищ старший лейтенант?

– Караул вызывай, – морщась от боли в правом боку, прохрипел Александров.

Гигу хоронили во вторую ночь наступившего нового года на маленьком кладбище за Узой. Лопаты звонко ударялись в промерзшую землю. И долго, раскинувшись крестом, лежала на узком горбике холодной земли черная фигурка, что-то шепча и глядя землю замерзшей рукой.

АГАФОНОВ Василий – родился в Москве в 1942 году. В 1968 году окончил биологический факультет Московского университета. При университете и работал. В 1980 году эмигрировал в США. Писать начал в эмиграции. Первая книга «Скажите маме, я – в порядке» вышла в издательстве «Корвет» в 1984 году. Регулярно печатается в «Новом русском слове».

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЛОТОМ ПТИЦ

Его вымаливая у небес,
выпрашивая вернуть живого,
как камнем, слово ударяла в слово,
и гул стоял, глаза – всё дымом ест.
Сдвигала горы, растрясла вулкан,
расплавила клокочущую лаву:
«Чего еще? все – почести? всю – славу?»
Но кто-то слушал, кто-то мне внимал.

– Очнись. Опомнись. Для чего дарил,
чтоб отнимать? чтоб там на верхотуре
открытиям, таившимся в авгуре,
на полуслове пообрезать крыл?
Щебенку вавилонскую скроша,
дробильное утихомирив жерло,
его ль берешь в довременную жертву,
едва фундамент башни заложа?

Учеником ненашенских миров
(на этом свете этому не учат),
существ крылатых и веществ горючих;
воздухоплавания; паренья; парусов
заоблачных... – запретного предел
нарушила. Я лишнее сказала.
(Не чтобы обвинять – напоминала
самой себе: чтоб голос осмелел.)

Стояли насмерть. Упирались. Я:
– Еще не всё. Помедли, сколько можешь.
Дай новый срок – и чем не ад? – дороже
мне эта жизнь, чем всё и чем своя.

Все же поскольку на ó в названии этой болезни падает (верь словарям!) ударенье, то верю и я, скоро тропу отыщу на твой я, соскучившись, остров; здесь же, на острове Квинс, непогода все держит, никто в море давно не выходит, и нет сообщений с друзьями.

С Флавием новым не вижусь; однако прочла с наслаждением нынче: записки про город, прописан где был иудей; и размышляла при этом: вот к чему мысли приводят, когда с того света не жаждешь на этот опять возвращаться.

С ним побродив там, т у д а вслед за ним воспаривши, от перегрузок слаба, приплелась восвояси. С места не трогаюсь, больше ненадобна помощь и хорошо, что ненадобна: здесь обложили дожди.

Меня же в ученые дамы опять между тем не пустили, неужто процентная норма в силе негласно и тут? Должность глашатая в «Голосе» тоже на днях потеряла, то средства на мне экономит местный Сенат для войны. В общем, ты видишь, уже не касаясь финансов, ибо, коснувшись, боюсь, еще напишу сотню строк (за сына, к примеру, не плачено за обучение четвертый уж месяц), если пока не повсюду, то в доме моем явный кризис, за что не возьмешься, причины для жалоб – кругом, но на друзей, между тем, их обрушивать нам не пристало.

Хватает у них своего. Разве тебе поутру вставать не противно? и, стоя, так на ходу и влачить рабское существованье? Боги! как жалко друзей. Не лучше ль тебе с Леонидом, лежа на теплом песке, бороду солнышком греть, выползая на пляж по-пластунски полусонным еще, и попозже, никак уж не раньше полудня, нектару хлебнув, амброзией перекусив.

Для полной же неги транзистор твои пожеланья
исполнит,
песенку Шуберта Фишер-Дискау – с самим! – напоёт
Святослав Теофиловичем; а в этом сопровожденьи,
кстати, чем дальше, тем меньше понятно, из них
кто же кого, в самом деле, сопровождает?
(К словоупотреблению точному тут обуяла,
видишь, не страсть уж меня – диктует любовь;
с ней же, смутясь, запинаться начнешь поневоле,
так что давай возвратимся уж к теме, чтоб скобки
закреть).
Он же пусть лучше один слух Петром Ильичом
ублажает.

Не устаю удивляться тому, что мы с ним
совпадаем во времени (ибо не слишком везучи),
хронологически нам подфартило: в этом лице
детскому недоумению – «что же есть гений?» –
было дано разъясниться. Но это не всё, есть и дальше.

В силу самостоятельных свойств (выше пятой линейки)
произведенное им потрясенье, трудясь и само,
подключило шестое, седьмое, восьмое – и далее –
чувство.

Вот уж к чему, ибо было б грехом привыкание к чуду,
никак не привыкну – и вообще ни к чему я не привыкаю.

Дальше представь, покамест включен твой транзистор,
может поймать он в эфире лучшую нашу подругу,
ту, что прислушавшись сердцем, спешит то, что
любишь,
ну например, вальсы Брамса исполнить; при этом
так их исполнить, что станешь гордиться знакомством
с розовоперстою нашей Елизаветой.

Что же касается наших прямых недостатков,
у нас их в избытке. Не потому мы молчим,

что не желаем напрячься, не потому, что вступить в диалог неспособны – просто тех мало, с кем говорить можно в полную силу.

Что хорошо в нас: нам нравится, коль удастся наших друзей, как и мы, несчастливых счастливых, расколдовать ненадолго и в жизнь погулять отпустить, чтоб насладились немногим, она чем еще услаждает, ибо все меньше такого... В этом мгновеньи пребудь!

Мне же пора. Ибо вижу: контраст очевиден того, что б хотела, с тем, что имею. К тому же грядет 24-е, «дата рожденья», и надо успеть оклиматься и осознать, что сделать успела за годы: укорениться в себе или собой пренебречь.

Ты же получше живи и, смотри, не сердись на подругу. Звезды лишь только позволят, тотчас к тебе приплыву. Чувствую, ветер уже по-весеннему треплет канаты, словно пастух, перед выгоном стад подзывающий псов.

Февраль, 1986

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. «Александр», адресат стихотворения – А. Сумеркин.
2. «13-й канал» – общественный канал нью-йоркского телевидения.
3. «Квинс» – один из пяти островов большого Нью-Йорка.
4. «Голос» – радиостанция «Голос Америки».
5. «Леонид» – Л. Зельцер.
6. «Святослав Теофилович» – С. Т. Рихтер.
7. «Петр Ильич» – П. И. Чайковский.
8. «Елизавета» – Е. Леонская.

СУКИН СЫН

Капитан Мызгин, голубоглазый курносый мужик лет пятидесяти, напоминал ношенный, но крепкий валежник. Серые волосы подчеркивали сходство. Незлой, неглупый, недоверчивый офицер, опытный, но усталый, в молодости он хлебнул войны и солдатчины, выдвинулся в жуковские времена и дотянул до капитана. Четыре звезды были пределом его служебных возможностей, а большая майорская не светила даже при выходе на пенсию: Мызгин командовал ротой, куда списывали отпетую публику из других отрядов, – сил и сноровки ротного едва хватало, чтобы сберечь оптимальное число малых звезд на погонах.

Не имея природного влечения угнетать подчиненных ему людей, капитан был не слишком строг, но и не больно справедлив с нами, что оставляло в отношениях зазор, без какого немислимо управлять подразделением. Нам, в свою очередь, это дарило ту маленькую правду, которой мы покрывали проступки, нарушения, а случалось – и преступления.

У Мызгина было пристрастие: он обожал разбирательства. «Не за то бьют, военный, что творил, а за то, что не каешься», – говаривал он, восседая за обшарпанным столом в канцелярии роты, выказывая нетерпение, барабанил пальцем по мятому зеленому картону, заляпанному чернилами, внушал: «Ты давай-ка выкладывай по порядку, что делал. Да растолкуй, зачем, какой бес попутал? Может случиться, я тебя и пойму».

Канцелярия уподобилась лобному месту, где ротный самовластно творил суд над участниками бесконечно случавшихся происшествий. Он допрашивал и выпытывал, радостно уличал в противоречиях и добивался таки оправданий от гуляк, выпивох и самовольщиков –

сначала оправданий, а затем и признаний. Нехитрые наши уловки были известны ему наперед. Мызгин заранее знал, что скажет любой из нас в любых обстоятельствах. Признание смягчало кару. Но особенно считался капитан с оправданиями – от них не далеко было и до раскаяния. Тут он был терпелив, внимательно выслушивал, не отмахивался, вникал детально, выискивал оттенки. Он знал: молодому парню, куда тот не пропащий, свойственно желание быть, а если и не быть, то хотя бы казаться получше. Оправдания представлялись ему необходимым, важным элементом, чуть ли не признаком совести в человеке – не признания, а оправдания грели его душу.

Если капитану доводилось услышать непридуманное, жизненное, он оттаивал, заметно веселел и обычно смягчал наказание, а то и отпускал проштрафившегося с миром: «Ступай, сукин ты сын. И не повторяйся!» За то окрестили его и за глаза звали папой Мызгиным.

Про эту его особенность в роте знали и пользовались этим вовсю – провести капитана редко кому удавалось, но, ежели влопался, считалось за правило сочинять отчаянные версии, не падать духом, не канючить, а постараться отвести грозу. Каждый знал, что его выслушают внимательно. Знал и Чистяков. Но не вступал в игру. И не оправдывался никогда.

Саня Чистяков, неулыбчивый парень с долгим, строгим, матово-бледным, не умевшим краснеть лицом, сам белоголовый с плоскими бровями и глазами голубовато-светлыми, едва ли не бесцветными, глядевшими почти стеклянно, без выражения из-под длинных, закрученных, невидимых белесых ресниц, – призывался из Москвы в артиллерию. Говорят, на учениях хлебнувший спирту в мороз командир гаубичного дивизиона напутал в расчетах и накрыл пристрелочным выстрелом своих же корректировщиков. Офицер сразу понял ошибку и протрезвел мгновенно, когда увидел в стерео-

трубу, как взметнулись на воздух бревна землянки. Он вскочил на транспортер и поехал к наблюдательному пункту. Там его встретил бледный Саня Чистяков с ломиком в руках. Четверть часа он гонял майора вокруг развороченного блиндажа по глубокому снегу, пока тот не задохся и не повалился на спину. Чистяков плюнул офицеру в глаза, отшвырнул лом и ушел в лес. Раненых перевязали и вертолетами эвакуировали в окружной госпиталь. Дело замяли. Командира дивизиона перевели на Дальний Восток, а Саню сослали в строительный батальон. Так он угодил к нам.

Первые три месяца Чистяков сидел тихо, как мышь. Послушно выполнял, что требовалось. Работал исправно. Парни решили: либо псих, либо придурок — выслуживается. Его опасались, но подбивали на проделки. А он недоуменно отмахивался и держался особняком. Даже позднее, когда мы сдружились и побратались, он сохранил дистанцию и в разных общих затеях оставался как бы сам по себе: в повадке сквозила волчья неприручаемость. Трудно было представить, что Чистяков ради товарища пальцем шевельнет. Таким сохранился он в памяти и после всего, что приключилось. Хотя мне и самому не ясно: был он волком или казался.

Когда Чистяков двинул в первые свои самоволки, никто угадать не брался. Никто не знал. Так ловко он все это проделывал, комар носу не подточит. В лесу за казармами, в сухом песке, устроил тайник: выкопал яму под кустом, застелил пластиком, закрыл дерном. Он хранил в тайге костюм и туфли, рубашки, пальто и другую гражданскую одежду, полученную из дома. Он завел знакомства в Мончегорске, и в Кандалакше, и в Мурманске и раскатывал по Кольскому полуострову вверх и вниз на поездах, и автобусах, и на попутных машинах. И деньги у него водились. В журнале вечерних проверок не было ни одной отметки об его отсутствии, а в рабочем табеле выгибались рядами аккурат-

ные загогулины восьмерок. Даже в тот вечер, когда прихватили его, по бумагам старшины он числился в ночной смене, а бригадир был уверен, что Чистяков свое отработал утром. Если бы и возникли у кого сомнения, то не на его счет. Так безукоризненно он крутился. Держал язык за зубами. И гулял, наверное, с год.

Трудно сказать, сколько бы он еще протянул, но как веревочка ни вьется, а и на старуху бывает проруха. Чистякова повязали в Мончегорском ресторане, прозванном «запасным аэродромом». Там отсиживались летчики, отстраненные от полетов: пилотов из-за повышенного давления после вечерней поддачи не допускали к тренировкам. Пройдя медосмотр и получив освобождение, ребята катили в город продолжать праздник. Поэтому в зале целый день было полно офицеров, и за ними, должно быть, приглядывали, а Саня в своем стильном столичном костюме оказался заметен, да и слишком свободно, слишком развязно держался он для северного скромного городка, где жители знали друг друга, а приезжие были наперечет.

В ресторане играл оркестр и крутились местные доверчивые девушки. Чистяков заявился не один, а с компанией горных инженеров-питерцев. Но девушки у него не было, и на каждый танец он приглашал и приглашал резвую кобылку, кормившуюся с подругой за столом уже отяжелевшего немолодого штурмана с бомбардировщика ИЛ-28. Парень этот не танцевал, но Санины заходы ему не нравились. Он понимал, баба допьет водку и скроется с московским пижоном. Чистякову следовало остановиться, но вот как раз этого он и не умел. Саня вошел в раж, и уже не девушка занимала его, а налившийся кровью летчик. Когда лейтенант поднялся со стула и взмахнул рукой, Чистяков уклонился. Летчик шагнул. Саня опять уклонился и отступил. Летчик прыгнул, но не рассчитал и промахнулся. Он пробежал мимо, как бычок. А Чистяков увернулся и встал в позицию. Оркестр смолк. Люди уставились на них, слышались

недовольные голоса, но никто не вмешался. Летчик ухватил с чужого стола бутылку шампанского, а Саня поднял стул. Женщины завизжали. Зазвенело стекло. Замелькали руки – противники покатались по полу. Неизвестно, чем кончился бы поединок, но их разняли: штурмана забрал гарнизонный патруль, а Чистякова – удивленный участковый. В отделении быстро выяснили, что он за птица, и, поставив под глазом впечатляющий фингал, милиционеры доставили Саню в комендатуру.

Папа Мызгин, получив от военного коменданта под расписку лучшего солдата роты, лишился языка. Чистяков тоже отмалчивался. И в канцелярии отвечать на вопросы отказался. Ничего не объяснял. Не оправдывался и не юлил. И не обещал исправиться. Он довел Ивана Даниловича до исступления.

Чистякова уpekли на трое суток под арест, а гражданскую его одежду сожгли в печке для сушки сапог. Жаль было шерстяного костюма и английских ботинок, но зато кореша успокоились: с Чистяковым было ясно – он свой.

С тех пор за Чистяковым присматривали. Следили. Обращались с ним строго: каждый шаг под контролем. Но он уже отведал отравы, испробовал свободы, и остановиться не мог. Да и не желал.

Его ловили и наказывали, а он отсиживал положенное и опять убегал в город. Гауптвахта стала ему домом, а комендант гарнизона подполковник Иващенко родным отцом: комендант карал жестко, но честно – не торговался. А Саня отбывал наказание добросовестно и не роптал. Но он не выносил папу Мызгина, который часами держал его перед столом в канцелярии, заставлял писать объяснения, мучил, допытываясь, отчего же солдат продолжает вытворять все то, что уже давно делать было нельзя. Пора остановиться. По Сане плакала тюрьма. И капитан не мог взять в толк, как это и

почему рядовой Чистяков, неглупый городской образованный парень, понимает и знает все насквозь, отдает себе отчет в каждом поступке, прекрасно помнит, что можно, а что нет, и не хочет вразумиться – себя губит и других вокруг заражает духом распада.

Первогодки в роте подражали Чистякову. Сопляки, они балдели от его легкости, холодной недосыгаемой раскованности и незлобливой презрительности. Саня легко сделался бы вожаком, если бы пожелал. Но он оставался один и один. И не терпел вождизм. А тех, кого легко водить, близко не подпускал.

В казарме многие держались группами. За исключением тесного круга своих, все остальные считались чужими – деление четкое. Почти у каждого в сапоге имелся нож. Так, на случай. У каждого – потому ножи в ход пускали редко. У Сани Чистякова не водилось преданных корешей, не было ножа. Но задрать его мало кто решался.

Однажды весной нас везли с работы под дождем в открытом грузовике. Солдаты набились в кузов мокрые и усталые. Настроение сгустилось до критической точки, достаточно было задеть кого-нибудь, чтобы началась ссора, драка. Мест не хватало, и несколько человек ехали в кузове стоя, держась за плечи товарищей. Чистяков тоже стоял. Он ухватился за бушлат узбека Нормаджанова и балансировал, приседая и пружиня ногами, когда машину подкидывало на выбоинах. Нормаджанов был солдат третьего года службы. Он пользовался привилегиями «старика». Ему не нравилось, что за него держатся. Ему не могло нравиться, что за его плечо, как за стойку, ухватился Чистяков – Чистяков был моложе. И Нормаджанов сказал: «Убэры руки!». Саня не расслышал. «Р-у-у-у!» – прорычал узбек, оглянулся и щелкнул зубами. Чистяков отвернулся. Он продолжал держаться. И тогда Нормаджанов толкнул нашего товарища. Саня повалился на сидевших, но тут же вскочил. Нормаджанов тоже обернулся и хотел было

подняться, но не успел: молодой стукнул его кулаком по уху так быстро и коротко, что нормаджановская пилотка улетела за борт. Ветеран с хрипом бросился на Чистякова, но три коротких щелчка остановили его и отбросили. Потасовка в кузове мчащегося по разбитой дороге грузовика – веселая вещь. Но публика не была настроена. Раздались угрозы, и взвыли узбеки. Их было девять. Нормаджанов утер кровь с разбитой губы и молча вытащил плоский, правильно заточенный нож. Машину резко тряхнуло. Люди отхлынули. И в тот миг Саня через деревянные скамейки бросился, опрокинул здоровяка, рискуя получить финкой в бок, приподнял тяжелого узбека над кузовом и швырнул на шоссе. Грузовик не остановился.

Азиаты кинулись мстить за земляка. Но рядом оказались Тима, киевский боксер Толстобров и опасный, как бритва, черный худенький гуцул Игорь Павлиско. Узбеки – парни крепкие и не из трусливых, но они посыпались за борт, как мешки с картошкой. Те, кого мы не успели выбросить, спрыгнули сами. Их было больше, но они не устояли – испугались смертоубийства и сами боялись убить. Ножи достали, но порезали только рукав шинели пьяненького Володьки Поспелова.

Чистяков не боялся смерти – ни своей, ни чужой. Тут у него наблюдалась нечувствительность. И узбеки еще хорошо отделались: никто из них не переломал кости, – так, мелкие ушибы, да безобидному Коле Эгамову расплющили нос. Пешком они добирались в казарму, машина даже не притормозила. А мы прикатили в военный городок распевая песни, позабыв про дождь. Настроение переменялось. Мы даже не вспоминали про узбеков, как они там, никого это не интересовало. Но в кузове были парни, поглядывавшие в нашу сторону хмуро, опасно, а кое-кто и с завистью. Они были не с нами, не такие, как мы. И, должно быть, в определенные моменты ненавидели нас.

Среди сброшенных с грузовика не оказалось ни одного украинца или белоруса, еврея или псковича – только узбеки. Отбор произошел по расовому признаку. И, хотя во время драки никто отчета себе в том не отдавал, Саня Чистяков схлопотал десять суток губы за разложение молодых солдат, организацию драки и разжигание шовинизма, а после отсидки был отправлен на особо тяжелые работы в тундру. Но в канцелярии он не проронил ни слова, не выдал того, кто затеял драку, кто первым вытащил нож. Он молчал пренебрежительно. А капитан согнулся за столом, угрюмый, как нависшая скала. Он старался не глядеть на солдата. И было такое чувство, что если бы не присутствие сержантов да лейтенанта, Иван Данилович прямо тут, в канцелярии бросился бы на Чистякова.

Когда случилась беда с дружкой его Богушем и молодым Смехачевым, Чистяков в очередной раз пребивал на гауптвахте. Он ничего не знал.

Лето кончалось. Ночи стали глухие, непроницаемые. Темнело быстрее и раньше. А под утро прихватывали первые, легкие пока заморозки, и августовская листва на березах золотилась, как в русских лесах бывает лишь бабьим летом. Картофельная ботва на поле соседнего совхоза почернела и пожухла. Самое время было тырить по ночам картошку и продавать потихоньку расчетливым женам гарнизонных хомутовсверхсрочников. Обычно это сходило с рук. Но Богушу надоело довольствоваться крохами.

Ракетчики из службы ПВО косили траву вокруг позиций, сушили, проветривали, заготавливали корм для подсобного аэродромного хозяйства. Ребята выждали, пока строевики сгребут сено и сметают в правильный стог, и однажды, потихоньку подогнав здоровенный ЗИЛ-151 к расположению зенитчиков, нагло нагрузили сено в кузов и помчались в Ревду, чтобы продать там лопарям. Те все лето пьянствовали беспробудно и не

запасли оленям корму впрок. Зато теперь готовы были платить за сено любую цену. Лопари прилично заколачивали, но денежка у них не держалась – все пропивалось целеустремленно. Однако, если поспеть к получке, можно было пожить. Такой день и выбрал шофера Юга Богуш со товарищи – солнечный, яркий, очень ветренный день.

Началось складно. Была суббота, и после обеда ракетчики играли в волейбол: мяч взлетал над невысокими развесистыми березами, скрывавшими приземистую казарму и плац. Из бетонного капонира, где засел дежурный расчет, доносилась развеселая американская музыка. Полеты закончились до обеда, и над полем и над ближними сопками было тихо, как это бывает лишь в субботу, перед выходным днем, когда напряженная неделя уже позади, вечер дразнит свободой, а утром дадут выспаться – на час позже подъем.

Втроем они быстро навалили сухое, оглушающе душистое сено в кузов, просунули насквозь заготовленную заранее струганную жердь и перехватили воз веревками по всем правилам, чтобы ветер не разворошил траву. Никто внимания не обратил на пришлый грузовик, на незнакомых солдат, а может, их приняли за команду хоззвода. Через четверть часа вору выехали с авиабазы по глинистому проселку, без помех миновав закрытый шлагбаум в северной роще. Шлагбаум был заперт на замок, а замок опломбирован. Но один из столбов давно был подрыв и легко вынимался из болотистой мягкой земли. Дорога заросла травой, этим выездом из гарнизона давно не пользовались.

ЗИЛ-151, этот русский студебеккер послевоенного выпуска – старая, но мощная машина, – легко катил в глубокой колее через лес, поочередно пробуксовывая тремя ведущими мостами на топких местах. Богуш сердито сопел за рулем. Смехачев и третий – Коля Юрчелюк – радостно молчали. Они всматривались в заросли, еще оставалась опасность напороться на дальние патру-

ли. Ничтожная возможность, но все-таки. Парни они были тертые.

По бревенчатому мосту с хлипким настилом грузовик переполз через ручей, границу запретной зоны, и, бодро взревев, полез на сопку по откосу, где пролегла дорога, крутая, рассчитанная на гусеничную технику. До мурманского шоссе оставалось не более километра, когда они с разгона выкатили на полянку и увидели в кустах на обочине газик военной автоинспекции, а под елками на камнях солдата, двух сержантов и лейтенанта с бутылкой водки в руке. Солдат присел в сторонке, а сержанты шустрили с закуской, с кружками. Они вскочили, когда из-за осинок с дымом и ревом на поляну выпрыгнул сеновоз.

– Жми! – захрипел, мгновенно остервенясь, Коля Юрчелюк и ухватил острыми пальцами Богушево плечо. – Уйдем!..

Богуш послушно переключил сцепление и выжал газ. Елочки и осинки замелькали, как в кино. Ключья сена повисали сзади на ветках. В минуту они проехали лес. Впереди, за лугом, уставленным гранитными валунами, блеснуло асфальтированное шоссе, показался чистый перекресток. Почти не сбавляя скорости, ЗИЛ выехал на середину дороги, с креном, едва не перевернувшись, вывернул вправо и помчался на север, разгоняясь и разгоняясь по гладкому полотну.

Газика не было видно. Верно, он отстал. Неопытному зеленому водителю непросто развернуть машину на узкой дороге среди кустарника и обломков скалы. А может быть, они и не погнались, кому охота ломать себе удовольствие из-за чужого сена. Да и вообще – стоило ли удирать: у Богуша был припасен чистый бланк, путевой лист со штемпелем гаража и войсковой печатью, утром он заполнил его по форме, вписал груз, и маршрут, и сопровождающих, чин чинарем. Не стал бы лейтенант с ними вязаться. Тоже ведь дело не слишком красивое, пикник на обочине, да еще во время дежур-

ства, да еще с подчиненными, и бутылка в руке. Так рассуждал умный Богуш и бранил себя за то, что поддался Юрчелюку, послушался. А тот забубенно твердил: «Жми, Богушка. Жми...»

После долгого подъема они взобрались на гору и оглянулись на дорогу, петлявшую по склону. Далеко внизу бежал по ней газик, резво и уверенно срезал повороты, карабкался по серпантину – видно, за руль сел кто-то из сержантов. По другую сторону горы лежала Имандра, темная от ветра и тяжелая, как ртуть. Шоссе спускалось к озеру, и ветер раскачивал сосны на склоне, словно кусты. Ветер сразу почувствовали бортом, грузовик задрожал, как шаланда. Но Богуш упорно не сбавлял скорость. С воем они спускались в долину.

Богуш слыл мастером среди гарнизонных шоферов, и никакой лейтенант сравниться с ним не мог. Но и условия не были равны. В самом низу, когда тяжелая машина вынырнула из мелкой лощины на открытое место, не защищенное даже молодым ельником, покрывавшим северный склон сопки, ветер с океана задул резкими порывами прямо в лоб. Казалось, он вот-вот приподнимет передние колеса над дорогой, и грузовик взлетит. Но Богуш давил акселератор все сильнее, словно бы ногой прижимал машину к гудрону. И в какой-то момент застежки на капоте не выдержали, струей воздуха обе крышки приподняло над мотором вверх. Они загремели под напором встречной струи и закрыли лобовое стекло.

– Жми-и... – в последний раз крикнул Юрчелюк, но шофер не видел дороги.

ЗИЛ пробежал метров сто пятьдесят и остановился. Богуш выпрыгнул из кабины. Застежки вырвало из проржавевшей облицовки, остро торчали обломки. Закрепить капот, примотать проволокой – дело нескольких минут. Но времени не оставалось. Руки опустились. Он сплюнул и на какой-то момент сделался вдруг нечувствительным и тихим. Он стал совсем мяг-

ким и, прищурив глаз, смотрел, как по ослепительной ленте лихо спускалась к ним патрульная машина. Юркий газик козлом обскакал грузовик и остановился впереди поперек дороги. Из-за руля выпрыгнул офицер и неторопливо направился к задержанным. Только тут Богуш опомнился. Сам он был шофер, и от машины бежать ему было некуда. Но друзья...

– Делай ноги! – крикнул Богуш и встрепенулся, как большая грязная птица. Но увидел, что Ванька Смахачев глупо и чинно стоит рядом, а лучшего земляка, Коли Юрчелюка, уже и след простыл. Никто не заметил, когда и как он исчез и куда подался. Место было открытое, но он провалился, пропал, словно бы в воду канул.

Сердитый лейтенант подошел, положил на крыло свою новенькую, раздавленную колесом ЗИЛа фуражечку с голубым околышем ВВС – Богуш и не заметил, как переехал ее на траве, – глазам своим не веря, оглядел выломанные с мясом стальные застёжки и хмуро заметил:

– Угробились бы ни за понюх табаку... Ваши документы?

Дело заварилось серьезное. Стоимость похищенного сена определили в сто семьдесят рублей. Цена несусветная. Но на крайнем севере все дорого, особенно корм для скота, который возят чуть ли не с Украины. По закону, если сумма ущерба или хищения превышала семьдесят рублей на человека, военная администрация уже не могла ограничиться дисциплинарными мерами – обязана была передать дело в прокуратуру. То есть автоматом начиналось следствие, после чего трибунал и тюрьма ожидали Богуша и Смахачева. Третий исчез. И хотя лейтенант из ВАИ в протоколе задержания упомянул, что первоначально в кабине сидели три солдата, подтверждений тому не было: путевой лист шофер предъявить отказался. «Нет никакой путевки...» Богуш

и Смехачев отрицали третьего. А на двоих сто семьдесят рублей было не расписать.

Из Кандалакши, из штаба отряда, срочно, как на пожар, прикатил майор Артюшин. Он вел дознание. Майор был пышнотелый офицер заметного роста с мягким румяным лицом. Он нервно вышагивал по канцелярии на тонких ногах. Папа Мызгин сидел на своем месте за столом. Положение складывалось квелое.

Уступить обстоятельствам и просто отдать двоих под суд не было резона: до конца года еще жить да жить, и всякое за эти месяцы могло приключиться – вдруг кого-то придется оформлять по более серьезному делу, и терпимые нормы посадки за год окажутся перекрыты. Для отряда несмываемое пятно. На бедного Ивана Даниловича на последних совещаниях в штабе и на партбюро и так всех собак вешали, а тогда уж просто с грязью смешают. Да и по-человечески Артюшину было жаль непутевого шоферюгу Богуша и молодого дурачка Смехачева. Держались они симпатично, ни за что не соглашались назвать третьего. А он был. Это офицером, да и всей роте, было ясно как Божий день. Шила в мешке не утаишь. Но он затихарился. А подельники молчали. Они еще надеялись вывернуться как-нибудь, авось да пронесет. Дело тем временем принимало скверный оборот.

Артюшин приехал как представитель штаба. Официально у него было три дня на то, чтобы провести дознание, принять меры и вынести решение. Он записал показания, собрал и оформил документы. Срок истек. Пора было возвращаться. Жена названивала из Кандалакши по военной связи, проверяла, не загулял ли он. А майор сидел в таежном гарнизоне, ждал чего-то, тянул, расследование не закрывал. Он просрочил время и нервничал – за такую тягомотину по головке не погладили бы.

Иногда ему приходило на ум, что с этими двумя лучше отбросить формальности и поговорить нормаль-

но, если потребуется, то и на пальцах растолковать: не до прятков теперь – сядут они из-за упрямства. Как пить дать, сядут. Гадать было нечего, мальчишки – а они были мальчишки – загремят в военную тюрьму. Тут требовались слова не притворные, а доходчивые, от души. Но только горячими такими, чтобы до сердца проняло, словами надо было склонять их ни много, ни мало к предательству. Майор солдат этих не знал так близко, как Иван Данилович. Терпение начинало изменять ему. Он понимал: в сумбурном состоянии ни подходящих слов, ни верного тона не найти. И потому, прикрываясь субординацией, представитель штаба избегал действовать через голову командира роты. А капитан в присутствии штабного майора мешался, робел, ждал указаний.

– Данилыч, – наконец не вытерпел и попросил ротного Артюшин. – Твои гаврики. Ты их лучше знаешь. Может, сам разберешься с ними... Того... Внушишь, а?

Иван Данилович знал, чего от него ждали. Он тупо кивнул. И майор, пересчитав деньги в маленьком дамском кошельке, удалился в буфет дома офицеров. Он оставил командира роты в канцелярии.

Папа Мызгин долго сидел один, собираясь с мыслями. И чем более он проникался пониманием, что оставлена ему последняя возможность, тем гуще мрачнел. Хитрить не хотел. Сказать следовало просто. Толково сказать. Он знал про себя, что не оратор. И не представлял, с какого конца взяться, как приступить. Надлежало заставить их услышать главное. И слова требовались честные. Времени на игру не оставалось.

Капитан высунулся в коридор и кивнул дневальному:

– Смехачева и Богуша ко мне!

– Смехачев!.. Богуш!.. – понеслось по казарме. – В канцелярию! Командир зовет!

– Вольно! – скомандовал папа, когда оба явились и доложили.

Ишь, умеют по уставу, – усмехнулся он. Умеют, когда захотят. Так ведь не хотят.

Смехачев отставил ногу, но в позе угадывалось напряжение. Он был весь молоденький, новенький, в стиранной гимнастерке, в намазанных ваксой сапогах. Богуш к грязной шоферской куртке подшил свежий подворотничок и ремень подтянул. Он был двумя годами старше. Он стоял правильно, не придерешься. Но во всей фигуре его, в осанке, в неуловимой гримасе нервных губ проглядывала своевольность.

– В октябре дембель, – сухо сказал Иван Данилович, в упор глядя на Богуша. – Отправим домой сразу после приказа министра обороны. Спишем к чёртовой матери, чтобы воду не мутил.

Богуш осклабился.

– А тебя, военный, – капитан повернулся к Смехачеву. – Уму-разуму будем учить. Молод больно котовать. А то, я вижу, тебе служба медом кажется.

Ваня побледнел сильнее, выгнулся, словно его по спине дрыном вытянули. Он благодарно улыбнулся уголком рта.

– Сказал, так и будет. Слово... – подытожил комроты. – Но приведите мне третьего. Сто семьдесят рублей на двоих многовато, против закона не попрешь. Шутки в сторону. Девятичасовым автобусом майор уедет в штаб, в Кандалакшу. Опоздаете, пеняйте на себя. Всё. Действуйте.

– Так двое нас было, товарищ капитан, – заканючил было опять Богуш.

– Действуйте, – оборвал капитан. – Не осталось времени дурака-то валять. Следствие, один хрен, вас расколет. Но если прокуратура вмешалась, от трибунала тогда уж не отвертитесь, голубчики. Огребете по четыре года, и третий за компанию... А нас всех замараете... Ясно?... Не шутки шутим. Я сделал, что мог.

Солдаты повернулись и хмуро вышли из канцелярии, забыв отдать офицеру честь и вымолвить обяза-

тельное «разрешите идти?». Мызгин хотел было их вернуть, чтобы проделали все по уставу, но передумал и махнул рукой – не до того. Он заперся в кабинете и начал ждать. И было это невеселое ожидание. Уверенность, что он-таки ничего от них не добился, скребла на душе. На благополучный исход капитан не надеялся и подумывал: сколько звезд оставят ему при разжаловании, – если две, то куда он подастся, и какое же это будет позорище – пожилой лейтенант.

В тот день рядовой Чистяков освобожден из-под ареста, отсидев семнадцать суток, но не отбыв сполна наказание. Комендант продержал бы его взаперти и дольше, если бы Саня не встал ему поперек горла, как кость. Короче, в тот день Чистякова выгнали с гауптвахты.

После опасной истории с узбеками он отсидел свое и, вернувшись в роту, затаился, затих. Выходил со всеми на работы, без понуканий делал утреннюю зарядку и даже в столовую топал в строю, а не крался за казармами, стараясь пораньше успеть к раздаче и ухватить на стол для своих (а значит, и для себя) котелок с борщом или с кашей побольше, чтобы подливы или сала плавало там погуще, выбрать ложки и миски почище и поновее и получить масло и сахар по норме, то есть не дать себя объегорить и не позволить делегатам от других столов поживиться за здорово живешь. Все это стало как бы не важно для Чистякова. Он не высовывался, не выделялся. Можно было подумать, что Саня опомнился в конце второго года, службу понял, начал исправляться, нащупал свой путь. Но даже если он сам что-то в этом роде и чувствовал, то у других на его счет сложилось особое мнение. Чистякову не верил никто.

Однажды утром проверявший заправку коек капитан Мызгин обратил внимание на постель во втором ярусе, убранную необычайно красиво, строго, образцово – даже подушка обрела выравненные старательной

рукой грани и сидела правильным кубиком. Казалось бы, следовало солдата похвалить. Но Мызгин недоверчиво спросил, чья постель. Он учуял неладное. Подушка торчала заметно выше соседских, как если бы в изголовье что-то лежало. Возможно, Чистяков прятал под одеялом книжки, гражданский свитер, что запрещено было категорически, или еще хуже: припасенную на продажу спецодежду, а то и ворованные сапоги.

Командир роты уверенно шагнул к койке, решительной рукой смял подушку, завернув матрац... И тотчас отскочил. Из постели на пол со звоном и стуком посыпались тонкие 20-миллиметровые снаряды от зенитного автомата. Ударяясь о металлические части кровати, они отскакивали вниз и катились по настилу. Мызгин резво отпрыгнул, упал в проход и залег за фанерной тумбочкой. Лейтенант Горобец присел, а сержанты пригнулись. Солдаты столпились вокруг – кроме командиров, никому в голову не пришло, что снаряды могут взорваться. Когда они все скатились на пол и ни один не ахнул, папа Мызгин встал на ноги и отряхнул галифе. Он был смущен. Среди стоявших подчиненных он медленно отыскал глазами Чистякова. Лоб капитана покрылся розовыми пятнами, щеки зарделись. Он покраснел так, что, казалось, еще чуть и insult обеспечен. Он пытался сказать слово, но не мог.

Саня спокойно нагнулся, присел и стал собирать снаряды.

– Отставить! – наконец прохрипел Мызгин.

И сержанты с Горобцом потянули штрафника в канцелярию на расправу.

На допросе Чистяков сознался, что позаимствовал снаряды у аэродромных зенитчиков. Но подробности: у кого и на что выменял – сообщить отказался. Он предназначал их для рыбной ловли – вывинчивал детонаторы, извлекал взрывчатку и мастерил небольшие шашки со шнуром, чтобы в озере или в протоках глушить рыбу.

– Ты чуть всех нас не угробил, – упрекнул его капитан.

– Зачем матрацы переворачивать? – пожал плечами Чистяков.

Учитывая чистосердечное, но частичное признание, комроты, превышая власть, выписал Чистякову десять суток. После работы его остригли, покормили ужином и приготовили к отправке на губу. Саня сунул в карман зубную щетку и тюбик с «поморином» и вместе с сопровождающим, младшим сержантом Борченко, шагнул в сумерки за крыльцо казармы.

К отбою Борченко не явился. Стали искать, спрашивать. Капитан звонил в комендатуру. Кто-то сообщил, что видели их в офицерском городке, возле магазина. На гауптвахту они притопали после полуночи и сильно навеселе. Откуда у Чистякова взялись деньги, что они пили и сколько, выяснить не удалось. Борченко то и дело начинал петь и плясать, а Саня хлопал ему, как медведю, и пьяно подмигивал. Обоих заперли в холодную. К утру они пришли в себя и заявили, что не помнят ничего, ну, просто никаких подробностей ровным счетом.

Назавтра Мызгин приехал, чтобы забрать Борченко. Он не сказал Чистякову ни слова, только затравленно поглядел на дверь одиночной камеры. А коменданту посоветовал не ставить этого гада на работу с другими арестованными, а то он и их развратит. Комендант внял совету. От себя он добавил Чистякову еще десять суток за пьянку и на разводе назначил Сане одинокую работу – двадцать дней арестованный должен был кормить караульных собак, чистить клетки. В общем, комендант поступил верно. Но он об этом пожалел.

Толстолапые широкогрудые звери с волчьими мордами, умными злыми глазами, остроухие, светло-серой шерсти с черной спиной и черным хвостом – немецкие овчарки, – они понравились Чистякову. В первый день собаки ворчали, скалили зубы, а то и бросались на сет-

ки с хриплым угрожающим рыком и не брали пищу из рук. Но после того, как Чистяков прошелся вдоль клеток с собаководом, улыбочивым и серьезным пареньком из Брянска, псы успокоились. К вечеру Саня наладил контакт. А через несколько дней псарня встречала его по утрам радостным визгом.

По сравнению с солдатской долей собачья жизнь выглядела приманчиво и не скучно. Четыре раза в день псов кормили. До и после обеда на специально оборудованной площадке с ними занимались подготовленные собаководы. Занятия проводились по научной методике. Нагулявшись вдоволь, псы жрали от пуза фарш из первосортного мяса, овсянку с добавленными туда витаминами и вбитым яичным желтком. А потом отсыпались. Во время занятий клетки мыли и чистили. Самих зверей, кого утром, а кого вечером, старательно вычесывали стальной щеткой, что доставляло им наслаждение. Вымотанный на землекопных работах, приморенный на гауптвахтах Саня Чистяков ничего не имел бы против такой жизни.

Обилие дорогих поливитаминов, выдаваемых солдатам в ограниченном количестве, нисколько не смутило его. Но яйца – их Чистяков уже и вкус забыл. А мясо – таким отличным мясом не кормили даже пилотов, что ж о штрафной роте говорить. Но строгий брянский паренек серьезно сказал: «Им положено. А то потеряют форму, нюх пропадет. Если неправильно кормить, собаки заскучают и откажутся работать». Вопрос был исчерпан. Саня с сочувствием смотрел на человека, кормившего отборным мясом собак и питавшегося сухой кирзой да селедкой в гарнизонной столовой. По науке, может, оно и было верно – собаковод не унывал и не отказывался от работы, исполнял обязанности добросовестно и не без удовольствия. Но Саня чувствовал: наука – вещь опасная. Стать рабом методики он не пожелал. Собачки у него заскучали.

Сначала овчарки отказались жрать – солдатский харч пришелся им не по нутру. Утром плошки с едой остались нетронуты. Чистяков терпеливо собрал их. Он оставил собак голодать. Перед рассветом они завыли. Было воскресенье, и собаководы отдыхали. А Саня ничего не положил в кормушки. Псы провыли вторую ночь, выводя из себя начальника караула и охрану. На завтрак Чистяков отвалил им по полной миске солдатской каши, и они стремительно слопали все, а кормушки вылизали до блеска. В обед и к вечеру они тоже поели. Ритм налачился. Арестанты в лесу, на работе испекли в угольях шашлыки, принесли кое-что и Сане, сидевшему на псарне безвылазно. Позднее он изловчился и варил себе супчик в консервной банке и жарил мясо. Жизнь вошла в новую колею.

Так могло бы длиться долго. Август кончался. Наступали холодные ночи. Перед рассветом в камере делался такой колотун, что не спасали и шинели. В шесть утра солдаты вскакивали с досок, на которых спали, резво выбегали во двор, относили в чулан лежаки, оправлялись и мылись под краном с прозрачной водой, помывшей суставы, строились в коридоре перед дверью в столовую, где на столах уже остывала каша в алюминиевых бачках и дымились чайники с желудевым кофе. Собачкам мало что оставалось от завтрака. Разрезанное мясо и хлеб прятали по карманам и за пазуху. Хлеб, мясо и яйца брали с собой на работу, в лес. Там, за дальним концом новой, не готовой еще взлетно-посадочной полосы можно было развести костер и запечь на прутиках сочно шипевшие куски, заодно угостить и выводного, чтобы помалкивал. Так могло бы продолжаться все двадцать суток ареста. Но ни против науки, ни против природы далеко не пойдешь.

Собаки поскучнели. Животы подтянуло. Шерсть перестала лосниться, зато глаза блестели постоянной злобой. Псы работали хуже и хуже, их приходилось принуждать. Иногда бить. Они начинали затравленно ры-

чать, опасно скалили зубы на собаководов. И в конце концов сделались такими вялыми, что почти не реагировали на пинки и команды.

Начальство обеспокоилось. Явился ветеринар. Ни чумки, ни другой болезни он не обнаружил. «Переутомление», – констатировал врач и велел усилить питание, добавить витаминов и поменьше работать. Но не помогло. Добавка витаминов пришлось кстати: число арестованных на гауптвахте с каждым днем увеличивалось. Кончалось лето, уходили последние теплые дни, и солдаты стремились наверстать свое, в предосеннем отчаянии все чаще вырываясь из рамок армейского распорядка, – гарнизон лихорадило перед полярной, муторной, неотвратимой зимой.

Долго ли, коротко, но брянский паренек просек причину. Пригрозить ему не успели – сытая жизнь располагает к беспечности и убавляет решительности. Короче, собаковод доложил по начальству. Караульный офицер позвонил в комендатуру, и военный комендант Иващенко тотчас прикатил на вездеходе. Арестованного Чистякова взяли прямо на псарне. Его схватили с поличным. Выкручиваться не имело смысла.

– Подлец, – возмутился подполковник искренне, у коменданта была любимая охотничья собака, которую, не щадя расходов, он кормил согласно всем правилам и нормам в скупых условиях Заполярья, он любил животных и понять тупой жестокости не мог. – Ты не человек! Чувство у тебя есть!

– Солдат я, – хмуро согласился Чистяков. – Арестованный военный-строитель, рядовой.

– Дважды, дважды ты арестованный, – взвизгнул гневный Иващенко. – Преступление, вот что ты совершил. Уморил животных, безжалостная тварь.

Чистяков молчал. Спорить он не мог. Да и странно было бы оправдываться. Тем более, что шили ему преступление против человечности.

Комендант долго кричал. Он корил и стращал, но при этом избегал крепких выражений, стараясь придать своей речи культурную форму, что было еще похабней – лучше бы уж обматерил. Когда он выговорился и отошел, охолонув, перестал топтать ногой и грозить маленьким чистым и розовым, как молодой помидор, пальцем, он спросил:

– Что делать с тобой?

Чистяков пожал плечами нагло, но примирительно:

– Накажите.

В роту ему возвращаться не хотелось.

– Накажу, – вдруг обрадовался комендант потаенной мысли. – Так накажу, что надолго запомнишь.

– В последний раз... – начал было арестованный.

– Именно, в последний! Ноги твоей больше тут не будет. В последний раз ты здесь. Плохо у меня жилось?.. Пусть Мызгин строит отдельную гауптвахту или возит тебя в другой гарнизон, в Оленью. Там узнаешь, почему фунт лиха... Довольно. Сыт я тобой по горло. Вот, – и он показал рукой, как сыт.

– Собирайся. Забери монетки и ступай в роту. Документы твои я завтра пришлю, нарочным.

– У меня трое суток еще не отсижено, – с надеждой пробормотал Чистяков, не светило ему возвращаться на гиблые работы в болота, куда бригады штрафников по утрам отвозили на машинах и оставляли там до вечера на поживу мошкё.

– Пустяки, – трезво отрезал комендант Иващенко. – Трое суток прощаю... И не попадайся на глаза.

Стриженный наголо, небритый, в старой шинели до пят (на губу шинели брали подлинней, ночью заворачиваться удобно), в мятой пилотке без звезды (ночью вырвали с мясом парни из караула), в начищенных, но худых, растрескавшихся до дыр сапогах солдат Чистяков лениво плелся по обочине рокадной дороги, выло-

женной бетонными плитами. Пройти предстояло семь километров, и Чистяков не спешил.

Там, за лесом, жила шумная казарма, спертый воздух и кислая вонь которой за два года вытеснили из памяти чувств призрак дома и уюта. Стены ее успели сделаться почти согревающими, родными. Родная казарма, вот ведь оно какво. Через час-полтора он придет, скинет шинель на одеяло, выбросит чужие письма и объедки из тумбочки, явится в канцелярию на доклад к папе Мызгину. «Товарищ капитан! Разрешите доложить: военный-строитель рядовой Чистяков, отбыв наложенное взыскание, прибыл в расположение роты досрочно». Он знал этот взгляд Мызгина. «Досрочно... Достукался. Уж и с гауптвахты гонят. Что делать, скажи, а, военный?» И папа Мызгин будет глядеть на него и ждать каких-то слов, бубнить нотации, выматывать душу. А он будет молчать. Молчать в пол. Так же долго.

Утром, перед разводом, старшина отберет шинель и взамен вынесет из каптерки потертый бушлат и пару резиновых сапог б/у, бывших в употреблении, плохо заклеенных и потому пропускающих воду, – целых и новых на складе давно нет, а если и припрятаны у кладовщика, то не для таких, не для Чистякова. Потом выдадут ему рабочие рукавицы, зачислят в одну из бригад. На грузовиках отвезут их за тридцать километров в тундру, где безо всякой техники и энтузиазма военные отряды прокладывали на пересеченной, одновременно и болотистой, и гористой местности трассу – рыли узкие, глубокие траншеи под кабель связи. Ширина требовалась небольшая, но глубина была основательная, а норма одиннадцать метров на человека в смену. И это еще хорошо, если попадался твердый спрессованный, как плита, торфяник. Обычно же шел скальный грунт второй и третьей категории. Из-под камней проступала вода. Норму выполняли здоровые лесные парни с Западной Украины. Окончили они по четыре класса, зато работали отменно. Городские не могли угнаться,

здоровья не хватало даже тем, кто покрепче. И Саня знал: сколько не упирайся, нормы не выработать. Два-три дня он еще будет карачиться, а потом начнут склонять его имя по всем разборам и сборам, собраниям, летучкам. И посыплются взыскания. Не миновать ему нарядов по воскресеньям. А увольнений не видать, как своих ушей. Не бывать в городе. Не посидеть с нормальными людьми в нормальной одежде за дымящейся чашкой в кафе «Северное сияние». Неделью-другую еще продержится ровное тепло. Потом задует с Ледовитого океана, и зарядит мелкий холодный дождик на две, а то и на три недели. Траншея наполнится водой, которую заставят вычерпывать ведрами и старыми ботами (это под дождем-то!). И они будут вычерпывать и вычерпывать так целыми днями, но это лучше, чем рыть каменистую хлюпающую землю, в рваной резине погружаясь в вязкую грязь. А когда прекратятся дожди и установится короткая ясная погода, воздух начнет быстро остывать, и через несколько дней первый серьезный мороз схватит подсыхающую землю, превратит песок и глину в гранит. А еще через несколько дней облака сгустятся, затянут небо тяжелым одеялом, и упадет снег, первый, яркий, и по нему разлетятся золотыми монетками мелкие мертвые листья полярной березы. Тогда на трассе станут разгребать заносы. Норму сократят. Привезут дрова и взрывчатку. Землю придется рвать аммоналом и отогревать кострами. И копать, копать. Города ему не видать до весны. Это он понимал. Но он и не рвался в город. Перед арестом его обрили наголо, как уголовника. Куда пойдешь с такой прической, даже к Нинкелопарке не покажешься. Да и милиция прихватит враз — примут за беглого.

Чистяков думал о городе. Но мысли приходили вялые, и не было в них сожаления. Ничего ему не хотелось. Только бы дойти до казармы, в сортире отмыться под краном от арестантской грязи, побриться старым, не слишком тупым лезвием и не ходить на ужин, а ски-

нуть сапоги, залезть под одеяло, под шинель, спрятаться в койку до отбоя (по журналу числился он на губе, и никто бы его не хватился) и спать. Спать до утреннего развода, наплевать на сержантов, на подъем и на завтрак. Не ходить на доклад ни к какому Мызгину, а только спать и спать. И видеть сны. Но и сны были не интересны. Ничего не интересовало. Он увидел словно бы с холма, понял, вызнал свою жизнь наперед – как и что будет. До самой весны. Зиму надо было еще пережить, не согнуться и не надорваться. Для этого нужны силы, требовались силы. А он чувствовал, что ослаб. Не физически, а как-то весь сразу, нутром. И ничего не хотел. Не было в нем ни интереса, ни желания. Он устал и понимал, что устал.

Смехачева и Богуша он встретил на крыльце казармы. Они молча курили и плевали, перегнувшись через перила. Чистяков сел рядом на деревянную ступеньку и переобулся, портянки сбились от ходьбы. Богуш кивнул ему, и Чистяков хрипло спросил: «Оставишь докурить?» Шофер глубоко затянулся и протянул папиросу. Чистяков выкурил жадно и до конца – на губе курить воспрещалось, а припрятанных бычков на всех не напасти. Приятели молчали. Он ждал слова или так, вопроса. Но им было не до него – Саня почувствовал.

– Случилось что? – спросил Чистяков.

– Пойдем, отольем, – предложил Богуш.

Вместе они двинулись к летнему сортиру, стоявшему на отшибе. Там можно было спокойно поговорить.

Когда вернулись на крыльцо, настроение Чистякова резко переменилось.словно бы струя озона освежила его. Ему показалось, что он вновь ощущает шевеление жизни: с лёта ухватил ускользающий след, распознал острый привкус опасности.

– Юрчелюк где? – осторожно спросил он.

– В гараже, – отвечал Смехачев, – на яме.

– Задний мост раскурочил, – уточнил Богуш.

– Поехали.
– Брось ты. С ним все ясно.
– А потолковать?
– Толковали уже.
– Плохо толковали. Невнятно.
– Оставь, – отвернулся Богуш. – Мы ведь с одного военкомата призывались. И если он, позорник, такое может, то ведь я-то и тем более не могу.

– Поехали, – отрубил Чистяков и зашагал к дороге, не глядя, поспевают ли за ним.

– Тебе сначала надо командиру роты доложиться, – нагнал его запыхавшийся Ваня Смехачев.

– Успеется.

Богуш топал рядом, сосредоточенно глядя под ноги. В успех переговоров он не верил – все слова сказаны, и ждать от Юрчелюка было нечего. Но его взбодрило то, как с места завелся Чистяков.

На дороге они тормознули попутку и за четверть часа добрались до гаража. Гражданский водитель высадил их у ворот, свистнул и уехал. Шлагбаум был поднят. Они хмуро вошли и остановились почти в середине изъезженной, разбитой колесами площадки. Не опасаясь замарать надраенные до матового блеска сапоги, трое стояли в подсыхающей грязи, из всех углов на них выжидающе поглядывали работавшие солдаты – слесари и шоферня.

Юрчелюк возился под лесовозом, голова торчала между колес в смотровой яме. Он не поднимал глаз. Но, когда они подошли и остановились у машины, он положил подле себя на край ямы тяжелый разводной ключ. Разогнулся. Черной рукой вытер потное лицо, оставив грязные полосы на лбу и взглянул на Чистякова: веки дрожали, а зрачки застыли неподвижно. Он попробовал улыбнуться. Он старался казаться спокойным, но улыбка не получилась.

– Опять? – спросил он, не вытерпев паузы.

– Вылезай, – сказал Чистяков.

– Мне и тут удобно.
– Поговорить надо.
– Говори, – сказал Юрчелюк и чуть отодвинулся под машину.

– Что, по-русски не понимаешь?

Чистяков сделал неожиданный шаг и наступил сапогом на ключ. Юрчелюк попятился.

– Ну?

– Ладно, не запяг еще понукать, – он обтер руки промасленной ветошью и вылез из ямы.

– Ступай умойся, – по-хорошему сказал Чистяков.

– Пора показаться капитану.

Юрчелюк переминался с ноги на ногу. Он молчал. Богуш молчал. Смехачев отвернулся. Они уже говорили и не раз. Чистяков тоже молчал, и внутри у него медленно сжималась пружина.

– Решайся.

– Не надо, – сдавлено проговорил Юрчелюк. – Лучше бейте.

– Вот уж удовольствие, говно месить, – хрипло рассмехался Чистяков.

– Они меня не простят на этот раз. Накопилось. Слишком много за мной числится. И с машины снимут. Совсем... А в тундре разве зарабатываешь. Да и загнись я там. Здоровья нет. Вон чирьи повылазили... В тундре мне кранты.

– А им? – спросил Чистяков. – Казенный дом?

– Их не посадят. Простят, – забормотал Юрчелюк, сжимаясь и втягивая голову в плечи. – Все нормы по посадке перекрыты, куда же еще... Не посадят.

– Капитан времени дал до вечера. Артюшин уезжает в Кандалакшу, и дело передают в прокуратуру. А там тебя все равно вычислят. Не отмажешься.

– В прокуратуру? – вздрогнул Юрчелюк и отвел глаза.

Русые волосы его торчали грязным ежиком, и глубокие глаза под светлым валиком бровей были переполнены страхом.

– В прокуратуру? – повторил он.

– Просек, сука!

Юрчелюк опять опустил голову.

– Нет, – сказал он и, сделав шаг назад, опустился на землю, прямо в мазут на краю ямы. – Нет... Не надо. Не пойду, – и плечи его затряслись.

Солдаты стояли молча. И когда Чистяков носком сапога приподнял Юрчелюка за подбородок, они отвернулись. Юрчелюк плакал. Он хлопал сочно, и обильные слезы стекали по измазанным щекам на чистый сапог.

– Можете сами... Меня капитану можете... заложить.

Чистяков отдернул сапог и повернулся.

В тоске они вышли из гаража на дорогу. Даже курить не хотелось. Попутная машина в гарнизон притормозила сама. Но они прошли по обочине мимо. Машина с ревом ушла за поворот. Трое солдат брели вдоль шоссе медленно. Спешить им было некуда.

Солнце падало в распадок, за озером. Дальний берег синел и сливался в черную полосу. Тени вдоль дороги вытянулись и загустели. В тени стало сыро и холодно. Солдаты вышли на середину дороги, но по булыжнику шагалось не ходко. То и дело надо было уступать путь тяжело подпрыгивавшим на камнях КраЗам. Скоро они свернули в сторону и пошли по тропинке к казармам, стоявшим на дальнем мысу. В окнах их барака стекла отражали красный свет заходящего солнца, и казалось – пожар.

Сгорела бы вся эта жизнь, Мызгин, майор и прочая трихомудия, думал про себя Чистяков. Чем ближе к гарнизону подходили они, тем тошнее становилось ему, и колело со спины, под левой лопаткой, при мысли, что придется стоять и отвечать перед начальником штаба, перед командиром роты, давать показания, идти через постыдную процедуру, предшествующую наказанию, а потом опять стылые стены камеры, из которой никогда

не знаешь, как выбраться. Тяготы и лишения солдатского ареста Чистяков переносил просто: лег – свернулся, встал – встряхнулся. Но всему есть пределы. Нахлебался он выше меры. Еще утром предпочитал арест возвращению в роту, а теперь от одной лишь мысли о губе пробирал его мандраж такой, что хотелось убежать, спрятаться, скрыться. Но ничего другого не оставалось. Выхода не светило. А безучастность, с какой тертый калач Богуш и молодой Смахачев относились к судьбе, уготовившей им по три года военной тюрьмы как минимум, и невозможность человеческая для двоих взять да заложить или силой приволоочь третьего, показывать против отпирающегося Юрчелюка скорбную, но спасительную правду, – все это утверждало в Чистякове уверенность, что иначе он не может, иначе нельзя, иначе просто не должно быть.

Размышляя на ходу, он ускорил шаг. Друзья едва поспевали. Шофер Богуш, привыкший передвигаться больше на колесах, чем пешком, не умел ходить лесом. Когда они спустились в ложбину между невысокими сопками, он начал спотыкаться о корни кустов, скользить по сырой земле, и раза два едва не ляпнулся в болотную жижу.

– Не спеши, – взмолился он и положил Чистякову сзади теплую руку на плечо.

– Артюшин-то уедет, – не оборачиваясь буркнул Саня.

– Говна-пирога твой Артюшин. Чему быть, того не миновать.

– Денег бы, – мечтательно задохнулся Ваня, шагавший последним. – С ними и море по колено.

– Поздненько к тебе умные мысли приходят. Раньше надо было смекать.

– С деньгами никогда не поздно, – уверенно сказал молодой. – Откупились бы.

– Пустое городишь, – рыкнул Богуш. – Где взять денег-то? Поздно... И чего ты бежишь! – обозлился он на Чистякова, опять спотыкаясь и падая на кусты.

– Штабной уедет,
– Нам он почто?
– А то, – сказал Чистяков озлобляясь. – Идем.
– Ты вроде конвоир какой, – пожаловался Смехачев. – Ты ведь сдавать нас ведешь.
– Не сдавать, а сдаваться, – с веселой уже злостью отозвался Саня Чистяков и оглянулся.

– Чего-чего?
– Через плечо... Распишем сено на троих. Кто ж не поверит, что я там был?

Солдаты остановились, как вкопанные.

– На троих!

Чистяков смеялся.

– Про тебя-то?.. Поверят, – согласился степенный Ваня. – Про тебя чего хошь поверят.

– А если того, скумекают? – перебил озадаченный Богуш.

– Хуже не будет, – трезво отрезал Чистяков.

– Если папа Мызгин допрет, он тебя с потрохами съест.

– Приятного аппетита, – ухмыльнулся Саня.

– Ух ты, гусь, – толкнул его в плечо Богуш. – Выходит, мы их опять надерем...

У шофера не хватило слов, и Чистяков толкнул его ответно. Они засмеялись и побежали по тропинке к казарме.

– Сойдет, не сойдет, а ежели и разнюхают, то в прокуратуру сдать все равно не успеют, – на бегу рассуждал повеселевший Смехачев, он звонко выкрикивал слова и задыхался. – Спросят их тогда, где же вы раньше были, товарищ капитан? Тянули почему? А?.. Ну, ты и молоток.

– А если разозлим начальство? – сомневался Богуш. – Не дети, небось, в бирюльки играть.

Чистяков помалкивал. Он наддавал и наддавал ходу. Смело бежал впереди, пружинистый московский мальчик, ногами нащупывая тропу, тенью проскальзы-

вая в кустах, не задевая веток, словно родился или вырос в тайге. На лице его плясала усмешечка, не предвещавшая ничего доброго, но привычная, приклеенная к губам со времен того памятного обстрела, так что, казалось, ему и дела нет до слов, которыми обменивались за спиной товарищи, до их радости и опасений, будто все ему нипочем.

Скоро они вынырнули из леса. Пересекли заболоченный луг с некошенной травой. В елочках раздвинули колючую проволоку под слепым прожектором и оказались возле казармы. Но Богуш вдруг свернул с тропы, окликнул их, и они вышли опять к летнему сортиру, где толпились парни, вернувшиеся с аэродромных работ. Смену из тундры еще не привезли.

- Богуш, тебя командир спрашивал.
- Чистяк, ты откуда тут, с губы соскочил?
- Артюшин вас ищет...

После сортира Богуш достал из кармана измятую пачку с последними папиросами и угостил Чистякова и Ваню.

– Надо это дело перекурить, чтобы горячку не пороть, – объявил он.

Они расселись на траве, в сторонке, помолчали. То была нехитрая, но верная наука: в правильный момент перекурить.

Издали солдаты поглядывали в их сторону.

– Устроят тебе темную, – рассмеялся Богуш.

Чистяков прыснул:

– Мне?

– А то что же. Много о себе думаешь.

Он призадумался.

– Люди, они такие. Они чему хошь поверят. На тебе все это юрчелюкство останется, – честно сказал Богуш. – Ответь прямо: на кой хер ты нарываешься? – спросил он, выбрав точный момент, – его тоже надо было понять: не привык шофер выезжать на чужой счет, на халяву. – Или не насиделся?

– Так ведь кому губа, а кому и санаторий, – уклонился Чистяков.

– Против смысла идешь?

– Смысл найдется, если поискать, – взглянул на шофера белыми бесстыдными глазами Чистяков и прищурился. – Опять же: снова живем.

– Скажешь, просто папу Мызгина обдурить охота?

– А чего.

– Рыбка есть такая – «не пизди» называется.

Чистяков докурил и уже встал с травы. В движениях его и в жестах играло нетерпение. Богуш примечал знакомый, в характере друга, мрачный азарт и понимал: теперь москвича не остановишь, повело.

Неторопливо они направились к крыльцу. Они шли сдаваться. Любопытные взгляды сопровождали их от сортира до дверей канцелярии. И никому ничего нельзя было объяснить.

Начальство – Артюшин, капитан Мызгин, лейтенант Горобец и сержанты – собрались в канцелярии роты, когда на пороге появилась троица, имевшая скорее именинный, чем похоронный вид. Они доложились по всем правилам.

– Значит, это самое, – добавил к рапорту Чистяков. – Я был третий.

Иван Данилович, красный, с налившейся кровью головой, откинулся на стуле. В комнате расцвело молчание.

Майор, казалось, не удивился, остался серьезным и сосредоточенным – не подал виду. Но по той поспешности первоклассника, с какой расстегнул он непритязательный школьный портфельчик, было видно, как он рад и как ему стало легко – просто отлегло от сердца. Однако когда он сел писать показания и поднял на Чистякова румяное круглое лицо, брови его сдвинулись, а глаза потемнели от гнева.

– Кашу, выходит, заварил, а сам в кусты. Ты, брат, блудлив, как кошка, да труслив, как заяц, – презрительно выговорил он. – Товарищей чуть не упек... Будь моя власть, я бы тебя одного под трибунал.

Если бы да кабы, про себя бормотал Чистяков, в тот момент похожий на загнанного на дерево кота. Не дал Бог свинье рог...

Вслух он не проронил ни слова, потому как понимал, что теперь ему не сладко, но будет еще плоше. И он старался не думать о том. Есть вещи, о которых до времени думать не следует. Надо упереться и стоять на своем. И не давать воли воображению.

Допрос провели короткий, Артюшин торопился к автобусу. Он опасался, что опоздает. Он задал несколько вопросов и что-то записал в большую клеенчатую тетрадь. Затем майор протянул тетрадь Чистякову:

– Подпиши.

Чистяков видел, как торопится майор, но заставил себя спокойно перечитать написанное. Почерк был разборчивый, ровный. Но солдат вынужден был прочитать дважды. Военный-строитель рядовой Чистяков объявлялся зачинщиком воровского дела, хотя об этом между ними не было сказано ни слова. Светлыми глазами Саня взглянул на штабиста. Артюшин спокойно отвернулся.

– Ознакомились? – переспросил майор официально.

Чистяков презрительно чиркнул на последнем листе закорючку.

– Что это?

– Подпись.

Майор забрал тетрадь и расписался собственноручно пониже: красиво и широко.

– Именем командира части – пятнадцать суток ареста. А этим – каждому по десять, – и он протянул тетрадочку за подписью Богушу и Смехачеву. – По отсидке отправитесь на общие работы в тундру. На всю зиму. Я вас, щенки, научу свободу любить... – он выпрямил-

ся у стола во весь рост и торжествующе застегнул портфель.

Во время допроса папа Мызгин молчал. Ничего, кроме презрения и гнева, не выражало его лицо. Когда майор распрощался и вышел вместе с сержантом Краснощеком, вызвавшимся поднести ему чемоданчик на автобусную станцию, Иван Данилович попросил лейтенанта:

– Горобец, дозвонись коменданту. Пусть три места даст. Прямо сейчас и отправим.

Лейтенант вышел к телефонистам в соседнюю комнату.

– Шевчук! – скомандовал Мызгин второму сержанту. – Машинку!

– Товарищ капитан, – взмолился было Богуш. – Дембель скоро. Ведь не отрастут. Не успеют.

– Дембель? Я те покажу дембель, – угрожающе заревел капитан. – Ты у меня поедешь: последним отпущу, 31-го декабря, после вечерней поверки.

– Все равно. А стричь не имеете...

– Машинку!

– Не положено.

– Раз-зговорч-чики!

– Нарушаете, товарищ капитан, – тихо вмешался Чистяков. – Такие действия квалифицируются как унижение личного достоинства подчиненных. Это злоупотребление властью.

– Что-о-о? – повернулся Мызгин. – Грамотный? Уставы читал? – пропел он и перевел дыхание. – Вот за то и ненавижу, – выговорил капитан отчетливо. – Эти олухи, они просто быдло темное. Сами не ведают, что творят. Втемяшится им, так и убьют, не перекрестятся. Таким законы вбивать в сознание по буквам приходится, чего можно, а чего нельзя... А ты, гад, – умный. Ученый. Все ведь понимаешь. Смекаешь на лету, интеллигент. И творишь. Сознательно дела творишь... В другое

время да за такую сознательность тебя бы в расход... Ненавижу, – уверенно сказал он. – Стричь!

Пока Смехачеву и шоферу кромсали волосы ножницами и тупой ржавой машинкой, Саня стоял у окна и смотрел, как на плацу рота строится на ужин. О том, чтобы им поужинать, никто не вспоминал. Но есть и не хотелось. Не хотелось ничего. Разве что лечь на пол прямо в кацелярии и ничего больше не слышать, не видеть и не знать. Лечь и лежать – пусть поднимают хоть сапогами. Но он стоял у окна и смотрел, как быстро по-осеннему темнеет воздух, и ничего не трогало и не волновало его. Он даже не сочувствовал Богушу, мучительно расстававшемуся с фасонистой дембельской прической. Душа не отзывалась. И когда в канцелярии опять появился Горобец и доложил обстановочку, Саня никак не откликнулся на новость.

– Только два места дает Иващенко, – сказал лейтенант смеясь. – Как услышал про Чистякова, уперся и ни в какую. Везите, говорит, куда хотите, а я с ним по уши нахлебался.

– Достукался, – кивнул Чистякову Мызгин. – Гауптвахта не принимает.

Чистяков опустил голову. Но вид у него был такой, словно с него все, как с гуся вода.

– Поедет в Оленью, – подумав, решил командир роты и кивнул лейтенанту. – Готовь машину.

Горобец с сержантом Шевчуком переглянулись, а Богуш побледнел лицом и забыл о стрижке. Ваня Смехачев разинул рот.

– Может, не стоит, товарищ капитан? Пусть он лучше наш сортир до дна вычерпает, а то там скоро через край... – заикнулся добродушный лейтенант. – С его норовом ему там все кости пересчитают.

– Поедет, – мстительно заключил Мызгин. – Выполняйте.

Лейтенант потоптался в дверях и ушел.

Шевчук молча щелкал машинкой. Больше Иван Данилович не смотрел на Чистякова. Он сидел за столом и заполнял записки об арестовании, уже подписанные Артюшиным от имени командира отряда. Саня тихо дожидался очереди к парикмахеру. И по лицу его было ясно, что не испытывал он ни страха, ни душевной боли, как человек, у которого отбито все.

Гауптвахта в Оленьей была особо известна как заведение для неисправимых, а о режиме тамошнем в Заполярье рассказывали легенды. Арестованные на той образцовой гауптвахте вкалывали по десять, а то и по двенадцать часов. Кто не выполнял норму, того били. Спать разрешали шесть часов, а выходило и меньше, передвигаться только бегом, строиться – бегом. Кто встал последним в строй, того наказывали. В камерах говорить запрещалось, сидели на скамьях молча и прямо, не касаясь стены ни спиной, ни плечом. Иначе били или того хуже – объявляли дополнительные сутки. Так что и выйти оттуда было не просто. А кормили впроголодь, что являлось прямым нарушением армейского порядка. Нерабочее время тратилось на муштру и строевую подготовку. По воскресеньям маршировали до упаду, по четырнадцать часов: два часа строевой, пять минут перерыв – переобуться и отдышаться – и снова. С этим местом было связано много темного, чему не очень-то верилось. Но факт: время от времени арестованные попадали оттуда в госпиталь, а то и в психушку. Были два смертных случая, по недосмотру сердечник отключился, в другой раз самоубийство. Комиссия из округа настоящих причин не раскопала. Да и не хотелось никому докапываться. Все осталось шито-крыто, потому как на губу в Оленью не назначался караул, а сидел там постоянный комендантский взвод при постоянном начальнике, коренастом красавчике-майоре в черной военно-морской форме.

На гауптвахту в Оленью и офицеры боялись попасть, а теперь туда предстояло отправиться Чистякову.

Иван Данилович сам подошел к телефону, когда телефонист дозвонился в Оленегорск и соединил его с дежурным.

– Примут по первому разряду, – сообщил Мызгин с нескрываемой радостью. – Дорогим гостем будешь.

Но Саня не оглянулся на капитана. Он стоял совсем один и очень старался не думать, не думать. Он прилагал все силы, чтобы только не думать. Бывают случаи, когда единственное это средство и остается, если не хочешь сорваться.

Богуш перехватил его взгляд и виновато передернул плечами. Ему хотелось бы уйти от Саниных глаз, но он искал и искал встречи с ними. Остриженный Богуш выглядел смешно. Но никто не смеялся.

Смехачев по-крестьянски простодушно радовался, что беду пронесло и все так нормально завершилось. Чистякова ему было жаль, но да ведь на нем пробы ставить некуда, ему море по колено – не пропадет.

Чистяков вздохнул свободней, когда их достригли и увели. В дверях Богуш безнадежно оглянулся. И напоследок Саня попытался ему подмигнуть – чего же еще, – но не вышло.

Шевчук почистил машинку, стряхнул смехачевские лохмы и пригласил.

– Садись, москвич.

Чистяков сел перед сержантом и аккуратно, как в парикмахерской, заправил вафельное полотенце за воротник гимнастерки.

– Товарищ капитан, – пожаловался Степа Шевчук, – тут у него и стричь нечего.

– Стриги, стриги, – велел Мызгин, не подымая головы.

Степа попробовал. Тупая машинка вырывала короткие клочки волос, царапала макушку. Чистяков морщился и огрызался:

– Полегче, ты.

– Да честное слово, он стриженный, товарищ капитан.

– Вот сучий потрох, – зашипел Чистяков и цыкнул на сержанта: – Да стриги же ты, гуманист.

Шевчук обиделся и насупленно защелкал машинкой.

– Волосы не успевают отрасти, потому что из-под ареста не вылезает, – сказал Иван Данилович и неожиданно посмотрел на Чистякова через стол. – Когда мы в последний раз его сажали?

– И месяца не прошло, – сказал Шевчук. – Вон щетина-то какая короткая.

Капитан поднялся, шагнул к застекленному шкафу с занавеской, извлек журнал происшествий. Он полистал страницы, посмотрел на рядового, опять полистал. Мягко и медленно он сел на стол, положив ногу на ногу, и поглядел на Чистякова в упор. Тот сидел под машинкой ни жив ни мертв.

Просек, собака, – метнулась мысль.

Мызгин разглядывал солдата так, будто физиономия Чистякова была внове ему. Глаза удивленно косили. Он сидел на столе, что никак не вязалось с привычным обликом нескладного командира несчастной роты, и улыбка плутоватая подло шевельнула губы.

– Ах ты, сукин ты сын, – с сердцем выговорил капитан.

Все, – понял Чистяков.

Сержант кончил стрижку и отпустил исцарапанную голову. Он стряхнул колючие обрезки с оттопыренных ушей Чистякова, с шеи.

– Готово, товарищ капитан, – доложил Шевчук.

– Пойди-ка, брат, поторопи Горобца. Где он запропастился, за смертью его посылать. Да скажи, пусть на кухне распорядится, чтобы покормили... этого, – он кивнул на Чистякова.

– Покормили? – недоуменно переспросил Шевчук.

– Ведь каков, сукин сын, – с восхищением выговорил Мызгин и обернулся. – Действуй, действуй, сержант. Не тяни резину.

– Есть! – гаркнул Шевчук и побежал торопить Горобца.

Саня встал с табуретки, отряхнулся, поправил ремень, затянул его, но не застегнул верхнюю пуговицу на воротничке – ни к чему. Лишенный полусантиметрового слоя волос, он чувствовал себя беззащитным. Он стоял перед капитаном, как ощипанный. Он ждал следующих распоряжений, и боялся их, и мечтал лишь о том, чтобы пронесло. Только бы они не прицепились. И поскорей явились бы за ним, сунули вытертую шинель, свежее полотенце и повезли на грузовике через ночную тайгу за сорок километров на таинственную и знаменитую злом оленегорскую гауптвахту, страшную ему. Предпринять он уже ничего не мог. Ничего тут нельзя было поделывать. Чистяков и раньше знал, что бояться бесполезно, но сейчас понял: бояться – опасно.

Он смотрел капитану в глаза так дерзко и прямо, как умел, стараясь забыть, каким жалким и стриженным кажется со стороны. И под напором белых, яростных этих глаз капитан Иван Данилович Мызгин слез со стола. Улыбка упала с остывшего лица. Он помедлил и молча сделал шаг навстречу. Командир роты подошел к Чистякову так близко, как они еще никогда не стояли. Саня почувствовал потноватое бедное тепло, аромат дешевого одеколona и кожаный запах портупей – душу щемящие, из детства знакомые запахи.

А папа Мызгин глянул Чистякову в лоб и, не встретив отталкивающего взгляда вдруг потупившихся глаз, грубо опустил руку на острое под гимнастеркой плечо и, сглотив, выговорил сдавленным голосом, запинаясь, с трудом.

– Ты вот что... Ты того... Прости меня, военный.

«ИЗ МОКРОГО, СИНЕГО СНЕГА...»

* *
*
,

Дворцовый ангел стынет на колонне.
Стекает небо в пасмурные лица.
Огромный крест – застывшей лунной бронзой,
В слезах зелёных – белые ресницы.
В слезах зелёных – столп Александрийский,
И не за что на небе уцепиться...
Сложивший крылья ангел – чёрной птицей,
Обломком бронзы – жест самоубийцы...

* *
*

Сонный город устало и строго
Закрывает пустые глаза.
Я засну. Мне приснится дорога.
Крестный ход. Образа, образа...

Молодой, очень грустный священник
Указал мне рукою: иди...
Как хоругви, пасхальное пенье
Люди в чёрном несут впереди.

Рукопись получена из России.

Всё сливается: пение, ветер...
Нависает слепая беда.
Крестный ход тонкой чёрною плетью
Над порочной страной. Ленинград.

Крестный ход тонкой чёрною плетью
Над порочной страной. Ленинград...

* *
 *

Плывут над городом осенние поверья.
Антенны с крыш сгоняют их со свистом.
Стихи, поёживаясь, прячутся в деревья,
Шуршат листвою, пытаются присниться.

Поверья, ставшие осенними стихами,
Шуршат в листве одеждою промокшей,
Плывут холодными, осенними дождями,
Заглядывают робко в чьи-то окна...

Плывут поверья над языческой страной...

Седые люди, всё забыв на белом свете,
Весь вечер обсуждают зло в природе,
И прокурор, вздохнув, отряхивает пепел
На блюде с недоеденным пирожным.

Выходят женщины из теплоты постелей,
Привычно ищут белые окурки,
И кто-то, сторбившись, читает неумело
Осенние стихи на тесной кухне...

Но неба свиток приоткрыт до середины...

* *
*

Господи...

Ты бьёшься во мне сверкающим,
Холодным гипнозом лиственным.
Внутри меня ускользящий,
Живущий среди бесчисленных,
Знакомых, полурастаявших
Обрывков невнятной истины.
Огромным моим раскаяньем,
Надеждой моей единственной...

Господи...

* *
*

Тресковый Мыс. Стеклянная вода...
Выходят сны из домиков на берег.
И узкие измученные лодки,
Угрюмо жмурясь, греются в песке.
Я всё забыл. Бессонница. Слова.
В начале сказок блеклые деревья.
И женщины, облепленные снами,
Идут неслышно в тёплой белизне.
Стригут туман прозрачными ногами...
Как в старом чёрно-белом кинофильме
В застывшем кадре вспыхивает лента –
Восходит солнце над Тресковым Мысом.
И женщины ведут своих младенцев
Глотать туман у краешка земли.
Идут гуськом, вытягивая шеи...
И грустно смотрят каменные лодки,
Как проплывают белые младенцы
В торжественной рассветной тишине.

В рукоплесканиях голубых деревьев
Восходит солнце над Тресковым Мысом...

* *
*

Лица прохожих,
Обрывки бумаги
Ветер уносит
В улицы-трубы.
Лица похожи
На белые флаги,
Желтую осень,
Синие губы.

* *
*

Отеки лиловых домов,
Тяжелые капельки ртути...
Приблужишься и заглотнет
Лиловая капля. Лишь руки
Мелькнут из квадрата парадной,
Как фокус иллюзиониста:
Трамвай выплывает нарядный,
Как гусеница, шелковистый.
Как гусеница на асфальте,
Облепленный мокрой рекламой, –
Приплыл и запутался в пальцах
Факира из черной парадной...

Из мокрого снега оживает молитва,
Молитва из мокрого, синего снега...

* *
*

Фиолетовых капель точки,
Как глаза, облепили плоть...
Может, именно этой ночью
Мне приснится Господь?

* *
*

Расплавленное солнце
Стекает с узких шпилей
В асфальтовые лужи раскрытых площадей
И застывает блеском
Витрин, автомобилей,
Тяжелой, сонной скукой гуляющих людей.
Расплавленное солнце
На площадях полощется,
Полотнища из солнца на всех домах висят.
Облеплен желтым солнцем,
Слепой идет по площади,
И палка истерично стучится об асфальт.

Разбрызгивая солнце,
Расплавленное солнце...

МАРК Григорий – математик, живет в Ленинграде, много лет находится в отказе. Более об авторе нам ничего не известно.

СЛЕЗА В ДЫМУ

п р и т ч а

с извлечениями из хроник

«Земля наша погибает, а ты нейдешь...»

1

...и опять отуманилось временем, мутным, сивым и нечистым, а в нем бултыхнулась беда – обликом обманчива, именем забывчива, дикостью углядчива, и сунулись из ниоткуда скифы – рожи неумытые, стрелами одождали мир.

«...отсюда начнем и числа положим...»

Скифы – они же ахваты, катиары, траопии и паралаты.

Сколоты и саки – прекраснолошадные хвастуны.

«...Варвария во стране северной, ее же нарицают Скифиею внутреннею, яже суть гофти и давники...»

Массагеты воевали скифов.

Исседоны воевали скифов.

Скифы воевали киммериан, сдирали с них кожу на одежды и пили из их черепов греческие неразбавленные вина – прамнейское, хиосское, фаросское и лесбосское, а из Сиракуз – сладкое, тягучее вино поллий.

А глядели на это аримаспы с севера, одноглазый завистливый народ, смаргивали замедленно, сглатывали затрудненно, набирали пока что силу.

Скифы были белокожи, голубоглазы, краснолицы.

Скифы были толсты, мясисты, вспыльчивы и ленивы.

Волосами жирны, длинны, редки, рыжи.

Одежды носили черные, сражались неуступчиво, пили кровь убитых неприятелей, рабов своих ослепляли – не скажу зачем, а стада перегоняли по степи, как живой запас говядины, чтоб под рукой были.

Варили мясо, пили кумыс, опьянялись пахучими дымами, детей рожали мало и через силу и ели их за провинность – будто бы.

А произошли они от связи Геркулеса с ехидной, три брата: Агатирс, Гелон и Скиф.

Необщительны, свирепы, крепоруки и боеохочи.

Жались к ним изнеженные, женоподобные агатирсы – женщинами пользовались сообща, чтобы вражды не было, обольщались блестящими украшениями; терлись возле них невраы – в урядные дни обращались в волков; и невозможные андрофаги-мужееды – дикостью своей поражали скифов; и меланхлены-чернокафтанники, будины с гелонами – озабочены пропитанием; а тавры промышляли грабежом и войною, пленных греков приносили в жертву деве Орейлохе, и головы их втыкали на шесты над печными трубами, и так жили.

Скифы всем повелевали.

Но пришли ящероглазые сарматы и повоевали скифов.

Сарматы – они же языги и роксоланы.

Белокуры, жестоки, бородаты, войнолюбивы и победоносны.

Жили в войлочных палатках, сыр ели с мясом, поклонялись мечу, огню, приносили в жертву жеребцов, расписывались по телу узорами, в конном строю были неотразимы.

Сарматы – от совокупления скифов с амазонками.

Шлемы и панцири из воловьей кожи.

Щиты – чешуей – из отделанных конских копыт.

Жены у них плели арканы и пользовались ими без промаха: когда на врагов, а когда на мужей – смотря по надобности.

А сидели возле них дикие бастарны: атмоны, сидоны и певцины, – на языгов не лезли.

Но пришли аланы и потоптали сарматов.

Пришли готы и тоже потоптали.

Пришли гунны и потоптали всех.

Хунну-сюнну – на китайской памяти.

У них не было лица, но безобразный кусок мяса, и вместо глаз – пятна.

Страх напал на народы.

От Волги и до Рейна.

Гунны – от совокупления злых волшебниц с нечистыми духами.

Кормились кореньями и полусырым мясом, а мясо согревали под седлом и на стоянках ели, огородившись локтями.

Пешком не ходили – позорно, да и обувь была – не нагуляешься.

В домах не жили: дома – могилы.

Раз надевши платье, не снимали ни при какой надобности, так и упревало в лоскуты.

Жили на лошадях, мелких и кусучих, там же ели, спали, торговали, воевали, делали не скажу чего.

Виловатые да жиловатые, безбородые скопцы, вечные беглецы-кочевники.

У каждого было по много жен, какая ближе, та и жена, – а те жили на телегах, ткали рядно, рожали детей, воевали вместе с мужьями, в кровь били рабов.

Угрюмые, гневные, жадные и безобразные.

Но пришли тут авары-обры, жгучи и воюючи, телом велики да умом горды: как пришли, так и прошли, сгинули все без племени и наследка; за ними козары – широколицая, безресничная толпа; угры-мадьары, черные болгары, утугуры с кутугурами, касоги с ясами – за тем же делом; печенеги – в восемь орд, торки, берендеи, коуи, турпеи, шельбиры, топчаки с ольберами: черные клобуки – свои поганые – только отвернись; да и варяги – нищие бродяги, колбяги с бурягами – не брезговали

страной Гардарнк, забирали кого ни попадя в плен и на продажу: меха, мед, воск и челядь везли в Византию, а оттуда – паволоки, золото, вина-овощи; а половцы шелудивые – бич Божий – отрядами пробирались через степь, сбивали врагов в мяч, как сокол галок, подвывали по-волчьи; – и не окопашься валами, не огородишься острожками, не отобьешься богатырями – людьми Божьими, – вот придут скоро татары, неслыханные безбожники моавитяне, прямым ходом из ада – и утишат всех.

А была то украина мира, очумелая от собственной истории, покинутая богами и законами, «претерпевавшая тесноту в просторе и лишения в довольстве», страна могил и истоков, откуда вытекают могучие реки, и жили там – не позабыть сказать – блаженные гипербореи, без желаний, надежд и упрека.

За желания надо платить...

2

Гридя Гиблый жил на сосне.
Афоня Опухлый жил на сосне.
И Облупа Федор.
И Обрывок Петр.
И Огрызок Осип.
И Озяблый Тимофей – бортник.
И Ослабыш Филя – бобыль.
И Голодуша Иван.
И Двоежильный Яков.
А Масень Афанасий жил на березе.
Всё не как у людей.

Он был востронос, Масень Афанасий, быстроглаз, любопытен и беспокоен, с конопушками на оттопыренных ушах, маловидный – аршин с шапкой, но с березы не сходил и на уговоры не поддавался, а они наседали.

Было лето.

Поспевала ягода-земляница.

Ребятишки рвались вниз, на прогретую, в мурашках, хвою, но ходу им не давали, чтобы натоптано не стало, – и было с чего.

Ну ее к лешему, эту землю, где бьют, режут, отбирают и угоняют и где из тумана болот, как из тумана времен, прет на них в неверных колыханиях напасть за напастью – не переждешь за свой век.

Сидели на текучей воде, рыбы было – не впроед, мяса всякого от скота и от зверины, масла, сыра, бараньего жира, кисели варили из отрубей-пшеницы, ели их с сытою, медом запивали да квасом, – наплыл с верховья, из чужих владений, Апышка Живоглот – зажигатель и моритель – с горлохватами-ушкуйниками, примучил, похватал, подчистил под метло, многих отогнал в полон – ему что?

Ушли в леса, на снег сели, на необжитое место: бортничали, зверя промышляли, лыко драли, мочало трепали, смолу курили, дома домили, лодки рубили на продажу, – насккал к зиме свой князь с дружиной, Иван Юрьевич Хапало Волкохищная Собака, пожег и попленил, землю положил пусту, на завтра себе не оставил – как не свой.

Остаточки забежали к вятичам, со страху в гнилой угол, за трясуну-болота, за тину невылазную, в качкиеводотопные края, понабили полати на верхних ветвях, отгородились сосновым непролазным лапником от нижнего мира, затаились, как умерли, – ну ее!

Уж лучше голодом жить, нужду на кулак мотать, слезой слезу погонять – ну ее к лешему, эту землю, ну ее!

Время было никакое.

Дни как щелчки.

Щелк, щелк – и нету.

Сидели на полатях, глядели на небо, балдели на припеке от смоляного угара: светом крыты да ветром огорожены.

Лес стоял без краев, но селились тесно.

По симпатиям.

Как избы по деревне ставили.

Гридя с Афоней. Облупа с Голодушей. Обрывок с Огрызком. Озяблый, Ослабыш с Двоежилным.

А Масень Афанасий на выселках.

Малёк, коротыш, только из икры вышел, – поближе к тропе.

По ней давно уж никто не ходил, не ездил, не гнал в полон, заросло – не прогребешь, но он терпеливо лежал на полатах, свесив книзу кучерявую голову, в ожидании мимоходного, мимоезжего, всякого, а они запаздывали.

А на березе-то и листья пореже, и на просвет видно, и ушептывает к ночи, и ствол попригляднее – ладонью огладить, а значит, и его можно углядеть снизу, проще простого.

Но вокруг никого не было.

Может, и на свете никого не было.

Всех загубили, на расплод землян не оставили.

Одни, что ли?

Жили. Ловили силками птицу. Собирали ягоду. Кедровую шишку. Орехи. Сушили грибы. Рябину. Клюкву. Черпали воду из болотца. Варили с утайкой на глиняных очагах. Перекидывали мостки и перебирались в гости.

Вот коров только не было.

И лошадей не стало.

И бани с околицей.

А так – ничего.

Терпеть можно...

3

Пришел Гридя Гиблый.

Налегке.

В рубахе с портами. В лапотках-отопочках.

С сосны на сосну. С сосны на сосну. С сосны на березу.

Потайным пролазным ходом.

Как ниоткуда взялся.

Сел на помосте, оглядел с сомнением просвет до земли, вытянул ослабшие ноги.

Тих был и задумчив, светел и покоен, как прощение уже попросил и рубаху надел чистую.

– Масень, – сказал. – У меня дни заходят. Скоро уже.

Масень Афанасий ему не ответил. Лежал на животе, подперев ладонями голову, неотрывно глядел вниз – как через блёстки жира – через щебечущую, пламенем отливающую листву. Был он озабочен, Масень Афанасий, строг и деловит: добрела на глазах ягода, кровью, внабрызг, пятнала траву, лез из земли боровик, дерн приподнимал с натугою, только что не кряхтел, пробегал поутру заяц, погрыз на виду капустки, может, еще пробежит, – за всем надо приглядеть, уяснить, затвердить: того стоило. Ноги у Масеня босые, короткопалые, на подошвах короста.

– Масень, – сказал Гридя и морщины согнал на вялой коже. – Стариком пахну. Другую зиму не пересидеть.

К зиме закрутило, забуранило, ветер-листождёр да метель-поползуха – себя не отгребешь. Сошли вниз, отрыли землянки, испухли, оцынжали и позябли, в тоске передрожали каленую стынь. Снег топили, кору варили, шишки грызли, прокоптились до костей в земляной сыри. Только ребят поубавилось, да стариков не стало, да брехливых старушек, и Сермяга померз с Сиднем, Рванина с Раззеваккой, Иван Пыпа да Иван Пшенка, а Артемия Жижу волки задрали, Тюрю Яков на суку задавился, Перетерпиха без вести сгинул, Ослабыш Филя, блаженный, умом поперхнулся, – а так ничего, грех жаловаться: целые целы, мертвым покой. Как потекли ручьи да замолодело солнце, завалили землян-

ки, полезли опять на полати – обсыхать на ветерке. Всяк на своей сосне, а Масень – на березе.

– Давай я тебе лапти сплету, – вызвался Гридя. – Дубовики. Со скрипом.

– Чтоб тебе хрустнуло! – сурово сказал Масень, и шурунуло испуганно, как прошмыгнуло, на верхних полатах, осыпало мелкой трухой. Там, наверху, сидела жена Масеня, робкая и безответная баба-богатырь, не унывала здоровьем. Это она в бедовую минуту выхватила Масеня из горящей избы, на закукорках уволокла от полона, сидела потом ночами, дула ему на волдыри, остужала боль. Выправился – загнал на полати, чтоб затаилась, себя не казала, вниз спускалась – по крайней нужде. Тут только не пригляди – порчу наведут, в полон уволокут, князьи слуги попользуются, люди поганистые. Была она у него здоровая, сильная, выгуль баба, а боялась его до корчей: наскочит – затопчет. Масень Афанасий, хоть и мелок, характер имел тугой и несговорчивый, жене воли не давал, и так оно шло. Он к ней подошел на игрищах, глянул снизу вверх, велел сурово: «Пошли!» Она и пошла. «Сиди!» – она и сидит. «Жди!» – она и ждет, пока догадается, принесет пожевать. А он и приносит-то – кой-когда, одному на полизушки. Он такой, он суровый, – а как с ими еще?

– Масень, – сказал Гридя. – Кости можжит. Ломота полуношная. К чему бы это?

– Ты чего пришел? – рассердился Масень, и брови набухли. – Болтушки со мной болтать?

– Не знаю. Непокойно мне. Можно – погляжу с тобой?

Лег рядом. Голову книзу свесил.

– А увидят? – сказал.

Сам себе и ответил:

– Ну и увидят.

Сердиться на Гридю – без толку.

Кричать. Ногой топтать.

Гридя с ребячества был тих характером – трава травой. Не крикнет, не заругает, кулаком не загрозит, а теперь, с зимы, и совсем поутих. Гридя Гиблый смолоду пахнул стариком. Жить Гриде не полагалось нисколько, но он жил.

– Как же оно так? – сказал. – Места у нас много, хоть волков гоняй, а прижиться негде.

Ветерок поддул посильнее, листву опушил вокруг, как подтвердил сказанное. Просторы просветились по бокам, макушки хвойные – до беспредельности, а жить, и правда, негде.

Как же оно так?..

4

Полежал, поглядел завистливо, повозился, примериваясь:

– Вот бы полетать...

– Полетай, – разрешил Масень. – Чего там.

– Ну уж. Куда нам...

И загрустил всласть.

Дети у Гриди не вязались – не с того ли?

Жизнь у Гриди не ладилась: куда нам.

Скот у Гриди не жил.

Куры дохли. Овцы падали. Просо не вызревало. Одежка по живому лезла. Обувка горела. Три пожара перетерпел, два мора, засухи с недородами да грабежи с разбоем.

Одно слово – Гиблый.

– Масень, – сказал с опаской. – Кости можжит. К беде. Как в тот раз.

Масень шелохнулся на полатах, капризно ногой дрыгнул.

Вылезла из норы мышь, носом задергала беспокойно. Понизу, петляя, прострекотала на лету сорока. В

переплетении корней блеснула змейка. Шевеление прошло тихое, как трава перешепнулась.

– Нету никого, – сказал Масень. – Я бы углядел.

Гридя сразу успокоился.

Для Гриди главное, чтобы за него решили, сказали, припечатали.

А он будет так жить.

Перевалился на спину, пощурился на голубизну, сказал – лишь бы сказать:

– Глядишь?

– Гляжу.

– А чего видишь?

– Всякое.

– А на кой?

– Не увижу, так и знать не буду.

Говорил, как без топора колол.

– И верно, – подивился Гридя и снова перевалился на живот.

Была у него жена, скороногая, хлесткая на руку: при такой при жене ничего можно не делать, только брюхо разглаживать. День целый шастала по кустам и по травам, лазила, подоткнув подол, на деревья, гнезда у птиц оббирала, беличьи дупла разоряла, гриб собирала с ягодой – Гриде на прокорм. С этого, конечно, не ожиреешь, бока не полопаются, сало за ухо не зайдет, но в одиночку Гридя давно бы уж сгинул: коряв и нерасторопен.

– Масень, – сказал Гридя. – Ты чего живешь?

– А чего не жить? – ответил Масень и глазом нацелился под куст, где назревало интересное. – Нету человека хорошего, чтобы в компании умереть, вот и живу.

– Давай со мною, – сказал Гридя.

– С тобой – долго. А мне – чтобы зараз.

Тот и не понял.

– Ладно, – сказал. – Не померли – и хорошо. И на том спасибо.

И снова перевалился на спину.

– Тепло. Некомарно. Афоней пованивает. Чего еще?

– А ничего, – сказал Афоня из укрытия. – Тут он я. Давно уж.

И показал себя.

5

Афоня Опухлый не мог без Гриди.

Афоня по Гриде скучал.

Глазаст. В рожу рус. Языком момотлив. Лысоватый и улыбочивый, в кучерявой бороде, что перепуталась с усами и перекрыла рот: чего говорит – понять трудно.

Гридя его понимал.

Гридя его выслушивал.

Афоня за Гридей – бычком на веревочке.

Душой к нему припадает.

– Лезь сюда.

– А можно?

– А нельзя, – сказал Масень.

Вылез на полати, сел в уголке, ноги поджал, чтобы места не занимать, и заулыбался по сторонам, головой закивал радостно – с чего бы?

– Полати не тряси, – велел Масень, не оборачиваясь. – В лоб тебе шишка!

Тот и затих, как не было, только пованивало вокруг ощутимо, выдавая его наличие.

Афоня Опухлый вечно чего-то трет, мешает, толчет, взбалтывает, испробует на Гриде свои составы, а тот – без отказа.

Желчь козью замешай с брагой, подбавь масла деревянного и мажь, где клопы.

Капустного кочня изгрызи середку – от икания.

Смешай пеплу из печи с вепревой мочою, скатай катышки, положи на пуп – от живота.

Серу залей молоком от сосца матери – младенцу на прокаженное место, и тем очистится.

Семя кубебево – от сырости в носу. Лилеево масло – от запаления суставов. Девесильный корешок – от трясухи. Трава дивика – голова больна. Полынь – глисты морит. Трава горичка – от ядовитой гадины. Мазь делентей – от сучьей титьки под мышкой. Корень диктам – ко всему полезен.

Но главное – это секрет Афонин, одному Гриде известный.

Афоня ищет состав, чтобы человеку добру быть.

Помажь его, дай глотнуть – и побреет.

Пробовал уже не раз, на жене и на Гриде, но результатов особых не имел: жена у него – изъедуха, ведьма чалоглазая, ее в чан с составом окунуть – и то мало, а на Гриде действие незаметно, Гридя и так добрый.

Он торопился, Афоня Опухлый, и были на то причины – не вам объяснять.

Жили они, как под топором, а согласия у соседей не было.

Согласия нигде не было.

Облупа не терпел Гридю.

Озяблый – Голодушу.

Голодуша – Афоню.

Якуша Двоежильного, добытчика, не любили гуртом: уж больно запаслив.

А Обрывок с Огрызком, тати коневые, на полатах сидели спина к спине, как ножа остерегались.

Время подошло такое – всяк по себе.

Дует в свой нос.

Взмялась земля, разодралась, сеялась и росла усобицами, изверился, издвоился народ, злобой вскипал без причины – печаль, беда на всех!

Это на их уже, на деревенской памяти сосед Базло порезал соседа Баклагу, Сажан Иван пожег Вихляя, Михай Пыхач голову проломил Тюше, Дерюжка с Дешовкой жито потравили у Тепляка, Мокропола Се-

мена лесинной придавили – и не дознались кто, а Пурдыло Василий, зверояднй Сатанаил, беззаконник от племени смердьего, творил норовы поганские, страх наводил на окружье, своих загубил без счету, первую встречу не пропускал, хоть и взять нечего – убивал для почину, – самое оно время опробовать состав.

Смолы черной, сала гусяного, меду столового, крови беличьей, болотной травы доспелок с калом коровым, много другого вонючепольного, незамедлительно к доброте склоняющего.

Намешать побольше.

Обмазать каждого.

Самое оно подошло время...

6

Налетела с гудением пчела, покрутилась, примериваясь, примостилась у Масея на пятке, поползла кругами.

Выпорхнул из чащи дятел-долдон, сел с налету на пень, запестрел, замолотил, замелькал красным затылком: теперь хоть рой пчелиный по нему ползай – Масеню не до того.

– Афоня, – позвал Гридя с жалостью. – Кости можжит. Дал бы чего.

Тот закивал безостановочно, полез побыстрее за пазуху, вытащил оттуда узелок тряпичный, тыкал в него пальцем, улыбался, десны показывал голые. Через тряпицу проступало жирное, жидкое, дегтярное, густо обванивало вокруг.

– Ладно уж, – сказал Гридя без охоты. – Чего там.

Но тот всё кивал да кивал, да задом тёрся по бревнам, подбираясь поближе, пока не уткнулся в Гридю, бородой сунулся к уху, зашепелявил, глазом закосил на Масеня.

– Не, – сказал Гридя с опаской. – Лучше на мне.

Тот опять зашепелявил, скоро и безостановочно, показывал на узелок, бил себя в грудь, не иначе, уговаривал.

– Разве что... – с сомнением сказал Гридя.

А Афоня уже развязал узелок, почерпнул пальцем жидкую кашу, легонько мазнул Масеньку по подошве, и пчела с пятки отпала в беспамятстве, нюхнув верного состава.

Дятел внизу колотил безостановочно.

Масенька глядел на него заворуженно.

Гридя с Афоней глядели на Масеньку.

Ждали результатов.

– Да у него кора выросла на подошве, – сказал Гридя не скоро. – Подбавь чуть.

Тот подбавил.

И опять они глядели на Масеньку, а Масенька глядел на дятла, а дятел долбил себе и долбил, как с отчаяния, и никуда не глядел.

– Ну что? – сказал Гридя. – Может, проняло?

И чихнул оглушительно.

– Чтоб вам! – раскричался Масенька. – Ходят тут! Дятлов пугают! Глядеть не дают! Всякие!

– Сердится, – вздохнул Гридя. – Значит, не проняло.

А Афоня тянул руки, тряс узелком, торопился выговорить, пока не погнало, а шло к этому.

– Чего он? – спросил Масенька отрывисто. – Говори давай.

– Попробовать, – объяснил Гридя. – Пока не поздно. Верное у него средство.

– От чего это?

– От зла.

Масенька Афанасий долго глядел на Афоню, потом на тряпицу в его руках, потом спросил коротко:

– И помогает?

На это они не ответили.

– Понятно, – сказал Масень и снова повалился на живот.

Голова свесилась книзу.

Пятки торчали на виду.

Афоня теребил узелок.

– Серы, – бормотал. – Дегтю подбавить... Травы калган... Принимать утром, на тощее сердце...

Была у Афони жена, женщина самостоятельная, что в лучшие времена промышляла по избам, накидывала гретые горшки на пузо, в срок помогала опростаться, пупки всей деревне завязывала. Жили они в Талице, на припеке-сытости, пашенные мужики старались без передыху, бабы вынашивали за свой век по семь, по десять брюх, плодливые и скорородные, – кончились заработки. Одних Бог прибрал, у других не проклёвывалось, третьи утихали на корню – вялопротекающий конец мира.

Тут Масень крутнулся вдруг на пупе, рукой ухватился за пятку, вскрикнул коротко.

– Проняло, – сказал Гридя.

– Ну уж, – сказал Афоня.

– Пчела, – сказал Масень и затоптал ногой.

Шагнул на полати Тимофей-бортник, высок и широк, – бревна под ногой хрупнули.

– Масень, – сказал сразу. – Помета. На ольхе вилловатой. Кто-то прошел.

– Врешь, – без звука сказал Масень и опал с лица.

И кукушка в ответ – как дожидалась – закричала издалека, глухо и безостановочно, накликаая жизнь вечную...

7

«...Бог ожидает трудов твоих, а ты много медлишь...»

И послушался Треня Синицын, и оставил дом свой, и мать свою, и хозяйство, и пошел в место горнее, от лю-

дей удаленное, черными лесами окруженное, и поставил себе избенку-дымушку, и там жил.

А был Треня Сеницын роста немалого, лицом сух, взором ясным и веселым, сам по себе молчун, а когда говорил – слушали.

А злодей Хрипун – Бородатый Дурак, немилостивый на кровопролития, разгорелся яростью на его укеры, брови воздвигнул гневом, велел бить Треню Сеницына и драть ему бороду, и собакам скормил.

Каялся потом Бородатый Дурак, церковь велел срубить в замоление грехов, преудивленную и преукрашенную, свечечкой в небо, но пошел на него Торопыня – Дубовый Нос, знаменитый подвигами славными, но бесполезными, в пепел пожег церковь, в пламени вознес на небо, следа по ней не оставил, а Треню Сеницына – за его укоризны – велел бить кнутом и спускным медведем травить.

Каялся потом Дубовый Нос, чернецов, насытившихся сладости книжной, повнез из Киева, монастырь отстроил на горе – грех отмаливать, а враг его Заломай – Неблагословенный Свистун, неустойчивый в крестном целовании, сотворил пакость великую, навел на землю поганых, взял монастырь изъездом, пограбил и пожег, чернецов посек саблями, а Трене Сеницыну, обличителю, язык велел рвать и батогами бить.

Каялся потом Неблагословенный Свистун, мастеров привел от греков, искушенных в каменносечной хитрости, храм поставил – на загляденье, чуден высотой и красотою и светлостью, а Погоняло – Гнус Долгоногий от несытства своего повоевал и пожег землю, взял копьем город, разметал храм-загляденье, пометал попов в подземелье, руки приковав к шее, там они и задохлись, – а Треню Сеницына, за его молчаливые укоризны, велел бить дубьем и глаза долбил.

Каялся потом Гнус Долгоногий, в умаление грехов упокоить решил землю, и одарил врага своего соболями, горностаями, черными куницами, песцами, белыми

волками да рыбьим зубом, и, пообедав весело, с честью пошел по домам, – но прибежал к нему ночью Ратишка с переветом, шепнул на ухо: «Ты ему добра хотел, а он головы твоей ловит», – и заратился Гнус Долгоногий, выступил спешно, потоптал, порубил, взял шесть сёл да седьмой город, положил землю пусту, а Трене Синицыну, что в немоте-слепоте грозил только пальцем, руку велел рубить и конем топтать, лаял блядиным сыном и выблядком – и снова покаялся.

А весна красовалась, оживляя земное естество; ветры, тихо вея, подавали плодам обилие; и земля, семена питая, зеленую траву рождала и цветы благоуханные приносила; – а Треня Синицын, битый, за бороду драный, собакам скормленный, медведем травленный, конем топтанный, немой, однорукий и безглазый, пошел от людей в места лесные и студеные, где от океан-морья хлеб от морозов позябает, поставил себе шалаш из лапника, укорял – только голову качал, и так жил...

8

...а кукушка кричала глухо и отмеренно, и они слушали.

Михалка.

Ширшик.

Ларя со Стеней.

Да Алёна Мешочек.

Слабые. Пуганые. Задавленные. С тонкими руками. С синевой под глазами. С опущенными углами губ. Не по годам мелкие, с кожей одряблой, как усыхали под ней от рождения.

Михалка – неугомон, когда сытый.

Ширшик – скулёныш.

Ларя со Стеней – неразлучники.

А Алёна Мешочек – бережливая скопидомница – складывала в берестяную котомочку что попадетсЯ, открывать никому не давала.

Шестым был Ослабыш Филя.

Бобыль.

Так они и сидели тесным кружком на его полатях, дожидаясь еды, в самой лесной глухомани, на сосне-великанше, отделенные от опасного мира буйным лапником, будто разговаривали молчком, – со стороны и не слышно.

А то вдруг поулыбаются за компанию, как посреди разговора.

А то вдруг похмурятся.

И опять молчат.

Ждут еды.

В углу, в загончике, дремал кабаненок.

Его подобрал в лесу Якуш Двоежильный, принес – ребятишкам скормить, но Филя не дал. Забурлил, затуркался, запузырил слюной, телом прикрыл младенца.

Кормили его, гладили, давали воды, принимали в свои разговоры.

Может, и он улыбался за компанию – кто знает?

А кукушка всё кричала и кричала, как остановиться позабыла, а они слушали.

И Ослабыш-бобыль тоже...

На ночь ребят разбирали по домам.

По домам – по полатям.

Ларю уносил Голодуша.

Ларя был самый дохлый из всех. Мало говорил, мало плакал, глядел тускло и невнимательно, без нужды не шевелился – сил не было. Ларя по случаю дотянул до весны, пережив собственных братьев, и теперь тянул дальше. Лет ему было пять, но выглядел он на все три.

Стеню уводил Якуш.

Стеня был поживее, посочнее, попригляднее прочих. Ходил вприпрыжку, глядел с пониманием, руки тянул с радостью. Был он поздний в семье, вымолен-

ный, других Бог не дал, и отец с матерью силы клали без счету на достаточное ему пропитание, руками ограждали пуганно – лепесток на ветру. Зимой, в стылой землянке, приматывали его к телу, и так жили: не дали померзнуть. На ночь укладывали посередке, обхватывались руками: уберегли Стеню до тепла, – одна им радость.

Михалку, Ширшика и Алёну Мешочек угонял Облупа.

У Облупы – дети-погодки, как ступенечки. У Облупы – вечный лепетунчик в доме. Одного Бог приберет – двое на свет лезут. Двоих приберет – пятеро. Когда-то их было много, мень-меньшего, киш кишел в доме, без заботы-присмотра – на печи дойдут, – осталось с зимы троє. Михалка, может, и выживет, Алёнка-скопидомница вытянет, а Ширшику в года не войти – вряд ли.

К ночи ребят уводили, и Ослабыш оставался один.

Как кочка в поле.

Матери он не помнил, отца не знал, жены не имел: плач без надежды, грусть без отрады, печаль без утехи.

Век был такой: в огне горели и в слезах тонули. Не доживали люди до возраста, детей поднять не успевали, оставляли за собой сирот – доля горькая, а жен – по недостатку народа, по всеобщей раскиданности и по лютости мужиков – добывали с трудом и не всякий. Ты ее выгляди сперва, выбери, умыкни – кому это под силу? Сначала он еще пытался обзавестись семьей, Ослабыш Филя, потом вспоминал изредка, а там и думать забросил.

Одному – легче.

Высок. Сутол. Глаза синие. Бороденка – никуда. В несменяемой рубахе-перемывах и драных портах.

Вот только ночами не спал, ворочался на голых бревнах – тьма-тьмучая кругом, дрожал за свой выводок – до вставальной поры.

За Михалку с Ширшиком.

За Алёну со Стеней.

За Ларю – отдельно.

Утром их приводили опять, давали Филе поесть, только бы на землю не пускал – боязно, а он их по головам оглаживал, как пересчитывал, в кружок подпихивал – насадкой разве что не кудахтал.

Забегит днем Облупа – своих оглядит.

Забегит Якуш – ягод принесет.

Забегит Голодуша – Ларю проведать.

Забегут мамки.

А так тихо.

Шишки перебирали, кабанчика гладили, смолку жевали, молчали, думали, а то вдруг засмеются в кулачок, а то – отуманятся.

И Филя – за компанию.

Брал нож, вырезал из сучка корову, коня, зайца с лисой, а они глядели. Похожего было мало, но угадать можно. Корову – по рогам. Зайца – по ушам. Лису – по хвосту. Коня – по гриве. Первой подбиралась к игрушке Алёна-скопидомница, цапала ее без отдачи, торопливо упрятывала в котомку, и Филя вырезал новую.

Порой – безо всякой причины – соскакивал Филя с зарубки, задирает голову к небу, кричал тихим нестойким криком: «Боженька мой! Боженька добрый! Боженька мой! Боженька мирный! Боженька мой! Боженька ласковый!..» – а они глядели на него, слушали, и Ширшик подскуливал за компанию.

Филя у них большой.

С Филей всё ясно.

Филя – известное дело – умом с зимы поперхнулся...

Кукушка накричалась вдосталь, каждому – на много жизней вперед, и отпала, как подавилась.

А они всё равно слушали.

Михалка – с интересом.

Алёна – с корыстью.

Ларя со Стеней – невнимательно.

Ширшик и Филя – беспокойно.

Погуживал ветер, подрагивали полаты, сосны раскланивались степенно встрепанными макушками, а у них, в затишке, как в шалаше со стенами-лапником, сухо, прогрето, тенисто, доверху залито смоляным жаром.

Филя Ослабыш отложил нож, запрокинул голову, набычил шею, заголосил без звука:

– Боженька мой! Боженька родный! Боженька мой! Боженька славный!..

И Ширшик заскулил следом.

Порой, посреди бела дня, всюю възыгрывал ветер, ходенем ходили сосны, отмахивались ветви, открывался прогал до земли, бревна подскакивали и уходили из-под ног, и Ширшик тогда скулил, Ларя обмирал, Алёна цеплялась за котомку, Михалка со Стеней белели от дурноты, а Филя Ослабыш потел от испуга, крупной исходил дрожью, шептал без перерыва непослушными губами, но голову не задирал и к Богу не обращался, – стихию не перекричишь.

На этот раз ветра не было, и Филя накричался всласть, не хуже кукушки.

Та накликивала годы, этот – вымаливал.

Замолк, передохнул, но ножа уже не нашел.

Пошарил вокруг себя, сказал покорно:

– Зайца... Вырезать...

Алёна глядела мимо него – сурово и неподступно.

– Отдай, – сказал Михалка без надежды. – Я видел.

Она не шевельнулась.

Сидела вечно по правую руку от Фили, спихивала и оттирала всякого: так оно прибыльней.

С правой его руки перепадало одной ей, и котомочка давно уж перегрузилась, распузатилась, хорошо

бы сплести новую, самое время, – а старую куда девать? В дупло не засунешь, на полатях не спрячешь, с собой не потаскаешь. Вот бы еще кабанчика запихнуть в котомку, да места нету, и верещать станет, и помнет, чего доброго, ее богатства, загадит и пожрёт.

Кабанчика надо в отдельную котомку.

И кукушку.

И Филю – не помешает.

А вам – шиш...

– Отдавай, – велел Михалка.

– Не брала я! – сразу в крик. – Не было никакого ножа! На низ упало!

– Упало, – повторил Филя по всегдашней своей привычке. – Сейчас тут было.

– Было, – повторила Алёна. – А нету.

– Нету, – повторил Михалка. – Отдавай давай.

– Отдавай, – повторил Филя. – Она, может, не брала.

Это была его ненормальность – повторять за другими последние их слова. Его привязчивая привычка. А от него уж они заразились, тоже повторяли при случае.

– Отдавай, – сказал Ширшик. – Я тоже видел.

– Видел, – сказала Алёна. – Я не брала.

– Не брала, – сказал рассудительный Стеня. – А он резать не станет. Зайцев не будет. Коров с собаками. Тебе хуже.

Алёна лоб нахмурила.

Засоображала лихорадочно.

Отдавать – потеря, и не отдавать – потеря.

Зайцев не будет с коровами, коней с петухами, сухой смоляной стружки из-под ножа, Филиного старательного сопения, – как-никак жалко.

Думала. Морщила нос. Шурила несытые глаза. Губы шершавые облизывала. Колупала болячку на ноге.

– Нету у меня, – сказала. – Пошли вы все. Лешии красноплешие.

И прихватила покрепче котомочку.

10

И тогда заскулил Ширшик.

Очень чувствительный на обиды.

Претерпевший в своем щенячестве полную пригоршню бедствий, отпущенных на весь его срок, – дальше можно не жить.

Мир подступал и обижал без передыху, а он только скулил.

Обижали его лесные пространства, бесовое уголье, дром-бурелом, завалы с валежником, сушь с хворостом, вечные сумерки вековой чащи, – зайди – не выберешься.

Обижала провальная яма под елями, у зыбучего болота, где клубились белые, толстые полозы, – попадись – засосут.

Обижали оплети – однорукие, одноглазые, одноногие получеловеки, что жили в дуплице за сосняком, ночами приходили в гости и трогали пуховой ладошкой, – пока без надобности.

Обижал леший-болотяник, что чмокал в бездонной топи, завивал окна-прогалины, забивал кустом, моховиной с кочкарником, чтобы пуще болотело вокруг, травянело и глохло, – ступишь – сгинешь.

Обижали карлики-людки, что попискивали, качаясь, на ветках, перелетали на кожистых крыльях, дрались порой, голили зубы, не поделив вкусного Ширшика, – а он слабел от ожиданий.

Обижали люди незнакомые, которые не знали его, Ширшика, но подбирались безостановочно к отцу с мамкой, к нему с Михалкой, к Алёне Мешочек, чтобы расточить по пологам, – век не увидишь.

Обижала еда случайная, животу нестерпимая, в краю великого изобилия, земли, воды и леса, хоть он и не понимал этого, – взрослые, и те не понимают.

Обижала Алёна-настырница.

Обижали все.

Даже ночью, во сне, повизгивал от обиды собачонкой, сучил непослушными ногами, бежал за братом своим Тормошкой, которого уносили без возврата, проваливался в сыпучую белизну, промерзал и леденел, а на ресницах слезы вскипали инеем и не давали разглядеть напоследок.

Они были близнецы, Ширшик с Тормошкой, неразлучные соутробники, как повязанные в жизни одной пуповиной, и Тормошка приваливался к нему под бочок в мёрзлой земляночной мзге, дышал жарко на ухо, глаза кругло тарасил, чтобы нашептать, ошеломить, наполнить счастливым ужасом, выдохнуть под конец победное: «Вот так-то! Вот такушки!»

На пару подобраться к радуге-веселухе, когда она потянет утопленника на небо, из воды прямо в рай, с разбега окунуться в разноцветье, вознестись с визгом за компанию – вот так-то.

Сесть в лесу на пенек, сказать громко «ох», и когда придет на зов дедушка лесовик, попросить чего хошь, сколько хошь, без отдачи, – он принесет, он нелюдь, он добрый.

Ухватить в силок орла с соколом, взнудать, оседлать, унести стрелой за болота-бездонницы, где сытно и тепло, светло и нестрашно, – там и поедим от пуза, молока с хлебом: ешь и больше хочется.

Уйти затепло через лес, за реки глубокие, за грязи черные, за болота зыбучие, где поле, солнце, светел месяц, частые звезды и полетные облака, – своих взять с собою, а чужих не надо: вот так-то.

А он всё шептал и шептал под конец, и жаром дышал нестерпимым, обмирал и снова хватал за руки,

чтобы бежать – не стоять, его не бросать, забот больше не знать...

Весной пришли к нему на могилу, а Тормошку водой полой смыло, с пластом глины усосало в трясину – вот такушки!

И Ширшик заскулил от переживаний...

(Окончание в следующем номере)

Журнал «БЪДУЩЕ»

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

ВОСХОД КРОВАВЫЙ И ЗАКАТ КРОВАВЫЙ

Венок сонетов

Публикация Э. Штейна

ИЗ ПИСЬМА АНАТОЛИЯ РАДЫГИНА:

Когда я появился в мордовском лагере – это было маленьким событием: несколько лет не приходили на «семерку» литераторы, хоть как-то «приближенные» к официальной печати.

Собралось все пишущее шобло. Валька Соколов «ЗэКа» посмеивался и не вмешивался, зато литшестерки неистовствовали. Мне предстояло отвечать за все грехи грибачевых и шкловских, хотя я любил этих «совгренадеров», может быть, еще меньше, чем эти копченые арестанты...

Было приготовлено неслыханно богатое угощение, и для меня-то на втором году не понять было, что такое *целый флакон* тройного одеколона на восьмерых! Но задача была одна: показать «офицпису» его настоящее место...

Когда я прочел свои «официальные» стихи и тайные «анти», все радостно заулыбались. Что бы ни было в этих стихах, но они были написаны в рифму.

Снисходительно улыбаясь, Скуинекс, Литвин (это действительные поэты) и бодрая толпа претендентов на это звание пояснили мне, насколько смешно и примитивно *в наше* время писать в рифму и соблюдать какой-либо ритмический канон... Писать в рифму это *в наше*

время было – почти что служить в ЧеКа... А в ритмических метрах, так вообще...

Я осатанел. Всей шкурой я понял, что не этим ребятам учить меня и поэтическому ремеслу, и не им, хоть и старым зэкам, учить меня ненависти.

Я сказал, что прежде, чем позволять (а я бы позволил!) любую степень абстракции и авангардизма и полного абсурда, я бы принимал у этих брезгливых гениев элементарный экзамен по элементарному рисунку или «по Кошанскому»: «Опишите-ка мне, господа, розу стихами!» – и если эти новые пикассы, дельвиги и пушкины с такой азбукой справятся – имеют право выворачивать пространство и время как им угодно, но не раньше, потому что иначе их «вдохновенный поиск» отдает шарлатанством и самозванством! Это, естественно, вызвало яростную реакцию: предшественники из официальной поэзии в лагере вели себя скромнее и покорнее! А я взорвался: я вот возьму самую жесткую форму, самую средневековую, и докажу, что рифмованная поэзия не исчерпана. За верлибр и белый стих так легко прятаться бездарям, шарлатанам, и что я согласился бы поверить в гениальность любого выебона, если человек умеет описать розу стихами... как в лице...

А как раз меня сейчас же за непослушание родителей упекли в кондей, то времени у меня для доказательств было достаточно: время было, бумаги не было. Был обломок грифеля в складке бушлата и узкая полоска бумаги – поле от газеты «Известия». Отмечая только первые буквы магистраля, я сочинил весь венок «Восход кровавый»... Поморщились, но крыть было нечем... А темы просились и потом пошли: «Вскипает плазма...» или «Женщине, отставшей в пути...». Тогда, в самом начале, тема покаяния и тема восстания еще жили в моих фантазиях. Потом появилось «Пылают...», когда я еще мечтал на военное возмездие по нашим грехам... Потом, после многолетнего перерыва, под влиянием Наташи Горбаневской, в одну ночь в больнице

Владимирской тюрьмы (Ронкин и Тереля могут подтвердить!) появилось «Наташенька, Наталья, Натали...». Именно Наташа охарактеризовала жанр как графоманский... и именно в ответ на эти стихи... Ну, что же, может быть, забота о чистоте литературных риз превышает личной и чисто бабьей реакции на поклонение и честь... Не знаю, права ли она, во всяком случае с тех пор я стихов вообще не пишу.

* *
*

Восход кровавый и закат кровавый.
Печаль темна и ненависть остра.
И жалкой стала за колючкой ржавой
Шекспировских трагедий мишура.

Борьбы и ясновиденья пора.
Кто станет нас венчать посмертной славой?
Быть может, кто-то праведный и правый,
А может быть, могильные ветра.

Попробуйте согнуть дамасский нож,
Скорее поломаешь, чем согнешь.

Случайным здесь и слабым не видна
Безмолвна и оправданно-жестока
Без договора, отдыха и срока
Идет непримиримая война.

I

Восход кровавый и закат кровавый.
Рабы, как двадцать пять веков подряд,
Самообмана сладкою отравой
Бесславное отчаянье поят.

Пустых надежд венецианский яд,
Слепая вера в чей-то суд неправый
И призрачные милости стоят
На вышках страха, над ордой безглавой.

Сомненья идол, робости конвой
За каждым встал, как личный часовой:
Чуть скроется – и снова за плечами,
И спит с тобой, и бдит с тобой с утра.

И длинными холодными ночами
Печаль темна и ненависть остра.

II

Печаль темна и ненависть остра,
И горечь с горем ходят горькой парой,
И древесины горькая кора,
И горький пот под горький хлеб приправой.

И горечь здесь махорочно-стара,
И горько травит горькою отравой
И горький быт, и горький дым костра,
И горький кофе в горькой кружке ржавой.

И чья-то воля схвачена свинцом,
Терновым мученическим венцом,
Магической железною оправой,

Готовая под пулю и под плеть,
Гореть устала и устала тлеть
И жалкой стала за колючкой ржавой.

III

И жалкой стала за колючкой ржавой
Страстишек обывательских игра.
Незыблемый, привычный, величавый
Поник престиж волшебников пера.

Солдат, принявший шрамы под Варшавой,
Титан, проникший в таинства ядра,
Герои, гуманисты, мастера
Раздавлены могучею державой.

Десятый круг, одиннадцатый круг...
И кисть, и перья выпали б из рук!

Над умной книгой прячешь горький смех ты
И как нас волновать могли вчера
Маньяки Цвейга, истерички Брехта,
Шекспировских трагедий мишура!

IV

Шекспировских трагедий мишура.
На жизнь и кровь с тех пор упали цены.
Расчерчены пределы нашей сцены
На острые обстрелов сектора.

Бунтарский отблеск злого топора
И лязг затворов караульной смены.
Здесь трагики устали без подмены
И режиссер не ждет от них добра.

Здесь, потрясая искренней игрою,
Разыгрывают новые герои
Смертельных интермедий номера.

И к нам пришла в мордовские болота
Познания, прозрения, полета,
Борьбы и ясновиденья пора.

V

Борьбы и ясновиденья пора.
Но в тайном микрокосме есть планета.
Ее орбита то в тепле сонета,
То в каторжной чугунности ядра.

Сотворена из нашего ребра,
Из тайны снов, из свежести и света
Приходит вдруг, как странная гора,
Опередив сомненья Магомета.

Приходит Ярославной и Любовой
Сюда, где целомудрие черно.

И мне тогда, признаться, все равно,
Кто нас предаст анафеме гнусавой,
Кто будет наше допивать вино,
Кто будет нас венчать посмертной славой.

VI

Кто будет нас венчать посмертной славой?
Кто вспомнит эти черные года,
Кто сроеет за секретною заставой
Сырые номерные города?

Безграмотных доносов стиль корявый,
Столыпинских вагонов теснота
И тишины могильная плита,
И утро неизбежную расправой.

Но он придет. Придет и грянет бой
Последнею отчаянной Полтавой.
И чьи-то строфы бьют кипящей лавой,
Мятежною батальною трубой.

И примет их, чтоб стать самим собой,
Быть может, кто-то праведный и правый.

VII

Быть может, кто-то праведный и правый.
Я связан с ним, покуда не умру,
Незримой исполинскою загравой
Слепотою тяготения к Добру.

Умрет ли он увенчанный и brave
Или как зверь зафлаженный в бору?
Мы грешники. Мы с ханжеской оравой
Не явимся к апостолу Петру.

Не нужно нам ни рая и ни ада,
В которых есть охрана и ограда.
Уставшим от конвоя не годится
Идти под ключ (пусть даже и Петра...)

А реквием по нам насвищут птицы.
А может быть, могильные ветра.

VIII

А может быть, могильные ветра
Расскажут вам о беспощадной школе,
Где слезет благородства кожа,
Ничтожеству служившая на воле.

Расскажут вам о гневе и о боли,
Которым не помогут доктора,
О людях, съевших по два пуда соли,
И тридцати монетках серебра.

О, сколько их у наших палачей,
Испытанных отмычек и ключей
Для хилых тел, не знавших тяжких нош,
Для жалких душ, привыкших к подлой роли.

Но прежде чем сгибать такую волю,
Попробуйте согнуть дамасский нож.

IX

Попробуйте согнуть дамасский нож,
Таинственную мощь арабской стали,
Попробуйте в узорчатом металле
Смирить упрямства яростную дрожь.

Мы нарушаем схему и чертеж,
Мы в тиглях бурь закалку обретали,
И в спектрах наших бедствий вдруг найдешь
Упругий хром и ядовитый таллий.

И тяжелый молот бьет, наверняка
Не угадав рождения клинка.
Мы выжгли в душах углерода ложь.
Мы жестки и крепки, а значит – правы.

Не пробуйте сгибать. Такие сплавы
Скорее поломаешь, чем согнешь.

Х

Скорее поломаешь, чем согнешь
Щенячий пыл, российские кликуши,
С которым вы и животы, и души
Кладете за отечество вельмож.

Ползет, ползет из конотопской лужи
Квасной патриотический скулеж.
О, как ты, обыватель, толстокож!
Не Карфаген, а Рим пора разрушить.

Перевернуть бы сонный мир осенний
С вершин Саян до Тускарроры дна.
Ты, ожидавший сказочных везений,
Неизмерима здесь твоя вина.

И неизбежность гроз и потрясений
Случайным здесь и слабым не видна.

ХІ

Случайным здесь и слабым не видна
Та, что давно бы зрячим видеть надо,
Враждебности китайская стена
И выдержки голодная блокада

Когда ж взрастешь ты, наша баррикада,
Куда грядешь, сермяжная страна
То в панике испуганного стада,
То в бешенстве степного табуна.

Ты в забытьи сивушного порока,
Ты бездорожно-лапотно грязна.
Скажи, какого звать тебе Пророка,
Чтоб встала ты, стряхнув похмелье сна,

В своей неотвратимости грозна,
Безмолвна и оправданно жестока.

XII

Безмолвна и оправданно жестока,
Она в столетьях дышит и часах,
То в колдовских сказаниях чароко,
То в хвойных звонах скандинавских саг,

То в буйной пене горного потока,
То честью, то бесчестью на весах
Она живет, как Сольвейг, синеока
На неоткрытых кем-то полюсах –

Поэзия! В ее случайных строках
То тайны иудейского жреца,
То мудрое изящество востока.
Я ей всегда за сына и отца.

Я здесь ей буду верен до конца
Без договора, отдыха и срока.

XIII

Без договора, отдыха и срока,
Без усталости работают сердца.
Но зарастает рыжая дорога
Великого и мудрого слепца.

Удалены от своего истока
Периодом урана и свинца
Мы растеряли качества бойца,
Мы стали жить и мыслить однобоко.

Саднит под шкурой тягостным осколком
Привычна и для всех предрешена
Невольничьих традиций старина.

Но я рожден щенком, а вырос волком
В лесу, где между голодом и долгом
Идет непримиримая война.

XIV

Идет непримиримая война,
Перешагнув кордоны и границы
Ты выжить, жить, ты победить должна
И благородным камнем ограниться,

О молодость моя, как ты нужна!
Пусть мой Арго то стонет, то кренится,
Не закрывай последнюю страницу,
Еще твой грек не отыскал руна.

Всходи, моя продажная луна,
Звени, моя последняя струна
Высокою бетховенской октавой.

Взгляните, там, у дальних рубежей
Опять грядут знамена мятежей,
Восход кровавый и закат кровавый.

СТИХИ

Кирилл Померанцев

* *
*

Распутин, распутье, распятые...
Как четко пророчат слова!
Вы все – во Христе мои братья,
Мы все – Колыма и Москва.
Живем, беспризорные дети,
Изгой волшебной страны,
На этом нерадостном свете,
Под светом ущербной луны,
Струящей сквозь ветки сухие
На черную Сену огни.

Россия, стихи о России...
Да разве возможны они?

* *
*

О, маг словесных антраша
Средь реализма слога.
Ты наб и наг, как неспеша
Обёртываешь в тогу

Реалистических затей
Ареализм статей.
И жесты все твои не те,
Как присмотреться сзади,

Когда осанистости фас
Из фабул и событий
По воспритью пронесясь
Осядет в тине критик.

И пропасть вспыхнет между слов,
И ты мостом воздушным
Счленишь всё то, что до основ
Незримо и не нужно,

Соединишь, что до азов
Неведомо и дико.
Набоковским перстом пазов
Срастишь всё с панталыку.

Набоков – вещи набекрень,
Да так, что обывателю
Тошнейшим станут ночь и день,
И всяк алтарь – предателем

Пред ним предстанет трюком слов
И разработкой дбнелъзя.
Зрак его жизненных основ
До ручки дотрезвонится.

Но в этаком сращеньи в смысл
Того, что в разножизницу,
Набоков совращает мысль
И развращает ризницу.

И молний красоты экстаз
Между вещами высеча
Набоков сотворит рассказ
На связей мира тысячах,

Которые сейчас впервой
На карте судеб пишутся
Под его оком и пером
Набоковскою ижицей.

декабрь 1984



Израильский журнал на русском языке не только для евреев. Каждую неделю: *Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами. – Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Харец», «Джерузалем пост» и т. д.) – Лучшее из журналов Свободного мира. – Самиздат. – Роман в продолжениях. – Письма читателей. – Дискуссии без цензуры. – Новые рас-*

сказы и повести советских русских авторов. – Что происходит по ту сторону кордона и др.

Цена для Европы на 3 месяца – 75 марок ФРГ,
для США и Канады – 30 долларов США,
включая пересылку авиа.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

В самые последние годы я все чаще прощаюсь с дорогими мне людьми. Прощаюсь навсегда. И последнее мое прощание было с Андреем Тарковским. В России мы знали, как у нас говорится, шапочно и лишь здесь – на чужбине – сошлись по-настоящему близко. Он был из тех редких в наше время людей, которые умеют не только говорить, но и слушать. Слушать так, что собеседник невольно сразу же проникался к нему безоглядным доверием. Такова уж, видно, наша слабая человеческая природа, что в полную меру мы умеем ценить друзей только после того, как теряем их. Как я жалею теперь, что в повседневной суете не раз упустил лишнюю возможность встретиться и пообщаться с ним, что вечная спешка укорачивала каждую нашу встречу до минимума и что мне так и не удалось, когда он однажды пригласил меня, выехать к нему на съемки «Жертвоприношения». Этих драгоценных потерь мне уже никогда не восполнить.

Фильм он показал мне уже готовым. И хотя просмотровый зал оказался неприспособленным для непрерывной демонстрации, ленту гнали по частям, волшебство этого фильма преодолевало досадные перебивки. По своим кинокусам я человек, признаюсь, консервативный, гениальные изыски Антониони или Годара мне глубоко чужды, их эстетика оставляет меня глубоко равнодушным, но работы Тарковского, при всей их внешней бессюжетности и новизне приемов, наполнены таким внутренним напряжением, такой мощной изобразительностью, такими мистическими прозрениями, что они способны покорить зрителя и попроще меня, а «Жертвоприношение», на мой взгляд, останется в истории мирового кино вершиной его творчества.

Еще даже не подозревая о поразившем его смертельном недуге, он в этой поистине гениальной ленте как бы подводил итог не только всему сделанному им в искусстве, но и самой своей жизни. С тем же основанием Тарковский мог бы назвать ее «Прощание» или «Завещание». Засохшее дерево, которое герой фильма завещает сыну ежедневно поливать в надежде, что оно в конце концов все-таки зацветет, вновь с наибольшей выразительностью олицетворяет его личное отношение к творчеству. Здесь режиссер как бы прямо полемизирует с Камю, сравнившим в своей нобелевской речи человеческую историю с Сизифовым трудом. Нет, убежденно утверждает он, древо нашего духа еще способно к возрождению, его только необходимо ежедневно и ежечасно насыщать живой водой Сострадания и Надежды. В этом, я убежден, и состоит глубоко христианская сущность творчества великого кинематографиста.

Мы часто и много говорили с ним о России. Будучи типично русским интеллигентом, он взыскующей любовью любил свою страну, сострадал ей, тосковал по ней и, тем не менее, категорически не принимал ее современной ипостаси. Когда в последней нашей с ним беседе я заговорил о широкой демонстрации его фильмов в Советском Союзе, он среагировал на это с несвойственной ему обычно жесткостью:

– Они делают вид, что ничего не случилось, что они не душили меня почти двадцать лет, что я не просил здесь политического убежища и что я продолжаю находиться в творческой командировке за рубежом, надеются, что я растрогаюсь от умиления и брошусь им в объятия? Ну, нет, этого они от меня не дождутся, я, как и Шалапин, ни живым, ни мертвым, и надеюсь, дети у меня окажутся потверже шалапинских.

Но в чем не откажешь советской пропаганде, так это в последовательности. 31 декабря ТАСС с лапидарной торжественностью сообщил о смерти в Париже советского кинорежиссера Андрея Тарковского. Не удалось выманить живым, попробуем присвоить мертвым. Те, как известно, сраму не имут. Или: не мытьем, так катаньем!

Сколько их, этих великих покойников, сами того не подозревая, обслуживают сегодня советскую дезинформацию по принципу: без меня меня женили! Бунин, Шалапин, Рахманинов, Прокофьев, а теперь вот уже и Набоков, и Михаил Чехов, и Цветаева. Сегодня наступила очередь Андрея Тарковского. Единственное определение, которое в связи с этим приходит на ум: кощунство. Кощунство, которому нет прощенья: затравить, чтобы затем канонизировать лукавой пропаганды ради.

В своем более чем годовом поединке с беспощадной болезнью он не сдавался буквально до последнего дня. Преодолевая слабость и боли, он много читал, писал, набрасывал планы будущих фильмов. Готовил сценарий по Гюфману, мечтал о постановке Гамлета. И на основании его, хотя и отрывочных, толкований этого образа, я беру на себя смелость утверждать, что это был бы необыкновенный, еще не виданный нами Гамлет.

Как всякий по-настоящему большой художник, Тарковский постоянно размышлял о смерти. В одном из своих интервью он высказался об этом с исчерпывающей откровенностью:

«Пугает ли меня смерть? По-моему, смерти вообще не существует. Существует какой-то акт, мучительный, в форме страданий. Когда я думаю о смерти, я думаю о физических страданиях, а не о смерти как таковой. Смерти же, на мой взгляд, просто не существует. Не знаю... Один раз мне приснилось, что я умер, и это было похоже на правду. Я чувствовал такое освобождение, такую легкость невероятную, что, может быть, именно ощущение легкости и свободы и дало мне ощущение, что я умер, то есть освободился от всех связей с этим миром. Во всяком случае, я не верю в смерть. Существует только страдание и боль, и часто человек путает это – смерть и страдание. Не знаю. Может быть, когда с этим столкнусь впрямую, мне станет страшно, и я буду рассуждать иначе...»

Нет, когда Андрей Тарковский столкнулся с этим впрямую, он не стал рассуждать иначе. Он освобождался от связей с этим миром, как подobaет мужчине и христианину: с достоинством и смирением. Он оказался подготовленным к смерти всем своим земным существованием, ибо вся его сознательная жизнь была одним непрерывным жертвоприношением. Жертвоприношением искусству.

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг
Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis · Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 · Germany

Поэзия и проза трех континентов

Микола З е р о в

СОНЕТЫ

*Перевод с украинского и вступительная заметка
Василия Б е т а к и*

Имя Микола Зерова русскому читателю почти неизвестно. Выдающийся деятель украинского возрождения, поэт, переводчик, литературовед, он и по-украински в Советском Союзе не издается, а что касается перевода его стихов на русский – тем более. Так называемые литературы народов СССР русскому читателю даются в еще более искаженном виде, чем литературы стран Запада. Не случайно поэтому довольно часто приходится видеть если не презрение, то пренебрежение со стороны русского читателя по отношению к поэзии украинской или татарской, эстонской или узбекской... Ведь из них выбирается для перевода, главным образом, то, что заведомо идеологично, что прославляет официальную «дружбу народов», существующую, в основном, в газетно-плакатном мире.

Если властям удастся скрыть от читателя порой и крупных русских поэтов, то скрыть сам факт существования поэта, пишущего на любом другом языке, вовсе легко. И что там говорить о литературах азиатских или прибалтийских, когда украинская литература подается русскому читателю изуродованной до неузнаваемости! А ведь в этом случае куда легче человеку любознательному: все же по-украински хоть и с трудом, но может он что-то прочесть, все же близкий язык...

Но вот Миколу Зерова скрыли. И прочно. До сих пор большая часть его стихов издана только на Западе. Почему? Это становится ясно из фактов его биографии и, главное, из его стихов.

Микола Зеров родился в Зинькове, Полтавской губернии в 1890 году. Был учителем, потом, в 20-х годах, профессором Киевского университета. Печататься начал в 1912 году как переводчик. При его жизни вышли только две книжки: одна

переводная – «Антология античной поэзии», другая – сборник стихов «Камена» (1934 г.). Среди деятелей украинского культурного возрождения, разделившихся в тот период на романтиков и неоклассиков, Зеров считается фактическим лидером украинского неоклассицизма.

Самым страшным врагом творчества Зеров считал тот насильно насаждаемый примитивизм, который разгулялся как в русской литературе, так и во всех иных, поставленных от нее в зависимость, в конце двадцатых годов. В своем труде под названием «К истокам» Зеров, сам будучи неоклассиком, поддерживает романтика Миколу Хвильового, против великодержавных критиков промосковской ориентации:

«В Москве стараются сорвать грандиозный процесс возрождения испробованным методом... началось с того, что один красный малоросс, или ЕНКО, как называл Хвильовой такой тип людей, написал донос на Хвильового, напечатал, говоря, что произведения Хвильового националистичны, что направлены против коммунистического интернационализма. Этот Енко обвинял неоклассиков в том, что они не пускают в литературу рабоче-крестьянские кадры. А на самом деле Хвильовой выступал против армии красных стихоплетов, творцов пропагандной советской халтуры».

Зеров, отстаивавший значение культурного начала в литературе, и сам нажил себе немало врагов среди «авторов от сохи и станка», по доносам которых и был арестован в 1935 году и отправлен в Соловки. В 1936 году известия о нем угасают, хотя советские источники и указывают датой смерти Миколы Зерова 1941 год (если не писать, что погиб в лагере, могут подумать, что на фронте!). Но современные литературоведы на Западе считают, что погиб он между 1936 и 1938 годом.

Наиболее полное собрание стихов Зерова вышло в 1951 году в Филадельфии – сборник «Каталептон», еще раньше, в 1948 году – вышла книга «Сонетариум»: 85 оригинальных и 28 переводных сонетов. Сборник литературоведческих статей издан в 1958 году в Мюнхене. А вот в СССР – почти ничего. Краткое упоминание в Краткой литературной энциклопедии. Несколько стихотворений по-украински в конце пятидесятых годов...

Когда в 1960 году, в связи с семидесятилетием со дня рождения Миколы Зерова, заявку на перевод его стихов пода-

ла в издательство Татьяна Григорьевна Гнедич, то ничего, кроме неприятностей, из этого не получилось. Книга сонетов Зерова, которую она собиралась перевести вместе со мной, так и не вышла...

Тогда я перевел один из его сонетов – «Обры». Аллегория тут до крайности прозрачная – расправа комиссаров и всяческих продотрядных деятелей с украинским крестьянством настолько очевидна в этих стихах, что надеяться на издание их, даже в 1960 году, было наивно. Недавно я перевел еще несколько сонетов Миколы Зерова. Все они представляют собой четкие политически-исторические аллюзии, что советские цензоры, а за ними и редакторы называют историческими параллелями. И напоминают слова Сталина: «вы знаете, исторические параллели вообще опасны» (из беседы с Гербертом Уэллсом).

За античной или евангельской лексикой сонетов у Зерова всегда стоит сегодняшней день.

ЛЕСТРИГОНЫ

Одиссея X 77 – 134

Улисс! Тут земли ненасытных лестригонов,
Тут жалкие рабы отары стерегут,
Какою злой судьбой ты оказался тут?
В обители беды, проклятий, злобных стонов?

Ты скажешь – Полифем? Потомок Посейдонов,
Тот все же знал огонь! А эти мясо рвут
Ногтями! Тут любой неудержимо лют,
Гостеприимство? Нет здесь никаких законов!

Останься, не ходи! Укройся под скалой,
Я ночью снаряжу корабль стовеслый твой...
Туда, где хлеб едят, где нету сыроядцев...
А сам останусь тут, меж горем и бедой.
Мне б – только призраком до скал родных домчаться!
Мне б – только чайкою с тобою над водой!

О. Бургарту

Вы помните – в дни тридцати тиранов
 Была почти такая же пора:
 Безмолвная пустая агора,
 Позорное молчание пританов.
 И все-таки не замерли ветра,
 И разносился смех аристофанов,
 И все-таки Сократ хлестал профанов,
 И все-таки резвилась детвора!

Вот так бы и теперь... Но все заснуло:
 Таится в ожиданьи Трасибула!
 А мы? Где ж наших кос немирный свист?
 Где тяпка на сорняк? Счет нашим ранам?
 Слепые дети! Где Сократов хлыст?
 И где бессмертный смех Аристофана?

ОБРЫ

Весна во всей красе. Луга цветут.
 И отгремели зевсовы перуны,
 Простерлись косо дождевые струны
 И зелень звучным голосом зовут.

Звенят поля, отмытые до блеска,
 В кустах свистит веселый соловей,
 А по дороге, как былинный змей,
 Толпа людей ползет из сел окрестных.

По селам – стон: герои саг и рун,
 Воскресли печенег, аварии, гунн...
 Орава подлипал глядит недобро
 И гонит за селом село в полон...

Повсюду плач и крик дулебских жен
Под батогом презрительного обра.

1921

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

И только петух прокричал...

На теплый чад свечей с высоких хор,
Как пенье, безнадежность наплывает.
А с нами рядом уж палач зевает,
И ждет синедрион, и ждет претор
И кесарь... Затемнен судьбы узор,
Крик петуха нас предостерегает.
Где дом стоял – костер для нас пылает,
А стража – наш архиерейский хор.
И темный ход евангельских историй
Звучит, как цепь тончайших аллегорий,
О наших днях, и подлых и скупых,
А за дверьми, на паперти, в притворе
Весна и голоса детей живых,
И влажный ветер насылает зори.

СОБСТВЕННЫЙ ПОЛОСАТЫЙ ТИГР, НАГОНЯЮЩИЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ СТРАХ

Перевел с иврита Валерий Кукуй

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Дорогая Корнелия Герстенмайер!

Некоторое время назад Владимир Максимов побывал у меня в гостях в кибуце Хульдер. В нашем разговоре он сказал, что хотел бы печатать в «Континенте» произведения современной израильской литературы. Я обещал помочь ему советом и теперь выполняю обещание, посылая изумительный рассказ скончавшегося недавно в возрасте 46 лет Якова Шабтая «Собственный полосатый тигр, нагоняющий смертельный страх». Яков Шабтай – один из наших лучших и самых оригинальных писателей. Русский перевод рассказа сделал Валерий Кукуй, заслуживший репутацию великолепного переводчика с иврита на русский. В последние годы он перевел много прозы и стихов самых видных израильских писателей – от Агнона до Амихая. Валерий Кукуй также перевел на русский мой рассказ «Тронь воду, тронь ветер», и этот перевод встретил множество похвал русских читателей.

С самыми теплыми пожеланиями

Амос Оз

Всяк страждущий
достоин искупления.
Гёте

Есть у меня дядя в Монако, правда, недавно прошел слух, что он перебрался в Лиссабон и там, не то где-то неподалеку, завел питомник бойцовых петухов. Последнее достоверное сообщение о дяде мы получили три года

назад. Тетя Идель, эта пустопорожняя бабушкина сестра из Буффало, написала в одном из писем, что ее сын Филип, владелец большого ювелирного магазина в Баверли-Хилз, вроде бы видел дядю, торопливо шагающего по одной из улиц Сан-Франциско.

Это известие не произвело ни на кого из нас никакого впечатления и тотчас было предано забвению, как и само дядино имя, с тех пор как он в последний раз уехал из страны, оставив у всех, знавших его здесь, осадок стыда и недоброжелательства в придачу к парочке светловолосых ребятишек, четверем женщинам, куче отчаявшихся заимодавцев, вороху костюмов и потраченных молью широкополых шляп, огромной угрюмой собаке датской породы да единственной визитной карточке, сохранившейся у его друга юности художника Эдмонда Рубина, на которой витыми золотыми буквами четко, не подлежа никаким разночтениям, отпечатано дядино имя и титулы: «Альберт Альберт Абрам Йоахим Имануэль Вайс – доктор юриспруденции – доктор экономики – специалист».

Все началось зимой, семь лет назад, через четыре года после окончания войны.

Он тогда впервые приехал в страну. Вся наша семья приделась и с букетом гладиолусов отправилась на такси к дяде Ною. Там уже толпились близкие, знакомые и несколько земляков. Тетя Шошана, жена дяди Ноя, в невозможно ярком, разрисованном большими цветами шелковом платье, подавала гостям чай с маковым пирогом.

Все пили чай, болтали друг с другом о всякой всячине и поглядывали в окно. Ждали беженца.

Ровно в семь у двери позвонили.

– Это Пиня! – воскликнул дядя Ной, и все бросились в прихожую.

– Это я! – провозгласил Пиня, стоя на пороге.

Он раскинул руки и отвесил поклон, отчего прядь черных, прямых волос упала на его приятный лоб, затем продвинул себя чуть вперед и принялся с радостными восклицаниями обниматься с мужчинами да хлопывать их по плечу, целовать дамам руку, смахивать набегающие на его глаза слезы, в то время как сладкая, бесхитростная улыбка, словно пенка на молоке, выступила посреди его круглого лица и не исчезала весь вечер.

Благоухание цветущих во дворе цитрусовых деревьев вместе с трепетной прохладой, долетающей с моря, скрытого за песчаными холмами, наполняло дом. Вазы ломились от изобилия свежих цветов. Фарфоровая посуда и серебряные столовые приборы, извлеченные по оказии из глубины буфета, сверкали при свете ламп. Пол блестел. Пиня сидел во главе стола, под портретом Берла Каценельсона*, рукава сорочки застегнуты золотыми запонками, галстук пришпилен золотой булавкой, все окружающие со слезами умиления на глазах взирают на Пиню, то и дело раздражаясь счастливыми восклицаниями.

– Завтра я обедаю с вашим министром финансов, – обронил дядя Пиня на идише, прожевывая рыбу и легкими прикосновениями промакивая яркие, женственные свои губы.

Потом все перешли на просторную террасу пить кофе.

На воздухе было привольно. Ни одна птица не подавала голоса, лишь ближние да дальние собаки перелаялись между собой в прозрачной ханаанской ночи. Азриэль – брат тети Шошаны – голосом синагогального певчего громко пел старые песни, а Пиня вслух предавался воспоминаниям о счастливой юности и об ужасных временах войны.

* Берл Каценельсон – глава еврейского профсоюзного объединения в Палестине во времена британского мандата. – *Пер.*

В час ночи все спохватились расходиться. Прощание возле открытой двери было долгим. Пиня вручил каждому маленький подарок и визитную карточку на тисненой плотной бумаге, где по-английски и по-немецки было напечатано: «Альбер А. Йоахим Вайс – инженер – конструктор – капиталовкладчик – фирма Великая Франкония по строительству и капиталовложениям (с ограниченной ответственностью)».

После этого Пиня пропал на целую неделю, а когда появился вновь, то был возбужден, покрыт розовым загаром, одет в новый костюм, на ногах – замшевые туфли горчичного цвета, тоже новые.

Дядя Ной только что пришел из «Тнувы»*, где он служил. Он ел, сидя за кухонным столом, в одной руке держал куриную ногу, в другой – кусок редьки, а взгляд его упирался в профсоюзную газету «Давар».

Пиня вошел с приветственным восклицанием, поцеловал тетю Шошану в потную щеку, хлопнул дядю Ноя по плечу и мановением фокусника извлек из-под пиджака букет цветов и бутылку «матеры».

Когда буря его появления утихла, Пиня уселся за стол, ввел дядю Ноя в состояние своих дел и раскрыл перед ним свои замыслы.

Итак, Цирля с детьми пока что остались во Франкфурте. Пять месяцев назад он, Пиня, был совладельцем крупной компании по поставке церквям предметов богослужения, таких, как распятия, изваяния святых, подсвечники, бокалы и чаши, кресты, канделябры, кадила, скамьи. Кроме того, он занимался ввозом чая и кофе и состоял членом общества, целью которого было укоренить привычку ездить в конных экипажах. По разным причинам он оставил все это, и теперь приехал сюда в качестве совладельца и посланца фирмы «Фран-

* «Тнува» – израильское государственное учреждение по оптовым закупкам и оптовому сбыту сельскохозяйственной продукции. – Пер.

кония лимитед», которая ведет дела по всему свету. Эта фирма, по его словам, намеревается построить в стране комбинат по производству сборных бетонных домов, частично для внутреннего сбыта, частично на вывоз.

– Куда вывозить-то? – недоверчиво спросил дядя Ной, продолжая грызть куриные кости и высасывать из них мозг.

– Повсюду, – ответил Пиня, и его глаза – глаза почтового голубя – увлажнились. – Во Францию. Даже в Индонезию. Ведь это же колоссальный потенциал.

– Вот как? – отозвался дядя Ной, не глядя ему в лицо.

– Мы незамедлительно выстроим цементные и стекольные заводы, заводы стальных изделий...

– Здесь нет железа.

– Будет, – заверил Пиня. – Не беспокойся.

После еды, сидя в большой комнате, дядя Ной слушал – вначале недоверчиво и сдержанно, но затем все больше увлекаясь. Он разглядывал, ковыряя в зубах, красочные проспекты и таблицы, щедро разложенные перед ним дядей Пиней, и следил за его пальцем, бойко, как кузнечик, скачущим по карте мира, там и сям обводящим кружками места, где возникнут фабрики и шахты, лесопильни и порты, в густеющем вечернем мраке начавшие было вырастать в сообщество сверхгородов-империй, кабы не тетя Шошана, которая зажгла четырехламповую люстру и подала чай с медовым пирогом.

Пиня собрал бумаги, а дядя Ной откинулся на спинку кресла. Он устал, но был воодушевлен, как после необычайного путешествия на морское дно.

Спустя две недели Пиня уехал из страны, оставив здесь госпожу Эльзу Найдорф, которая представлялась его секретаршей.

Полгода от него не поступало никаких признаков жизни, если не считать новогодних открыток с почтовой печатью Вены, на которых красовалась чета целующихся голубков, усыпанных крошками серебряной

бумаги. Но однажды в «Тнубе» зазвонил телефон, и дяде Ною сообщили из гостиницы, что его брат снял у них номер и будет весьма рад видеть у себя дядю Ноя и его супругу.

Дверь открыл сам Пиня. Чарующая улыбка была разлита на его лице. На Пине был сиреневый шелковый халат, разрисованный целым садом золотых персидских цветов, а над его верхней губой на южноамериканский манер тянулась прямая ниточка усов. Рядом с Пиней, напоминающая среднего роста жирафу и похожая на нее расцветкой своего платья, стояла госпожа Эльза Найдорф, а кожаный ремешок, который она держала в руке, заканчивался громадным псом с дрожащим языком, свисающим из пасти.

– Это Леон, – гордо представил пса Пиня и взглянул на него с опаской. – Чистокровная датская овчарка.

Пиня приказал доставить в номер фрукты и вина, и все уселись за низенький стол, на котором лежала желтоватая визитная карточка с надписью: «Доктор Альберт Имануэль Вайс. Цирк Универсалис лимитед. Брюссель – Хельсинки – Милан. Президент».

Тетя Шошана справилась о здоровье Цирли и детей. Дядя Ной любопытствовал, как обстоят дела со сборным домостроением. Пиня налил всем вина и приступил к изложению.

Пройдет немного времени, сказал он, и здесь, в этой стране, он построит цирк мирового масштаба, а потом еще – питомник для дрессировки зверей. Все планы и расчеты, выполненные и проверенные лучшими специалистами, уже при нем.

– Стране нужен цирк! – в душевном волнении воскликнул Пиня, и пепел его сигареты упал и рассыпался по столу. Но Пиня даже не заметил этого. Дяде Ною он не давал открыть рта. На Пиню снизошло вдохновение. Ослепленный и оглушенный восторгом, он, как Архимед, только что открывший свой знаменитый закон, витал сейчас в иных мирах, и слова низвергались из его

уст стремительным потоком, подобно праздничному конфетти: львы и тигры, американский медведь и клоуны, денежные ссуды и акробаты, капиталовкладчики и шляпа-цилиндр, марш и трапеции, стоящий на голове эквилибрист и нотариус, попугай и поющая пила...

Эльза Найдорф не отрывала от него бесстрастного верящего взгляда, а тетя Шошана с присущим ей благодушием согласно кивала. Зато лицо дяди Ноя выражало немалую досаду. Он начал застегивать свой пиджак и копался в кармане в поисках мелочи на автобус. Тут Пиня взял дядю Ноя под руку и, извинившись перед дамами, увлек его к окну. Из окна открывался вид на морские просторы, подернутые романтической дымкой, и Пиня предложил дяде Ную вступить в дело и вложить пятьдесят тысяч, за которые тот получит шесть процентов от общего дохода.

Дядя Ной мельком взглянул на Пиню и молча потянул, высвобождая, свою руку. Пиня поспешил повесить его долю до шести с половиной процентов.

Нашлись другие вкладчики.

Спустя неделю Пиня устроил пресс-конференцию, на которую он явился в гольфах и зеленой охотничьей шляпе. У его ног лежал Леон.

Пресс-конференция прошла с большим успехом, и в течение последующих двух месяцев Пиня был загружен работой по горло.

Он пожимал руки, расточал улыбки, назначал встречи в кафе, приглушенно беседовал в вестибюлях гостиниц, звонил за границу, советовался с адвокатами, посылал цветы, представлял финансовые расчеты, поражался в душе, клялся, положив руку на сердце, сновал по министерствам и городским учреждениям, совещался с управляющими банков, писал черновики договоров, парафировал соглашения, стонал, чокался – все это до того дня на исходе лета, когда состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего цирка.

То был великий день. Небеса были сухою бездной, в бесконечности которой дрожали неисчислимые, раскаленные, сверкающие серебряными молниями жала, а душный воздух своей пустынной мутой скрывал землю, деревья и кусты, и от них остались лишь призрачные, немые тени, колеблющиеся в тщете. Ни один кузнечик не стрекотал, ни корова не мычала, и только из трещин в пересохшей земле изредка прорывалась струйка знойного дуновения, покачивая репейник, издававший шорох, подобно ускользящей ящерке.

Посреди всего этого мира, над вырытой ямой, возвышался Пиня в черном костюме, на голове – черная шляпа, на глазах – темные очки. Его лицо, обычно бледное, было сейчас румяным, как морской краб. Рядом с Пиней стоял Леон, часто дыша, словно кузнечные меха, а вокруг редкими кучками толпились люди – родственники, рабочие, представители учреждений, насильно привлеченные вкладчики. Впереди, между двумя государственными флагами, вяло провисал плакат: «Да затрубит рог на Сионе – Цирк Универсалис лимитед».

Протрубила труба, один из присутствующих упал в обморок, Пиня поднял свою ношу.

Он говорил о нашей прекрасной стране – стране пророков, – о Бар-Кохбе, восседавшем на льве, о евреях и акробатах, смеющихся над силою земного притяжения, а под конец стал расхваливать полосатого тигра, нагоняющего смертельный страх и воплощающего силу и красоту, гибкость и благородство – символ цирка.

Собравшиеся понуро стояли да молча утирали платками пот.

Потом кто-то поздравлял, кто-то зачитал что-то из Библии, затем опустили в яму свиток Священного Писания, засыпали яму, и владелец гостиницы «Соломоновы кущи» возложил на это место венок роз, за ним то же сделали остальные, и вырос целый холмик из цветов, которые всего лишь час назад были свежими.

В заключение собравшиеся спели «Гатикву»*, и цирк зачался.

Через две недели после этой церемонии Пиня подписал договор о выступлении двух известных заграничных цирковых трупп, а также с фокусником, который был еще и акробатом, и выплатил им щедрый задаток. Между тем другие труппы, с которыми он вел переговоры, отказались, а некоторые выставили неприемлемые условия. Но главную трудность создавали банки и местные учреждения, страдавшие отсутствием воображения и продолжавшие упрямо требовать надежных ручательств как условия выдачи ссуд – и это, как назло, в то время, когда владелец «Соломоновых куш» и герр Арнфрайз из Вены начали выказывать тревожные колебания, а господин Чернобыльский, мясник, вдруг заявил, что выходит из сделки, умывает свои здоровенные ручища и требует возвращения денег, а не то подаст на Пиню в суд.

– Все это обычные явления, – сказал Пиня дяде Ною и вылетел в Париж, оттуда – в Вену, где закупил оборудование, затем – в Лондон: вернувшись оттуда, сразу пошел смотреть, как бетонируют фундаменты будущего цирка, после чего вместе с Эльзой и Леоном слетал в Грецию, потом поехал в порт встречать оборудование и передал его на обеспеченное хранение в склад, попытался уломать подрядчика, улетел в Копенгаген и когда вернулся, то обнаружил, что строительство остановилось из-за отсутствия финансирования, а обильные зимние дожди затопляли готовые уже фундаменты, опалубку, лились на мешки с цементом, на штабеля досок и железа.

Между полетами Пиня навещал дядю Ноя. Его неизменно сопровождал Леон. Невзирая на шумные

* «Гатиква» – государственный гимн Израиля. – Пер.

возражения хозяев, Пиня всегда приносил и вручал им букет цветов, бутылку доброго вина либо коробку китайского чая. В день рождения тети Шошаны – не станем уточнять, который по счету, – он подарил ей золотые часы.

Настроение его неизменно было повышенным. Скоро, сообщил он, завершится моделирование форменной одежды для работников цирка. То будет коричневый мундир в духе маршальского австро-венгерской армии с чем-то от мундира наполеоновских барабанщиков, а шляпа к этому – наподобие сомбреро и украшена вокруг, по тулье, переплетенными золотыми нитями.

Вслед за тем, затягиваясь дымом дорогой сигареты через мундштук из слоновой кости, он, как обычно, заговорил о самом цирке и о зверях. Он говорил о них гордо и задушевно, как если бы то были его знатные родственники и обладали возвышенными чувствами. Почти в том же духе он упомянул акробатов, греческого богача Онассиса, европейских императоров и оперных певиц. Совершенно непостижимо и вызывая с трудом сдерживаемый гнев дяди Ноя, все это летало, счастливое, на одном воздушном шаре в каких-то нездешних небесах, и управлял им сам Пиня.

– Жонглерство, – горько изрек дядя Ной, задумчиво собирая со скатерти хлебные крошки.

Снаружи шел дождь, один из последних в эту зиму, льстиво ласкаясь к оконным жалюзи. Пиня извлек из кармана «паркер» и стремительно написал на бумажной салфетке колонку бисерных цифр, произнося их вслух. Эти цифры обозначали величину пая господина Чернобыльского, ожидаемые поступления от владельца «Соломоновых куш», от герра Арнфрайза из Вены, от фирмы, поставлявшей щебень, и других вкладчиков, а кроме того – ссуды, запрошенные у правительства и банков, и предполагаемые поступления от продажи входных билетов. В соседней колонке Пиня записал

общие расходы – одноразовые и текущие, – взыскиваемые проценты и налоги. Проворной рукой, на лице светлая фамильная улыбка, он складывал и вычитал, и в итоге у него осталось чистых и благопристойных двести тысяч лир.

– Убедись, – сказал Пиня и протянул дяде Ною салфетку с расчетом.

– Жонглерство, – повторил дядя Ной, скомкал салфетку и бросил в пепельницу.

Тетя Шошана подала апельсины.

– Что в этом плохого? – спросил Пиня и притянул поближе к себе Леона.

Дядя Ной погрузился в молчание. Пиня тоже замолчал. Он гладил собаку по голове, а потом сказал, что в сущности его привлекают не деньги, а благородство и великолепие, которые постепенно исчезают из этого мира, например, акробаты на краю трапеции и полосатый тигр, нагоняющий смертельный страх.

С неподдельной тоскою описывал Пиня красоту окраски этого хищника, шелковистость шкуры и величие его страшных прыжков.

Дядя Ной, разрезая на полоски и квадратики, снимал с апельсина кожуру и по-прежнему мрачно молчал.

Подошла весна, и Пиня, взяв с собой Леона, отправился к цирку.

Торжественная тишина разливалась над обширной котловиной, которая как будто за одну ночь покрылась свежей, высокой растительностью.

Долго они бродили в гуще сырой травы, ушибаясь о камни и оступаясь в ямы, прежде чем нашли цирк. Он весь целиком, вместе с грудями щебня и песка, штабелями досок и железа, покойно погрузился на дно этого зеленого озера, и лишь ржавые пучки железных прутьев торчали из ям для фундаментов, где еще не просохли лужицы воды.

Пиня полной грудью вдыхал запах луга и мокрых досок, потом возвел глаза к прекрасному весеннему небу и решил, что купол цирка нужно повесить, дабы это был самый высокий цирк в мире.

Подрядчик готов был возобновить работу при условии, что погасят его долги, однако владелец «Соломоновых куц» и герр Арнфрайз окончательно вышли из дела. Другие, казалось, надежные люди, верные данному ими обещанию, тоже исчезли, словно вода из сита, а мясник вел себя по-хамски и угрожал. И хотя у Пини был договор, подписанный этим господином, он, Пиня, предпочел поднять руки и отступить и занялся поисками новых пайщиков, чтобы оживить строительство и расплатиться их деньгами с мясником, весь пай которого давно был истрачен на цемент и кирпичи, на полеты да торжественные трапезы. Пине пока еще удавалось отражать наскоки мясника и добиваться отсрочек при помощи разных убедительных доводов да рисуя тому золотое будущее. Точно так же Пиня вел себя с владельцем склада, который вежливо требовал уплатить долг за хранение оборудования, выросший уже до кругленькой суммы.

Наконец, терпение мясника лопнуло. Он обратился к закону, но, не дожидаясь, когда закон управится, прибег к самоуправству.

В один прекрасный, солнечный летний день Пиня в обществе Эльзы Найдорф и какого-то господина сидел в кафе. Нежный морской ветерок теребил края полотняных навесов над столиками. И вдруг Пиня увидел мясника, надвигающегося, как разъяренный бык. Времени у Пини было в обрез. Он грустно улыбнулся, погасил сигарету, отодвинул чашку кофе и – лишился чувств.

Эльза Найдорф побледнела, господин, что сидел с ними, вздрогнул от отвращения, и лишь мясник не растерялся. Он грубо встряхнул Пиню и отвесил ему пару пощечин.

Пиня приоткрыл глаза и тут же, в приступе дикого страха, оттолкнул господина Чернобыльского, схватил шляпу, перепрыгнул через ограду и бросился бежать по улице, в то время как мясник, потрясая кулаком, осыпал Пиню градом проклятий и угроз на идише и по-польски.

Пиня вернулся в гостиницу на следующее утро. Он весь сиял чистотой и нисколько не изменился, разве что был погружен в спокойную задумчивость. Плеснув себе в стакан «мартини», он встал у окна и произнес речь о красоте вселенной, которую своим мужицким, демократическим хамством губят мясники и социалисты. А еще он говорил о полосатом тигре. Не исключено, сказал Пиня, что в ближайшее время он приобретет одного такого, малайского либо тасманского, у какого-нибудь магараджи.

Эльза Найдорф поправила свою прическу и предложила Пине по-немецки все свои сбережения и наследство, если он вступит с нею в законный брак.

Слезы выступили на глазах Пини. Он отказался от денег и предложил ей брак без всяких условий, одновременно орошая влажными поцелуями ее лоб и руку.

Вечером, когда они вернулись из кино, он, по своему собственному настоянию, написал и вручил Эльзе «Обязательство порядочного человека». Отныне он стал пользоваться ее деньгами, однако бракосочетание откладывал со дня на день.

И поступил правильно, исходя из двух решающих соображений.

Прежде всего, он поныне был женат на Цирле. Кроме того, еще в начале зимы он клятвенно обещал сочетаться браком хозяйке парикмахерской Диане Фрухтер.

О Диана! Земля сметаны и меда! О клочок блаженного ада!

Она обладала очень решительными усами, а ее черные волосы, выкрашенные в цвет раскаленного пустынь-

ного зноя, были уложены на затылке то в виде клубка змей, то – цветочной клумбы, то напоминали поросшее лапшю поле. Рядом с ее телом, источавшим запахи духов и пота, Пиня чувствовал себя романтично, как юноша, погрязший в неискупном грехе.

– Если ты на мне не женишься, Люлю, я заколю тебя ножницами, – шаловливо грозила ему Диана и при этом больно ущипывала мочку его уха.

– Скоро, уже скоро, моя козочка, – живо откликнулся Пиня и впрямь собирался это сделать.

Всецело во власти чувств, задыхаясь от святого духа, исходящего от ее модных журналов, Пиня окатывал свою подругу волнами восхитительных любовных слов, от которых лицо Дианы становилось мечтательным и покорным, а самого Пиню пробиравших до слез. Но больше всего Пиня любил рассказывать ей об их совместном будущем. Запрокинувшись навзничь и влажным взглядом созерцая сквозь тьму волшебные замки, он подолгу описывал Диане их будущее жилище с французской мебелью, камином, тяжелыми коврами, роялем, орхидеями в саду, беговыми лошадьми в стойлах и вечною весною, как верный страж, круглый год стоящей у порога.

В свадебное путешествие они отправлялись на острова Эгейского моря, в Испанию и в то место на земном шаре, которое называется Мартиника, хотя ни та, ни другой не ведали, что это и где оно расположено.

Диана мечтала покататься на лыжах по снегу. «Хочу на лыжах», – капризно сюсюкала она, словно наивная, избалованная девочка. Пиня спешил обещать ей Сан-Мориц и лыжные прогулки во всех на свете хвойных лесах, и любовь его к Диане росла и крепла.

Тем временем Эльза терпеливо ждала на своих низких каблуках. Она не вынюхивала и не допрашивала его, подобно Диане, чем он занимается. Лишь иногда упиралась в его лицо холодным взглядом, от которого

Пине становилось неловко, и его пронизывал какой-то гнетущий голод.

Ее деньгами Пиня погасил половину своего долга мяснику и часть долга владельцу гостиницы, а кроме того, выплатил задаток портному за мундиры, дабы тот приступил к работе. Погашение прочих долгов – ресторанам, парикмахерским, магазинам одежды, цветочным магазинам, водителям такси и нотариусам, а также подрядчику и хозяину склада – он до поры до времени отложил и, не сказав никому ни слова, улетел в Европу.

Вновь для него, легкого и полного надежд, подобно красочной почтовой открытке, наступили начавшие было забываться тяжелые времена.

Эльза и Леон ждали его в гостинице, Диана – в своей квартире, в разных кафе и на улицах – кредиторы, а у дяди Ноя, согласно ходатайству хозяина склада наложить арест на хранимое оным имущество, его ждала судебная повестка.

Пиня счел себя оскорбленным.

– Стань, наконец, человеком, – выговаривал ему дядя Ной. – Брось все это. Найди себе что-нибудь настоящее.

Он готов был подыскать для Пини какую-либо работу в «Тнуве».

Пиня промокнул лоб надушенным платком, зажег сигарету, написал на полях газеты своим бисерным почерком какие-то цифры – и в мире вновь восстановился полный порядок. Положение его дел, заявил Пиня, хорошее, а виды на будущее просто блистательные. За границей он вел переговоры с несколькими предпринимателями, и те просто загорелись. На сей день ему недостает не бог весть какой суммы, дабы покрыть текущие долги и закончить строительство. Что касается ареста имущества – что же, еще есть время. Очевидно, лучше вовсе не обращать внимания на этот

вопрос. Все устроится. Суд не состоится. У него, Пини, имеются связи, есть доступ кое к кому, да и хозяин склада производит впечатление человека порядочного и разумного. Все утрясется. И нечего беспокоиться. Лучше гляньте: будучи в Голландии, купил книжечку – сплошь фотографии тигров. Жаль, написана по-голландски.

Удобно вытягиваясь в глубоких креслах, одет в ладно скроенные костюмы, ногти ухоженные, Пиня расточал приятные улыбки, исторгал стоны, раздавал обещания, посредством всего этого отмахиваясь от назойливых кредиторов, да лавировал между Эльзой и Дианой в поисках недостающих сумм. Письма из суда, не перестававшие приходить, он рвал, даже не взглянув, и выбрасывал в корзину.

И вдруг наложили арест на имущество.

День, на который была назначена публичная распродажа, выдался – среди сплошного ненастья – весенним, нежным, как только что вылупившийся цыпленок. Пиня проснулся рано. Сон гнало смутное беспокойство. Надев клетчатое пальто и панаму, Пиня отправился к складу, с трудом, будто теленка на привязи, таща за собой Леона.

Желтое солнце висело на краю синего небосвода. Воздух был полон прохладных запахов земли, травы и дождя. Пиня приободрился. В конце-то концов, до худшего далеко, и о нем вовсе не хотелось сейчас думать. Но как только Пиня увидел огромные ящики с оборудованием, выставленные во двор, его тотчас ододела слабость. Что-то в душе лопнуло и кануло в небытие.

Он было подумал повернуться и убежать, но сдержался, обошел двор, пока еще безлюдный, пощупал ящики. В голове стало пусто. Ни единого пути спасения он не находил. Все было прах и пепел. Приговор был окончательным.

Солнце приятно грело, но Пиня истекал холодным потом. Прислонившись к забору, он безвольно ждал. У него возникло было ощущение, что он далеко-далеко отсюда, а вокруг – сплошная водяная пустыня. Но время шло, во дворе склада никто не появлялся, и что-то новое, похожее на надежду, проклюнулось в его душе. Он вдруг поверил, что все это не более как химера, всего лишь недоразумение, которое можно уладить с помощью двух-трех простых фраз. Он поправил шляпу, закурил и стал ждать чуда: вот внезапно разразится война, или же хозяин склада скоропостижно умрет от сердечного приступа.

Хозяин склада пришел вовремя. Вслед за ним появились торговцы, и ящики были вскрыты.

Один торговец приобрел электрооборудование, в том числе большие прожекторы; другие купили сетки, занавесы, железные шесты, веревочные лестницы, бенгальские огни, барабаны и трубы. Пиня пожимал руки и даже улыбался. Спустя несколько часов двор опустел, остались лишь груды щепок, которые мел ветер.

Под вечер Пиня явился к дяде Ною. Он был сильно взволнован и непоседлив, как игрушечная заводная лягушка. Глаза его блестели, он то и дело разражался громким смехом.

Дядя Ной отложил газету и спросил, почему Пиня так весел.

– Цирк! – продолжал ликовать Пиня. Он поставил на стол бутылку вина и выложил сыры и колбасу. Потом налил всем вина, опустошил свой стакан и трубным голосом заговорил о цирке, высота которого восемьдесят метров, о смертельном сальто в четыре оборота, о своей жене Цирле, о белых орхидеях, о качестве тканей, из которых шьют подвенечные платья и саваны, о всемирной весне и о своем собственном, уроженце Малайи или Тасмании, полосатом тигре, нагоняющем смертельный страх.

– Я стану коммунистом! – вдруг взвизгнул он и потряс своим изящным кулачком. – Да здравствует Сталин! Да здравствует Молотов! Да здравствуют их усы! – и он в гневе вылил на голову Леона, который дремал возле его ног, стакан вина, но тотчас опустился возле него на колени и принялся гладить по голове, бормоча: «Собака... собака». И как угасающий за окном день – так же застыло, помрачнело его лицо.

– О мамочка!.. О мир!.. – вырвалось у него на идише. Он упал в кресло и мгновенно погрузился в бесчувствие, лишь крупные слезы – слезы обиженного младенца – покатались из его глаз, оставляя на костюме темные пятна.

Перепуганная тетя Шошана поспешно подала ему валерьяновые капли и ломтик лимона.

И однако положение все еще не было безнадежным. Фундаменты под цирк стояли готовые, и пояись требуемые деньги – можно было бы без затруднений возвести все здание.

Как раз в это время Пиня столкнулся с госпожой Михаэлой Бронфман, вдовой энтомолога доктора Леви Бронфмана. Он познакомился с ней благодаря некоему ветеринару, лечившему собак, который долго расхваливал Пине благородство и ум этой женщины, а также ее состояние, и Пиня, наконец, совершенно ясно вспомнил, что когда-то встречался с ее братом, не то деве-рем, хотя запомнил, то ли это было в Брюсселе, то ли в Триесте. По словам Пини, они даже подружились.

– Сударыня, – сказал Пиня и торжественно, а вместе с тем печально снял шляпу. – Имею честь. Альберт Йоахим Вайс. – Он твердо постановил в душе, что на сей раз будет сражаться до конца.

Госпожа Михаэла, в черном траурном платье, изобразила на своих бескровных губах подобие улыбки и повела его в гостиную. Комната была погружена в приятный полумрак, пропитанный запахом цветов, книг и

масляных красок. Пиня уселся в кресло, а Михаэла поставила на стол хрупкое печенье и чай в китайских фарфоровых чашках, на которых были нарисованы синие горы, синие водопады и китайцы.

Пиня надеялся убедить ее, чтобы она продала часть своих земельных участков и цитрусовых рощ, а вырученные деньги вложила в цирковое дело. Вперемешку с этим они беседовали о породистых собаках, о вере в Бога, и госпожа Михаэла голосом, исполненным духовной напевности и отстраненности от повседневного бытия, просвещала его о духовных богатствах Востока, о его религиях – буддизме и таоизме, – приводя высказывания Лао Цзе.

Пиня не понял из всего этого ничего. Он все время пытался перевести разговор на то дело, ради которого пришел. Но вместе с тем ее рассказы увлекали Пиню, раскрывая перед ним чудесный мир. Неопределенность и таинственность этого мира да еще спокойное благородство, излучаемое ее удлинённым лицом и медлительными пальцами, вызывали в его душе возвышенные переживания.

С каждым своим приходом Пиня все яснее ощущал, что этот дом засасывает и растворяет его – подобно тому, как толстые ковры, устилавшие там весь пол, без остатка поглощали звук шагов. В то время, как Эльза и Диана вечера напролет тщетно дожидались его, сидел он, очистившийся и безмятежный, в доме госпожи Михаэлы Бронфман, внимая мудрым древним изречениям и партитам Баха, которые она излагала на фортепьяно в явственно буддистском духе.

И наконец, помимо своей воли Пиня исправился – как если бы вновь родился в каком-нибудь безмолвном монастыре в Гималайских горах. Ему казалось теперь, будто он сам – синеватая нирвана, воплотившаяся в человеческий образ, и весь мир целиком угас вместе с ним, умиротворенно мерцая в малиново-фиолетово-сизой пустоте нескончаемого заката.

Пиня очнулся от сладкого послеобеденного сна, прерванного стуком в дверь. Принесли два письма: одно – от Цирли, в котором она сообщала, что через пару месяцев отплывает вместе с детьми в страну, а второе – из суда, с новым предупреждением об иске, поданном господином Чернобыльским. Пиня положил оба письма на стол и устался на стену, но не нашел там ничего успокоительного. Особенно его угнетало письмо Цирли. В ее письме было всего лишь несколько предложений, написанных крупным почерком и составленных из каких-то ничтожных слов, но тон его был столь искренним, преданным и покорным, что вызвал в душе Пини волну раскаяния. Появись Цирля здесь в этот миг, он покрыл бы ее лицо и всю ее маленькую головку поцелуями и слезами.

Весь день проворочался Пиня на своей постели и только вечером, измученный тяжелыми мыслями, вышел в город. Он бесцельно брел по улицам, свернул на набережную, постоял немного, облокотившись на влажную ограду, и спустился к морю, черному, шумному, на поверхности которого бесконечно возникали и исчезали рваные тряпки пены. Жизнь представилась ему в эти минуты непоправимо запутанной и непереносимо тяжелой.

Он любил Цирлю, и Эльзу, и Диану, и Михаэлу. Но кредиторы и весь остальной мир безжалостно сомкнулись вокруг него, как западня.

Покончить с собой.

В первый раз за всю жизнь эта мысль пришла ему в голову и, подобно теплу от выпитого коньяка, разлилась по всему телу, до самых кончиков его холодных пальцев, породив какое-то новое, возвышенное чувство, а вместе с тем – печальное благоговение перед самим собой, и ничего приятней этого он до сих пор не знал.

Покончить с собой.

Вновь и вновь он воображал себя мертвым. Вот его, покрытого зелеными водорослями, море выбрасывает

на берег. Или он лежит, распростерт, на ложе из сухих листьев. Или же сидит, уронив голову, в кресле, а Леон – у его ног. Сердце его сжималось от умиления. О, если б он мог покончить с собой и вместе с тем остаться в живых, дабы видеть изумленную и удрученную в раскаянии физиономию всего окружающего мира, он был бы совершенно счастлив.

Пепельный свет проник между небом и морем, разлучая их. Пиня вдруг почувствовал, что страшно устал. Он попытался еще раз тщательно оценить все свои любовные связи, но не нашел ничего утешительного. И вдруг, как Афродита, вышедшая из моря, ему явилась мысль жить со всеми четырьмя женщинами вместе, в общем просторном доме, или хотя бы делить между ними свое время.

Эта мысль его сразу же очаровала. Вопреки всем трудностям, которые также не укрылись от его внимания, он нашел это решение разумным и справедливым. Обрадованный, счастливый, он даже вообразил, что это уже осуществилось, и сразу почувствовал огромное облегчение и благодарность этому удивительному миру, в котором все возможно в столь неограниченной мере. Кабы не боялся глубины, из-за избытка счастья он прыгнул бы сейчас в море.

В гостиницу Пиня вернулся только под утро. Он был свеж и полон жизни. Гостиничный клерк улыбнулся ему, и Пиня истолковал это как добрый признак. Он принял душ, сменил одежду и отправился добывать деньги, необходимые для погашения долгов и завершения строительства цирка.

День вновь был чудесный, люди красивы, а возможности поразительно беспредельными. Он вдруг заметил, что миндальное дерево напротив гостиницы уже расцвело.

Целый месяц продолжалась эта буйная, беспорядочная весна, а под конец все двери захлопнулись перед ним, а улицы таили смертельную опасность.

Торговцы и заимодавцы грубо гнали его. Кредиторы неотступно преследовали. Они грубо требовали свои деньги, осыпая его угрозами и бранью. Владелец гостиницы настаивал, чтобы Пиня погасил долг и освободил номер. Эльза сверлила колючим взглядом, а Диана закатывала ему скандалы на улице. Однажды, разыскивая Пиню, она, как была в халате, с волосами, накрученными на бигуди, добралась до дома дяди Ноя. Одна лишь госпожа Михаэла Бронфман ничего не подозревала.

И тут приехала Цирля с двумя детьми.

День был холодный, мгlistый. Мертвенное, будто из воска, солнце, больше похожее на луну, плыло в пустоте, позади закоптелого неба.

Пиня приехал в порт встретить свою семью. Он принарядился в синий пиджак. Лицо красное, усы сухие, как уголь. Обнял детей, ласково, безмолвно приложился к птичьему личику Цирли, которая тоже стояла, не произнося ни слова, на голове – белая шляпа с пером, в руке – белая кожаная сумка и носовой платок. С моря налетал обжигающий ветер. Они поехали на квартиру, которую Пиня заранее снял за деньги, занятые у госпожи Михаэлы.

Первая неделя была наполнена счастьем. В домашних туфлях, с мечтательными глазами, Пиня, не зная покоя, сновал по квартире. Он ласкал детей, и Цирлю, и фарфоровые статуэтки, которые приобрел для украшения комнат. Время от времени он подходил к Цирле сзади и целовал в затылок. В субботу подал ей чай в постель.

Окружающий мир оставил его в покое. Иски кредиторов, дела, связанные с цирком, Эльза, Диана и Михаэла – все это отодвинулось и помнилось ему теперь смутно, как первая, давно минувшая юношеская любовь.

Но в понедельник, во время ужина, раздался звонок у входной двери. Эльза Найдорф в зеленоватом твидовом костюме ворвалась в кухню, подобно поджарой охотничьей собаке. Без околичностей она потребовала у Пини либо сочетаться браком, либо возвращения всех ее денег, размахивая при этом перед его носом «Обязательством порядочного человека», которое в напряженной тишине издавало шум трепещущих голубиных крыльев.

Цирля увела детей в другую комнату, а вернувшись, застала Пиню лежащим в обмороке и Эльзу, стоящую над ним и требующую свое, угрожая судом. Она была тверда, как стиральная доска.

Из груди Цирли вырвался стон. Тут Пиня вскочил и бросился вон из дому, а следом за ним – Леон. Но Эльза не успокоилась. В приступе холодного бешенства она разнесла вдребезги все фарфоровые статуэтки, выкрикивая по-голландски:

– Мое! Все это мое!

В шесть утра Пиня постучался к дяде Ною. Тот пил чай, поглядывая в газету «Давар». Пиня попросил у него сорок тысяч, за которые в течение года вернет пятьдесят... Дядя Ной надел пальто и ответил, что у него нет и четверхсот, а тетя Шошана подтвердила, кивнув. Пиня последовал за братом до туалетной комнаты и предложил, чтобы тот продал дом со двором и садом. Дядя Ной пошарил в кошельке, извлек двадцать лир, положил на стол и, не промолвив ни слова, не прикрыв за собой дверь, ушел на службу.

Был день не день – холодное месиво облачных глыб и осколков неба да немного мутного света, несомого восточным ветром и разливавшегося час за часом по мокрым улицам, по искромсанному ямами пустырю, где там и сям среди отчаянного запустения были разбросаны фундаменты цирка с сиротливыми пучками железных прутьев, все так же, как встарь, торчавшими к небу, которое начало уже обращаться тяжелыми сумерками с ломтиком луны, то и дело исчезающим.

Пиня присел на кучу щебня. Сквозь обморок души он наконец осознал, что предан всеми на свете и предоставлен самому себе. Он чувствовал себя униженным и оскорбленным. Кабы нашлась хотя бы одна теплая рука, он припал бы к ней и разрыдался.

Леон помочился на железный штырь, подошел и уселся перед Пиней. Тонкий, как иглы, дождь несло ветром, вперемешку с мелкими крошками щебня. Пиня стал брать с земли камни и со злостью бросать в Леона. Тот отошел недалеко, подождал и вернулся, словно привязан к Пине резиновым шнуром. Пиня вновь подумал о самоубийстве.

Он вернулся домой поздно вечером, продрогший и грязный. Цирля не спрашивала его ни о чем. Она подала ему стакан чая, разула и посоветовала лечь спать.

Всю ночь он нежно никнул к ней и плакал: «Сестренка ты моя, сестренка...» А утром проснулся другим человеком.

Почти год Пиня казнил весь окружающий мир и это свое призвание исполнял ревностно и благочестиво, подобно каннибалу, ставшему вегетарианцем.

Слюдьми разговаривал тихо и просил, чтобы те так же разговаривали с ним. Стал молчалив, уступчив, перестал пить кофе, а чай пил несладким, бросил курить, не посещал кино, ел мало и работал подручным у тощего маляра. Изредка издавал стон и жаждал умереть от разрыва сердца. Лицо его стало замкнутым, смиренным, как у святого. Для полного сходства не хватало лишь светлого нимба вокруг. И только изредка – возможно, из-за мук голода – накатывались на Пиню приступы страшного гнева и жажды мщения, по прошествии которых он погружался в радужные грезы. Вроде он в цирке и наблюдает, как акробаты в белых одеждах взбираются и спускаются по лестницам, верхушки которых исчезают где-то там, в небе, высвеченном бенгальским огнем, а сам он, Пиня, во фраке и цилиндре, стоит по-

середине, на блестящем паркетном полу, а рядом с ним – его собственный полосатый тигр, и оба они отражаются в бесчисленных зеркалах.

Мир не остался глух к его грезам. Суд признал Пиню банкротом. Все его имущество, включая фундаменты цирка, было конфисковано и пошло с молотка. Пиня выслушал приговор, мягко и понятливо улыбаясь, и так же стойко он перенес оскорбления, которыми осыпали его кредиторы, а больше всех – господин Чернобыльский. Тот даже умудрился тайком пребольно ущипнуть Пиню.

Квартиру он вынужден был освободить. Взамен он подыскал другую, старую, с высокими синеватыми стенами, с цветными стеклами в окнах, с балконом, огражденным ржавыми перилами, с вонью капусты и помоев, проникавшей в дом, и бродячим котом во дворе.

Наконец-то ему полегчало, и жизнь его окружила тишина подземелья.

Лишь однажды его покой был нарушен, да и то не надолго.

Спустя месяца два после банкротства к дому Пини подъехал грузовичок, и из кабины вышел портной, у которого Пиня когда-то заказал форменные мундиры. Тот радостно пожал Пине руку и извинился, что с трудом разыскал его новое местожительство. Мундиры, сказал он, несколько месяцев как готовы, и он уже стал тревожиться, что никто не является их забрать. Мундиры просто царские, с гордостью сказал он. «Ну, просто графские!» И спросил, куда их положить.

– На балконе, – ответил Пиня.

– На балконе?!

– Дождь идет, – проронила Цирля и глянула на небо.

– На балконе, – голосом непреклонным, как дубина, повторил Пиня и закрыл за портным дверь.

Совершенно неожиданно у принца и принцессы Монако родился наследник, и все сразу преобразилось.

Пиня очень обрадовался этому событию и в тот же день, охвачен вспышкой непонятого и не подвластного ему возбуждения, послал принцу и принцессе взволнованную поздравительную телеграмму. Спустя месяц ожидания пришел учтивый ответ, подписанный личным секретарем принца.

Пиня спрятал это послание в ящик и время от времени вынимал и внимательно перечитывал. Сама бумага, на котором оно было напечатано, очаровывала, а хитросплетения витиеватой подписи секретаря доводили до волшебного опьянения.

О Монако! О Грация! Синее море, лижущее мокрые ступни. Стремительные гоночные катера, расстилающие за собой оборки пены. Богач Онассис. О земной рай, в котором не взыскивают прямых налогов, а солнце, полновесное, как золотая монета, устойчиво стоит на самой середине неба, над вязами. Улицы чисты, и настоящие принцы пьют кофе и говорят: «Бон жюр мисье».

И Пиня вновь потерял покой. В глуши подземелья, под рясой отшельничества, буйствовала весна. Юркие мысли вились в его круглой голове, разрастаясь густо, как папоротники в экваториальных джунглях, и бросая его то в исступленно-восторженное предвкушение будущего, то в бесплодную пустыню усталости. Цирля подходила к нему на цыпочках и спрашивала, не выпьет ли стакан чаю или, может, примет лекарство от мигрени.

– Нет, нет, – нетерпеливо отмахивался Пиня, невидяще глядя на нее.

Наконец созрел замысел, и однажды Пиня появился у своего приятеля, художника Эдмонда Рубина. После туманного предисловия и не раньше, чем Эдмонд запер дверь и поклялся хранить тайну, Пиня изложил ему свой замысел во всех подробностях.

Когда он закончил, установилась смущенная тишина. Эдмонд не воскликнул «нет!». Он вынул изо рта трубку, постучал ею о край пепельницы и с величайшей деликатностью попытался увернуться от соучастия в этом деле. Он даже намекнул на некое уязвимое место в замысле своего друга. Но Пиня ничего не желал слушать.

В час ночи Эдмонд сдался. Он согласился помочь Пине составить меморандум, однако не более как в том, что касалось перевода на французский, и при условии, что его, Эдмонда Рубина, имя нигде не будет упомянуто.

Десять изнурительных ночей продолжалась работа. Долгими часами просиживали они вместе за столом Эдмонда, обложившись словарями, энциклопедиями и книгами по истории, стараясь спрясти такую паутину, в которую можно поймать слона. Еще четыре дня потребовалось Пине, чтобы выбрать подходящую бумагу. Он ощупал десятки разновидностей, пока не остановился на некоей редкой, шелковистой, на которой по его указанию были напечатаны особые водяные знаки.

Теперь можно было переписывать набело. То были три дня нервотрепки, поскольку Пиня часто менял слова, требовал изменить написание той или иной буквы, цвет чернил, промежутки между строками и ширину полей.

Весь текст разместился на двух листах. Он начинался с обращения: «Его Высочеству Принцу Ренье второму из рода Гримальди, принцу Монако и окрестностей». А заканчивался: «Ваш покорный слуга Альберт Альберт Абрам Йоахим Имануэль Вайс – доктор юриспруденции – доктор экономики – специалист».

Между обращениями и титулами обращавшегося располагались изъявления вежливости и восхваления, относящиеся как к самому принцу, так и к роду Гримальди в целом, начиная с Отто Канелы, который был в 1133 году консулом Генуи. А среди всего этого тонкой, витой нитью было вплетено предложение достойного

сотрудничества между Его Высочеством Принцем и моим дядей Пиней по основанию всемирной лотереи с центром в Монако. По всем расчетам, писал в своем меморандуме дядя, от этой лотереи потекут огромные миллионы из одной только Европы, не упоминая Индию, Пакистан, Мадагаскар, Бразилию, Сейшельские острова, Эфиопию и Северную Америку (включая Канаду и Аляску до самого Берингова пролива). Короче, золотой потоп.

Целую ночь происходило окончательное переписывание. Было выпито бесчисленное количество чашек кофе. Эдмонда тошнило от непрерывного курения. Лицо его покрылось желтизной, пальцы были холодными и липкими от пота. Зато Пиня оставался бодр, как ночной вор. Утром он причесался, вымыл руки, спрыснул меморандум духами, вложил его в конверт и запечатал тремя сургучными печатями.

По пути с почты дал монету нищему, еще одну опустил в жестянку для пожертвования рабби Меира-чудотворца. Оставалось только ждать ответа.

Но Пиня решил не дожидаться. В тот же день под вечер он начал собираться в дорогу – решительный, себе на уме, сама изощренность.

Он раздавал обещания, клялся здоровьем и памятью предков, представлялся под вымышленными именами, предъявлял документы и фальшивые рекомендации, улыбался, закатывал глаза и лил слезы, дабы выжать деньги у близких и чужих людей. Назначив Диане точный день свадьбы, целуя и щекоча, он выманил у нее все сбережения, а ее зятю продал часть цитрусовых рощ, принадлежавших госпоже Михаэле.

Он не видел в этом ничего зазорного, поскольку решил в душе, что все это берет займы и вернет из первой же прибыли да еще добавит приличные проценты. В его блокноте все записано.

В короткие свободные часы, выпадавшие ему лишь поздней ночью, он, не смыкая глаз, лежал рядом с Цир-

лей и под ее ровное дыхание вел воображаемые дружеские беседы с принцем и принцессой или повторял на память курсы разных валют, правила светского поведения, названия улиц в Монако и Монте-Карло, слова национального гимна «Принсипоте Монако ма патри» и важнейшие события в истории княжества, например, что один из потомков Отто Канелы был послом при дворе Фридриха Барбароссы или как другой его потомок, Франсуа Гримальди, переделался монахом и провел нескольких своих людей в крепость Монако, захватил ее и провозгласил княжеством.

Через три недели все приготовления были окончены. После унылого обеда, состоявшего из жареного карпа и перлового супа, Пиня сказал Цирле, что идет купить себе шляпу. Окружным путем он поспешил к Эдмонду, там переделался, взял чемоданы и поехал в аэропорт.

День был ненастный. На Пине был черный, английской шерсти костюм, над которым, похожее на бледную ущербную луну, выделялось его лицо. На изнеженных пальцах красовалось два золотых перстня, в один из которых был вправлен поддельный бриллиант.

Наличными Пиня почти не располагал. Зато в его чемоданах было уложено шесть костюмов, шесть пар туфель, дюжина галстуков и столько же сорочек, две пары брюк-гольф, галстуки-бабочки, платки, перчатки, запонки, халаты, шелковое белье, подробнейшее «Пособие для аристократа», составленное маркизом Мартином де Виго, «Книга о приличиях» в карманном издании с рисунками, карта мира, различные удостоверения, копия меморандума и пачка визитных карточек.

Несколько этих карточек он заранее положил в карманы пиджака, который был на нем. Рядом с его полным именем и россыпью титулов водяной печатью был выполнен герб: лавровая ветвь, обвивающая земной шар, посередине которого – полосатый тигр. Над зем-

ным шаром – скрещенные мечи, а под ним – одно слово по-итальянски: «Честь».

В аэропорту он быстро выполнил все формальности. До посадки в самолет оставалось несколько свободных минут, и ему пришло в голову послать открытку Цирле и детям.

Он облокотился о стойку, лицо его приняло строгое выражение. В просторах своего мозга он подыскивал те немногие, особые слова, которыми смог бы запечатлеть любовь, раскаяние и утешение, переполнявшие сейчас его душу и способные загладить все, что исковеркал. В это время по радио назвали его имя, торопя на посадку, и он поспешно написал: «Любовь моя! Я жив. Все образуется. Приказываю вам быть здоровыми. Ваш навечно. Пиня».

Серая кисея дождя висела над аэропортом и над всем миром. Дождь благодушно заволок туманом самолеты, взлетные полосы, землю и деревья. Все было точно из кадров старой-престарой немой кинокартины.

Пиня понурившись поспешил к трапу. На последней ступени он задержался, обернулся, поднял голову, снял шляпу и широко помахал ею в прощальном приветствии в сторону пустого балкона аэропорта, в то же время посылая в распарывающееся пространство одну из своих самых очаровательных улыбок, которая еще порхала среди дождевых капель, когда дверь самолета закрылась, самолет разбежался, с ревом взлетел и исчез, как пустынная птица.

Теперь есть у меня дядя в Монако, правда, в последнее время прошел слух, что он перебрался в Лиссабон и там, не то где-то поблизости, завел питомник бойцовых петухов. Последнее достоверное сообщение о дяде мы получили три года назад.

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Перевод с литовского Н. Горбаневской

МУЗЕЙ В ХОБАРТЕ

Необитаемая сторона.
Глухой базальт и маятник прибора.
Точней, судьбой была пощажена
туземцев горстка, спасшись от убоя,
– и что? И память их занесена
песком на полуострове. Без боя,

голодные и голые. Поэт
невольно отмечает: на пределе,
без прошлого, почти без слов. (Скелет
запрошлый год еще стоял в отделе,
но и его сожгли – обряд ли, нет?
не попросту ли место приглядели?)

Но место пусто не бывает. В щель,
в просвет валит, гудя, земная тяга.
Возобновили ход вещей отсель
воришка, живописец и бродяга,
не чересчур преступная артель
карманного британского гулага

– с тех пор затоплен он небытием.
Здесь нынче мирно, как нигде на свете.
Что было – было. Поросло быльем.
И покаянный голос на кассете.
С экрана непугающим копьём
грозит дикарь, из глубины столетий

вернувшийся: ни терния, ни ран
на низком лбу. Сегодня попеченью
правительства и мертвый был бы рад.
Приток словес к иссохшему теченью
их языка – запел бы, заиграл,
заговорил. Да не о чем, к смущенью.

О том ли, что линейный ход времен
и мир, и тюрьмы только улучшает?
За казино, за молом перезвон
колоколов на яхтах обещает
затишье. Кто затишьем восхищен,
ни Господу билет не возвращает,

ни авиакомпании. Белы,
безлики лики вымерших. В стеклянной
небьющейся витрине кандалы.
История, как грошик оловянный,
истерлась. Антарктические мглы
залив залили и хребет туманный.

Топор у корня. Камень у корней.
Уже не братья, но еще соседи,
мы там, где время времени длинней,
где тлеют снимки, блекнут буки-веди,
но вопиет в витрине меж камней
обрубок слога, пепел, горстка меди.

Что есть забвенье? Меркнет след росы,
молчит ручей, фонарь шатает ветром,
над космосом ничейной полосы
отчаянье мерцает слабым светом.
Песчаник, пристань, полночь, бьют часы.
Чертеж дождя по плитам и по веткам.

* *
*

Как поздно открываются кафе,
И как свежа печать сырой газеты!
Борис Пастернак

Пустой Париж посередине лета.
Совсем не отвечают телефоны
Или бормочут шепотом истошным,
Что изменился прошлогодний номер,
И запись повторяется сначала,
Не сообщая обновленный шифр.
Пожалуй, ты и так немало знаешь;
К примеру, для тебя совсем не тайна,
Что за углом ветшает Place des Vosges,
Крылатый гений во дворе, балконы,
Подпертые расшатанные своды,
Как за Вилией. Сонный работяга
Колотит в мостовую долотом.
В нагретом небе ласточка рисует
Лицо, которое удержит память
Не дольше, чем иные лица. Слышен
Мотора кашель, лязг и перебранка.

Теплы, как соты, набережной камни.
На тротуарах облачка акаций.
А облака – что просека. Безумна
Tour Montparnasse. И наступивший полдень
На самом деле мог не наступить.

«Тебе, насколько помню, причиталась
Другая пустошь, дорасти до коей
Ты не успел».

И колокол над Сенной –
Как эхо затихающих шагов.

«Найдем ли мы, о чем поговорить?
Эти кафе и этот пух парящий
Ты узнавал, ни разу не выдавши.
Теперь они, наверно, дар бесцельный.
Ты – на одном из белых пятен карты
И вне календаря».

А серый профиль
Нотр-Дама ближе, чем я ожидал:
К воде склоняясь, под ногами вижу,
Как подплывает он ко мне, расставшись
С самим собором.

«Знаю, ты стараний
Не оставляешь. Но что толку? Здесь
Акустика иная».

Я ошибся,
И это не Нотр-Дам.

«Да вскоре, кстати,
И сам ты переменишься. Каштаны,
Молчанье телефонов, звуки улиц
Преобразят тебя. Сначала, знаю,
Ты все испробуешь, потом устанешь.
Бараки на болотах, воронки,
Солончаки, колючка, скрип сапог –
Петитом станут на листе газетном,
На миг в сознание вспыхнут и угаснут,
Намного нереальней, чем ты сам,
Хотя и ты не чересчур реален».

Бастилия, желток большого солнца.
Видать, я шел против течения.

«Слушай,
Еще одно: надежды не бывает,
Бывает – что-то больше, чем надежда».

БЕРЛИНСКОЕ МЕТРО. HALLESCHES TOR

Над Европой зима. И асфальт бесконечных полей
Ужимается, морщится, лопается, как скорлупка.
И пространство теряет тщеславие. Зимний Борей
И зимовье Берлин. И картонный вагон-душегубка.

Небо вывернуто, патрули на его мостовых,
Голубеют мигалки, заплатка украсила стену.
Ариаднин клубок не укажет дорогу из сих
Бездорожий. Европа сдается летучему снегу.

Если странствуешь годы сквозь мили, то не разберешь,
Что за берег, к которому. Иерихон или Митте –
Всё одно: города перестроены, и ни на грош
Гласа трубного – трудолюбивы и немые термиты.

Обернись и на завтра взгляни из вчера. Косогор.
Кто чернеет на грязном снегу у рогатки бетонной?
Тот, кому не видать, как ползет мимо Hallesches Tor,
Возвращаясь из позанигде, мой вагончик картонный.

* *
 *

В духоте, где обрывом чужой материк,
Не мгновенно меняются сны,
И уже только после сдается язык:
Он не вечен, слова неверны.

Не схоронится в речи сосновая темь,
Черноликий осенний овраг
И над влажной равниною смертная тень
Ледника в приоткрытых дверях.

За развязкой уходят ко дну голоса,
И пространство неправдой полно,
И всю ночь, часовые сорвав пояса,
В чье-то тело глядишь, как в окно.

Чьей-то крови биение слушаешь, где
Ты и сам как на зеркале след,
Ни на водах Вилии, ни в невской воде
Не расплещется твой силуэт.

* *
*

у огня у огня у огня у огня у огня
где пространство уходит и время уводит с собою
обожги мою душу и выжги во мне не-меня
чтоб великое пусто пройдя неземною судьбою
стало искрой пылинкою и угольком у огня

на воде на воде на воде на воде на воде
под имперскими сводами полными эха и хлада
где качаются восемь мостов в половодье и где
ты меня бережешь на мгновение полураспада
не узнай не заметь тень лица моего на воде

под землей под землей под землей под землей под землей
где крошится гранит и беззвучный ручей протекает
между зеленью блеклой и зреющей белой зимой
плоть становится прахом и прах в никогда иссыхает
пустота льется из никогда в никогда под землей

в темноте в темноте в темноте в темноте в темноте
разрежается воздух и веет материей пыльной
и всё к смерти готово когда на незримом листе
появляются буквы отчетливой строчкой чернильной
вот в этой темноте вот в этой слепоте

ШОРНИК

Перевод с испанского А. Алмазова

Нуньес плел сбрую, как Бах творил музыку, как Гойя писал картины и как Данте создавал поэмы.

Природный гений этого шорника вел его по прямому пути, и всю жизнь его помыслы были посвящены только искусству.

На его долю выпала извечная трагедия великих людей. Произведения искусства возникали в его воображении и появлялись на свет в муках, как это предугазано свыше. В наследство ученикам достались образцы его творчества, которым можно следовать на тысячу ладов, но он унес в могилу свою тайну, и ее не могли раскрыть даже его пророки, глубже других проникшие в тайны его мастерства.

Все началось с пуговиц, которые изготавливал старик Никасио, размачивая во рту сыромятные ремешки, пока они не становились скользкими. Затем Нуньес стал брать уроки более высокого уровня.

Он смотрел на работу учителя, не задавая вопросов, усваивая с прожорливой жадностью различные приемы работы, а в это время в его уме громоздилась вавилонская башня новаторства, стремящаяся возвыситься над мастерством, которое художник может перенять от других.

Овладев необходимыми техническими приемами, Нуньес решил претворить свои сокровенные мечты в действительность. В свободные минуты он запирался в своей комнате и трудился под покровом тайны. Во время съесты*, когда все другие отдыхали, он начал ра-

* Съеста – послеобеденный сон. – Пер.

боту над сложной системой пуговиц и плетеных ремешков, которая покоряла своей простотой.

Он задумал недоуздок в собственной манере, который должен был оказаться сложным и в то же время быть прозрачным, как ньяндути*. К обычным декоративным мотивам Нуньес решил присоединить плод собственного вдохновения – деревья и животных.

По многим причинам работа подвигалась медленно: выработка ремешков, тонких, как волос, требовала много времени, а у Нуньеса не часто бывали свободные минутки; товарищи подпускали ему шпильки, а он избегал шуток, как дурных шпор, которые раздражают лошадь и часто ведут к губельной развязке.

– Что бы это Нуньес делал в своей комнате? Что это он так часто сидит взаперти?

Эти разговоры любопытных пеонов** дошли до владельца усадьбы, и он тоже захотел узнать, в чем было дело.

Он вошел в комнату неожиданно, и Нуньес до такой степени был поглощен в созерцание сложной пунаницы тонких полосок кожи, что хозяин ушел незамеченным.

После съесты он вызвал к себе пеона и с иронической усмешкой велел починить несколько уздечек. Нужно было сделать несколько пуговиц по образцу, оставленному уже умершим шорником, искусство которого считалось неподражаемым.

На другой день заказ был выполнен. По сравнению с работой Нуньеса, прежние образцы казались ученическим упражнением.

Это было событие.

Слава шорника распространялась по округе, как кусок сала расплзается по горячей сковороде.

* Ньяндути – вид чрезвычайно тонкой ткани. – *Пер.*

** Пеон (в Аргентине) – поденщик, чернорабочий, наемный сельскохозяйственный рабочий. – *Пер.*

Приходили кучи заказов, и чтобы выполнить их, Нуньесу пришлось оставить всякую другую работу. Теперь он целый день был занят шорным делом, так что ему не оставалось времени, чтобы оглянуться и пожалеть или порадоваться происшедшей перемене.

Прошло несколько месяцев, и чтобы выполнять требования заказчиков, он должен был переехать из усадьбы в соседний город, где он завел себе домик, удовлетворявший скромным потребностям рабочего человека.

Он непрестанно совершенствовал свое искусство, и несмотря на это, казалось, что какая-то печаль омрачает его славу.

Никто не пользовался таким всеобщим восхищением.

Говорили, что Нуньес мог сплести из сыромятных ремней такой тонкий, мягкий и гибкий плащ, как если бы он был сделан из самой лучшей шерсти викуньи*. Совершенство пуговиц его работы вызывало подозрение в колдовстве; его швы были абсолютно невидимы. Хлысты его изготовления принесли ему новую славу.

Болванка для растягивания сыромятных ремней превратилась в часть его кулака; нож стал отростком искусных пальцев. Тончайшие ремешки легко скользили, извиваясь между лезвием ножа и большим пальцем, по мере того, как они отделялись от куска кожи.

Любое шило так ловко сидело в углублении его ладони, как будто она была сделана по мерке для головок самых разнообразных форм и размеров.

Он смачивал ремешки слюной, долго водя их между губами; затем тер их о тупой край лезвия, пока они не становились гибкими и нервущимися.

Ходили слухи, что у него была редкостная пегая кобыла, которая каждый год приносила ему двух жере-

* Викунья (вигонь) – порода ламы, отличающаяся особенно мягкой шерстью. – Пер.

бят: светлого и вороного. Он резал их, когда им было по три месяца, вырезал из их шкур черные и белые ремешки и сплетал их в нескончаемых мудреных комбинациях, никогда не повторявшихся.

За сорок лет работы он вложил в свой труд столько таланта, что ни один заказчик не остался неудовлетворенным.

Он зарабатывал большие деньги, стал баловнем местных богачей, но в его взгляде всегда мелькала скрытая печаль.

К старости зрение стало ему изменять, и он не мог уже работать больше четырех часов в день. Если он пытался пересилить себя, то ремешки выходили неровными.

И тогда Нуньес оставил свое ремесло.

Бедняга, почти дряхлый, мог наконец располагать своим временем по собственному желанию.

Он ни за что на свете не хотел еще раз притронуться к сырмятной коже и избегал всяких разговоров о своем искусстве, пока вдруг не впал в детство.

Эта беда постигла его, когда, прибираясь в шкафу, он неожиданно наткнулся на недоуздок, начатый им в молодости. С этой минуты старик потерял голову; он прижал к груди заплесневевшие ремни и – забыв свое решение никогда больше не работать – снова вернулся к делу, начатому пятьдесят лет тому назад.

Он не отрывался от него ни на минуту, не обращая внимания на свои больные глаза и на судороги, которые сводили его тело, отвыкшее от согнутого положения.

Смерть застигла дону Крисанто Нуньеса, когда он все ниже и ниже склонялся над своей работой, захваченный необоримым порывом.

Его нашли уже окоченевшим, согнутым вдвое, и никто не смог освободить недоуздок, прижатый к груди, как щипцами, его окостенелыми пальцами. Пришлось так и положить его в гроб.

Друзья, родственники, поклонники его таланта пришли проститься с покойным, и все говорили об этом жесте отчаяния, которым он стиснул недоконченную работу.

Кто-то сказал, что этот недоуздок был самым прекрасным его творением, и предложил отрезать старику пальцы, чтобы не погребать вместе с ним это чудо искусства.

Все возмутились: «Отрезать пальцы Нуньеса, божественные пальцы Нуньеса?»

Этот трагический порыв, заставивший старика впиться пальцами в свое первое и последнее творение, оставил по себе воспоминание, как о чем-то необычайном и необъяснимом. Хотел ли он скрыть от людей работу, потому что считал ее неудачной?

Был ли это жест нежности?

Или, может быть, просто стыдливость художника, который хочет похоронить с собой самое дорогое из своих произведений?

ГУИРАЛЬДЕС Рикардо (1886 – 1927) – аргентинский писатель, широко известный во всех странах испанского языка, в особенности благодаря повести из жизни гаучо (тамошних пастухов) «Дон Сегундо Сомбра». К жизни гаучо обратился снова в конце творческого пути – раньше был эстетом. Первый же сборник 1915 года – это «Рассказы о крови и смерти», среди которых и тот, который мы публикуем.

Переводчик, Алексей Ардалионович А л м а з о в – кончил в 1939 г. Ленинградский университет, был испанистом. Принадлежит ко второй эмиграции. Профессорствовал в Аргентине, потом в США, сейчас на пенсии в Вашингтоне. Литературовед, лингвист.

Россия и действительность

Александр Зиновьев

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ

Статья первая

Диссидентский период оппозиционного движения в Советском Союзе закончился. Настало время извлечь из него какие-то уроки и подумать о будущем. В этой статье я намерен изложить мою точку зрения по этому поводу. Я ни в какой мере не претендую на то, что она является единственно возможной, и не рассчитываю на более или менее широкое одобрение. Я намерен это сделать по той простой причине, что оппозиция к советскому обществу с юности была основным содержанием и основным делом моей жизни и перспективы оппозиционной борьбы в этом обществе меня, естественно, глубоко волнуют.

* * *

На Западе советскими диссидентами называли и до сих пор называют всех тех, кто по каким-то причинам вступает в конфликт с советским общественным строем, его идеологией и системой власти, подвергаясь за это каким-то наказаниям. Тем самым в одну кучу сваливаются различные формы оппозиции и протеста: и националистов, и религиозных сектантов, и желающих эмигрировать, и террористов, и политических бунтарей, и жаждущих мирового простора деятелей культуры, и пускающих свои сочинения в «самиздат» писателей. Само слово «диссиденты» переводится на русский язык как «инакомыслящие». Это слово очень удобно для средств массовой информации на Западе и для всех тех, кто как-то связан с советскими делами и заинтересован в них. Оно избавляет от необходимости серьезно изучать советское общество. Достаточно отнести каких-то советских людей к категории дисси-

дентов, как все мгновенно становится вроде бы ясным: это – исключительные личности, которые не принимают ужасный советский «режим» и героически борются против него.

Но уже само слово «инакомыслящие» бессмысленно в применении к советским людям. Мыслить иначе – в сравнении с чем и с кем? В сравнении с советскими партийными работниками? В таком случае надо миллионы советских людей, служащих надежной опорой «режима», зачислить в «инакомыслящие». Таких «инакомыслящих» можно в изобилии найти в любом советском учреждении, начиная от артели детских игрушек и кончая аппаратом ЦК КПСС и КГБ.

Диссидентами в Советском Союзе называли не всех, вступающих в конфликт с обществом, идеологией и властями, а лишь определенную часть оппозиционеров такого рода. Даже на Западе не причисляют к диссидентам лейтенанта Ильина, совершившего попытку покушения на Брежнева. Правда, делают это, вообще замалчивая факт покушения, нарушающий общую гармоничную картину диссидентства как невинных жертв жестокого режима. Да и сами диссиденты возмутились бы, если бы поступок Ильина записали в их актив. Диссиденты хотя и действовали вне советских учреждений, все же стремились действовать в рамках советской законности, используя двусмысленность и неопределенность советского законодательства. Один из основателей диссидентского движения Александр Есенин-Вольпин вышел однажды на улицу с лозунгом «Соблюдайте советскую Конституцию!». В 1983 году в Советском Союзе осудили Андрея Шилкова, который на суде признал свою деятельность нарушением советских законов. Он заявил, что сознательно стремился дискредитировать советский общественный строй, представителей власти и идеологию, поскольку считает их далеко не совершенными и справедливыми. Относить этого человека к числу диссидентов было бы по меньшей мере несправедливо по отношению как к диссидентам, так и к самому Шилкову.

Диссидентское движение возникло на основе мощного антисталинистского и либерального движения в стране, охватившего сотни тысяч людей в послевоенные и в особенности в хрущевские годы. Оно явилось результатом исключительного стечения обстоятельств, главными из которых были растерянность советской системы власти после хрущевского «переворота», слишком далеко зашедшая инерция десталинизации,

уничтожение «железного занавеса», неслыханные до этого масштабы соприкосновения советского общества с Западом, мощнейшая идеологическая атака Запада на советское общество и поддержка Западом определенного рода оппозиционных явлений в стране.

* * *

Диссидентское движение оказало огромное влияние на развитие оппозиционных настроений в стране и в течение многих лет было предметом тревог для советского руководства и его карательных органов. Не случайно потому советское руководство приложило огромные усилия, чтобы разгромить его. Разгром диссидентского движения есть результат усилий не только КГБ, которое в течение пятнадцати лет возглавлял «либерал» Юрий Андропов, но и бесчисленных партийных чиновников, начиная от самого низшего уровня первичных партийных организаций и кончая членами Политбюро ЦК КПСС, а также всех партийных и государственных органов, всего идеологического и пропагандистского аппарата. Разгром диссидентского движения означает не просто расправу с отдельными «отщепенцами» советского общества, «подпавшими под тлетворное влияние Запада» (это официальная советская терминология), а прежде всего разрушение социальной базы, порождавшей таких «отщепенцев», питавшей их идеями и дававшей им моральную и материальную поддержку.

В разрушении этой социальной базы диссидентства огромную роль сыграли те «молодые», «образованные», «инициативные» и «прагматичные» (такими добродетелями их наградили западные средства массовой информации) партийные и государственные карьеристы, составляющие ядро и опору нынешнего горбачевского руководства. Покорившие наивных западных энтузиастов улыбка, вкрадчивый голос и несколько фраз на ломаном английском Михаила Горбачева скрывали на самом деле злобную гримасу, грубый окрик и мутный поток партийной демагогии сотен тысяч корыстолюбивых и тщеславных начальников и начальничков, готовых разорвать в клочья всякие попытки более или менее массовой оппозиции в Советском Союзе. Всемерную поддержку совет-

скому руководству в деле разгрома диссидентского движения и разрушения его социальной базы оказал холуйствующий перед ним советский народ, который порою опережал в этом сами карательные органы и проявлял стремление к более радикальным мерам расправы, так что порою карательным органам приходилось сдерживать инициативу масс снизу.

В своей кропотливой и многолетней работе по разгрому диссидентского движения советское руководство использовало богатейший арсенал средств, включая провокации, клевету, медицину, шантаж, лицемерие, показной «либерализм» и т. п. Свою роль в этом сыграли и опереточные «оппозиционеры» (вроде поэта Евтушенко), и «здравомыслящие прагматики» (вроде партийного функционера в сфере науки Ю. Арбатова), и дозволенные «критики режима» (начиная от писателей вроде Ч. Айтматова и кончая партийным руководителем Москвы Ельциным). Советское руководство поставило себе на службу и ту часть советской интеллигенции, которая ранее находилась в кажущейся или неглубокой оппозиции к советскому «режиму», играла в оппозицию без особого риска для себя и даже извлекая из этого пользу. Эта часть интеллигенции встала на путь сотрудничества с новым руководством, забыв о том, какую роль растущие кадры этого руководства сыграли в создании «бездиссидентской зоны» в подведомственных им районах, областях, учреждениях. Советская фрондирующая интеллигенция фактически встала на путь предательства всего того, что зародилось в хрущевские годы и в ничтожной мере проросло в годы брежневского руководства.

Советские власти и их добровольные холуи до такой степени замутили и загрязнили интеллектуальную и моральную атмосферу вокруг советской оппозиции, особенно в советской эмиграции на Западе и в западных средствах массовой информации, что теперь даже знатоки не могут отличить искреннюю оппозицию к советскому социальному строю и его проявлениям от кагебешных операций, имеющих целью задуть эту оппозицию в зародыше и лишить ее поддержки на Западе, если ей как-то удастся выжить.

Не следует думать, будто все советское население с энтузиазмом относилось к диссидентам и поддерживало их по крайней мере морально. Даже в среде тех советских людей, которые были критически настроены к своему обществу, доминировало раздражение по адресу диссидентов и даже неприязнь.

Диссидентское движение, несмотря ни на что, воспринималось ими как продукт не столько внутренней эволюции страны, сколько влияния и усилий Запада. Хотя многие диссиденты пострадали, диссидентскую оппозицию большинство советских людей рассматривало как оппозицию с выгодой, как бизнес за счет недостатков советской жизни и страданий народа. Диссидентское движение рассматривалось ими как западное явление в советском обществе, питающееся идеями Запада и ориентированное на сенсации в западной прессе. Для русских людей, встающих на путь конфликта со своим обществом, всякий социальный протест означает потери, жертвы, в конечном счете – гибель. Для них исключены контакты с западными людьми. Об эмиграции на Запад они и не помышляют. С их точки зрения, Запад через диссидентов стремился навязать русским людям ложное понимание их истории и их общества, чуждые им цели и методы борьбы. Спровоцировав диссидентское движение, думали они, Запад внес в советское оппозиционное социальное движение практический расчет, тщеславие и корысть. На Западе обращают внимание только на такие явления социального протеста, которые служат эгоистическим целям каких-то людей на Западе.

Само диссидентское движение исчерпало себя внутренне, так и не пустив никаких корней в умы и души более или менее широких слоев населения. Оно не породило никаких глубоких и захватывающих идей, ограничившись занесением в советскую среду чужеродных ей западных лозунгов насчет прав человека и демократических свобод. Большинство активных диссидентов оказалось на Западе. Этим самым они углубили пропасть между оппозиционерами и массой населения. Даже в среде тех, кто ранее сочувствовал диссидентам, раздражение по отношению к диссидентам и разочарование в них пересилило слабое, робкое и часто двуличное сочувствие.

Диссидентское движение ушло в прошлое навсегда. Оно явилось продуктом уникального стечения множества исторических обстоятельств, повторение которого в Советском Союзе практически исключено в обозримом будущем. Советское общество преодолело обстановку растерянности хрущевского периода и обстановку распущенности брежневского периода. Оно вступило в новую фазу укрепления своей военной мощи, требующей казарменной монолитности населения.

Но самый печальный урок закончившегося периода советской истории состоит в том, что обнаружилась с полной очевидностью социальная пассивность широких масс населения во всем, что касается поддержки оппозиционных настроений и тем более действий в стране. Широкие массы населения не оказали и, очевидно, еще долгое время не будут оказывать поддержку тем, кто так или иначе вступает в конфликт с советской социальной системой и восстает против нее. Эта социальная пассивность населения объясняется вовсе не тем, что людей оболванили идеологически и запугали (хотя и это имеет место), а прежде всего самими объективными условиями жизни и деятельности советских людей. Советский народ чувствует и осознает недостатки своей социальной системы и своего образа жизни не хуже, чем критики советского «режима» и западные мудрецы, жаждущие раскрыть глаза советскому народу на его же собственную реальность. И достоинства западного образа жизни советские люди знают достаточно хорошо. Они даже идеализируют западный образ жизни, поскольку видят его очевидные блага, но не видят того, какой ценой эти блага приобретаются. Дело в том, что советское общество в самом своем фундаменте организовано так, что массы людей находятся почти в стопроцентной зависимости от власти их собственных коллективов, а также от всеобъемлющей и всепроникающей системы управления и контроля. Советское общество еще очень молодо с исторической точки зрения. Оно еще не раскололось на замкнутые и наследственные слои с противоположными интересами. Выходцы из низших слоев населения еще имеют возможность подниматься в средние и высшие слои. Система власти и управления еще до сих пор пополняется выходцами из низших слоев. Социальная структура советского общества еще не обнаружила себя с полной очевидностью для широких масс населения. Кроме того, сама эта структура такова, что одновременно с ее кристаллизацией развиваются средства ее маскировки. Чем глубже и чем устойчивее становится распадение общества на слои с неравными условиями жизни, тем сильнее становятся социальные явления, скрывающие факт социального и экономического неравенства людей и факт эксплуатации одних людей другими.

В советских условиях всякий прогресс возможен лишь путем реформ сверху. Давление широких слоев населения на руководство снизу осуществляется в формах, ничего общего не имеющих с диссидентской оппозицией. Оно происходит внутри официальных учреждений и предприятий и даже внутри партийных организаций, лишь постепенно достигая более высоких инстанций и немного изменяя ситуацию в системе руководства, состоящей из многих миллионов людей. Если бы советские люди на все сто процентов разделяли мысли и намерения оппозиционеров, это все равно не изменило бы общее состояние страны. Изменения в таком гигантском социальном организме, каким является советское общество, зависят не от того, что думают об этом обществе и что хотят делать отдельные индивиды, а от того, каковы потребности и возможности самой формы организации миллионов людей в единое целое. Даже многотысячная армия не обладает такой свободой передвижения, какой обладает отдельный солдат. Тем более ограничено в своих возможностях многомиллионное общество с неизмеримо более сложной структурой.

* * *

Итак, наступило оппозиционное затишье. Ожидать нового подъема оппозиции в ближайшие годы бессмысленно. Нужно накопление в стране оппозиционных настроений и лиц, способных их выразить. Нужны чрезвычайные исторические обстоятельства, чтобы произошел новый оппозиционный взрыв. Серьезную оппозиционную вспышку в Советском Союзе невозможно вызвать искусственными мерами и средствами пропаганды извне, если в стране не вызреют благоприятные условия для этого. И снова перед русскими людьми, которые не хотят сотрудничать с властями и не хотят мириться с условиями жизни в коммунистическом обществе, встает проблема: а что дальше?

Как бы это ни было прискорбно признать, но ответ на этот вопрос напрашивается такой: речь может идти не о продолжении чего-то уже сделанного, а о том, чтобы снова начинать с нуля. Так что правильно поставленный вопрос должен выглядеть так: с чего начинать? Надо начинать, но начинать

иначе, чем раньше, чтобы те, кто придет нам на смену, смогли бы продолжить начатое нами и с полным правом употребить слово «дальше».

Оппозиционное движение в советском обществе не заканчивается с диссидентским движением. Коммунистическое общество не устраняет и в принципе не может устранить материальное и социальное неравенство людей, эксплуатацию одних групп людей другими, насилие одних групп людей над другими и все те несправедливости, которые порождают недовольство значительной части населения самими основами коммунистического социального строя. Коммунизм лишь меняет исторические формы того, что порождает недовольство и протест. Все это остается постоянным спутником коммунизма. Коммунизм по самой своей природе обречен жить с этими «язвами». И никакая власть не способна устранить их. Самое большее, что способна сделать власть, это несколько сгладить социальные контрасты и замаскировать их, ослабить неизбежные социальные конфликты, подавить недовольство и протесты, удерживать пороки системы в терпимых рамках, пресекать крайности их проявления. Любая власть в коммунистическом обществе имеет своей принудительной задачей сохранение и укрепление существующего социального строя, охрану положения и интересов господствующих и привилегированных слоев населения, удовлетворение потребностей низших и средних слоев лишь в той мере, в какой это необходимо для самосохранения общества. Это одна из азбучных истин истории, которую в наше время игнорируют почти все.

Коммунистическое общество имеет чрезвычайно сложную социальную структуру. Но сам процесс жизни производит тут своеобразное упрощение. Он разделяет людей на тех, кого этот социальный слой в общем и целом устраивает, и на тех, у кого он вызывает недовольство и протест. Это разделение не есть нечто раз и навсегда данное. Это живой процесс, в котором нет и не может быть четко установленных форм и границ. Однако – в нем так или иначе пробивают себе дорогу определенные тенденции. Одной из них является тенденция к расколу общества на части с различной идеологией, с различной системой ценностей, с различными критериями подхода ко всем жизненно важным явлениям. Эту тенденцию можно заметить уже сейчас. Одна из важнейших задач тех, для кого дело оппозиции станет делом их жизни, будет заключаться в том, чтобы

прояснить социальную ситуацию в стране для широких слоев населения, в том числе – прояснить факт раскола населения на материально и социально неравноправные группы.

Но чтобы прояснить социальную ситуацию в стране для сравнительно большого числа людей, которые могли бы стать питательной средой для будущего оппозиционного движения, необходимо выработать особую оппозиционную идеологию со своей системой ценностей, со своей системой критериев подхода ко всем жизненно важным явлениям и событиям в мире. Эта идеология должна принципиально отличаться от официальной советской идеологии, чтобы это отличие было очевидно всем, и чтобы власти не могли ничего заимствовать из нее в целях борьбы против оппозиции и введения в заблуждение общественного мнения, как они это сделали сейчас в отношении некоторых идей разгромленного ими диссидентского движения. Без особой оппозиционной идеологии, передаваемой из поколения в поколение, ни о какой серьезной оппозиции в коммунистическом обществе и речи быть не может.

Всякая идеология создается для людей, которые принимают ее и становятся ее носителями. Это имеет силу и для оппозиционной идеологии. Это значит, что ее надо создавать с таким расчетом, чтобы она стала приемлемой для определенных слоев общества, чтобы она стала для них своей без всякого принуждения. Эта идеология должна соответствовать условиям жизни этих людей, их интересам, их менталитету. Сознательный процесс создания такой идеологии немногими специалистами, решившими сделать это своим призванием, должен идти навстречу стихийному процессу формирования идеологии как особого состояния сознания этих слоев населения. Здесь идеология как учение должно приспособливаться к идеологии как к «повороту мозгов», который образуется у людей в их жизненной практике. Кроме того, идеологическое учение надо распространять в массе населения, пропагандировать, разъяснять. Это задача большого исторического масштаба. На это нужны усилия нескольких поколений энтузиастов даже при условии, что учение уже создано.

Создание и распространение оппозиционной идеологии должно способствовать образованию в стране устойчивой среды, для которой оппозиционные умонастроения стали бы нормальным и привычным образом жизни. В хрущевские и брежневские годы такой средой для диссидентского движения отчасти стали антисталинисты и либералы. Эта среда уже исчерпала себя. Теперь лишь отдельные проходимцы еще могут позволить себе наживаться на антисталинистской демагогии и на показном либерализме. Для серьезной оппозиции этого слишком мало. Нужна среда потенциальной оппозиции не как временное и конъюнктурное явление, а как постоянный фактор нормальной жизни общества. Причем это должен быть такой фактор, который нельзя было бы уничтожить с помощью карательных органов и приручить с помощью подачек и обмана.

Сказанное выше не есть лишь благое пожелание. Это есть реальная возможность. Во всяком развитом обществе какие-то категории граждан так или иначе вынуждаются на роль оппозиции, воспроизводящейся из поколения в поколение. Коммунистическое общество не есть исключение на этот счет. Изображение этого общества как общества всеобщего братства и единодушия есть марксистская сказка. Социальные противоречия тут столь же неизбежны, как и в любом другом типе общественного устройства. Проблема состоит в том, чтобы выявить именно те слои населения, которые обречены на перманентную оппозицию к самому социальному строю, и найти к ним доступ.

Я уже писал о том, что устойчивая и преемственная оппозиция в Советском Союзе возможна лишь как оппозиция социальная, т. е. как оппозиция к социальному строю страны (см. «Континент», № 44, 1985). Не хочу здесь повторяться. Ограничусь лишь замечанием относительно национализма. Социальная оппозиция отвергает всякий национализм. Какое бы значение ни придавали национализму на Западе, его роль в развитии оппозиционных умонастроений в коммунистической стране является чисто негативной. Национализм удобен национальному начальству, поскольку позволяет вину за недостатки свалить, допустим, на русских. Тот факт, что причины

недостатков кроются в самой коммунистической системе, остается скрытым. Высшим властям тоже предпочтительнее направить недовольство по ложному пути, так как с национализмом легче бороться, чем с протестом социальным. В условиях коммунизма национализм есть явление, уходящее в прошлое. Социальная оппозиция должна ориентироваться на то, что приходит из будущего. Нечто аналогичное можно сказать и о религиозной форме протеста.

Коммунистическое общество обладает одной особенностью, которая благоприятна для образования устойчивой среды именно для социальной оппозиции: здесь складывается многочисленный слой образованных и профессионально подготовленных людей, являющихся постоянными служащими государства. Они имеют гарантированную работу. Условия их работы сравнительно легкие. У них остается много времени и сил на свободную интеллектуальную жизнь. Им гарантирована по крайней мере минимальная заработная плата. Они независимы друг от друга материально. Поскольку многие из них довольствуются достигнутым положением на иерархической лестнице, они оказываются взаимно независимыми и в социальном отношении. Благодаря этому складывается сравнительно свободная и некарьеристская общность людей, имеющих высокий образовательный уровень, свободное время и склонность к размышлениям на социальные темы.

Такой слой уже сейчас является очень многочисленным в Советском Союзе. Я не употребляю здесь слово «интеллигенция», так как оно утратило смысл социологического понятия, как и слова «рабочий класс» и «крестьянство». Эти слова фигурируют в официальной советской идеологии, чтобы замаскировать фактическое расслоение населения на иные категории, более важные для понимания сущности реального коммунизма.

Слой населения, о которых идет речь, складывается независимо от национальных различий людей. Роль последних в них ничтожна. Поощрение и тем более искусственное возбуждение национализма не может остановить процесс их консолидации. Надежды на Западе на развал некоей мифической советской «империи» за счет роста национализма лишены серьезных оснований. Чтобы развалить империю, нужно иметь по крайней мере империю. А Советский Союз так же

мало общего имеет с настоящей империей, как КПСС с настоящей политической партией. Не всякое объединение народов и стран есть империя, каким бы плохим это объединение ни было.

* *
* *

При разработке идеологии социальной оппозиции важно принимать во внимание ту роль, какую играет Запад в жизни советского общества. Было бы несправедливо игнорировать то, что Запад сыграл огромную роль в создании оппозиционной вспышки в Советском Союзе в хрущевские и брежневские годы. И в будущем «тлетворное влияние Запада» будет там ощущаться. Но было бы преступно закрывать глаза на негативные стороны влияния Запада на советскую оппозицию. Поощряя, например, советских диссидентов к эмиграции на Запад, Запад добился того, что масса диссидентов и тех, кто их поддерживал, были выброшены на Запад. Это нанесло самый большой ущерб движению. Запад, далее, поощрил и пробудил националистические движения и религиозное сектантство. Вследствие всего этого оппозиционное движение приняло поверхностный характер, стало раздробленным и поверхностным. Угождая требованиям Запада, отдельные бывшие диссиденты стали на путь сотрудничества с советскими властями. Упадок диссидентства был следствием не только репрессий со стороны властей, но и политики Запада в отношении к нему.

Разумеется, Запад не однороден. Но он соприкасается с советским населением не всей массой своих граждан, а лишь определенной ее частью. Для советских людей Запад представлен журналистами, дипломатами, сотрудниками секретных служб, радиостанциями, ведущими пропаганду, советологами, кремленологами и другими лицами, которые в совокупности выражают реакцию Запада как целого на события в советском обществе, совершенно не отражающую реальную социальную структуру западного общества. Кроме того, массы населения Запада воспитаны так и находятся под таким влиянием средств массовой информации, что социальное расслоение населения западных стран вообще не играет никакой роли с точки зрения отношения Запада к внутренней жизни

советского общества. Общественное мнение Запада уже невозможно поколебать никаким здравым смыслом и тем более никакой наукой о реальном коммунизме. Запад еще может оказать поддержку социальной оппозиции как место, куда отдельные деятели оппозиции будут скрываться от властей для теоретической работы и откуда они смогут хотя бы в ничтожной мере вести пропаганду своих идей. Но и эти возможности не следует преувеличивать. Советские власти разрешают ездить на Запад лишь своим холуям, прославляющим их «либерализм». А на пропаганду идей социальной оппозиции на Западе накладываются такие ограничения, которые не уступают советским запретам.

Людям, которые составят социальный базис будущей оппозиции, предстоит жить в своей стране из поколения в поколение. Эмиграция на Запад есть явление исторически случайное. Советские власти позволяют и будут позволять выезжать на Запад отдельным личностям, вступившим в какой-то конфликт со своим обществом. Но они не могут выбросить на Запад целые слои населения. Для людей, родившихся в коммунистическом обществе и приученных жить в нем, Запад вообще не является желанным местом постоянного жительства и образцом переустройства своего общества. Для них западный социальный строй и образ жизни не могут стать целью, ради которой стоит вступать в оппозицию к своему собственному обществу.

Одним словом, социальная оппозиция и поддерживающая ее социальная среда должны существовать для самих себя, а не для того, чтобы давать материал для западных средств массовой информации и каких-то людей на Западе, эксплуатирующих советскую тему в своих интересах. Запад видит в советской жизни лишь то, что позволяют ему видеть его собственные средства видения. Запад использует увиденное так, как это ему позволяют его собственные средства использования. Инвестируя средства и усилия в советское оппозиционное движение, Запад ожидает немедленной реакции, причем желаемой. Все это вполне естественно. Я несколько не упрекаю в этом Запад. Он поступает согласно свойствам своей природы. Я лишь хочу подчеркнуть другой аспект дела, гораздо более важный для судьбы советской оппозиции: она сначала должна выработать свои собственные качества, соответствующие ее положению в ее собственном обществе, утвердиться в этих ка-

чествах как постоянно действующий фактор советской жизни и использовать возможности, какие имеются на Западе, в своих интересах, а не быть используемой в интересах других. Оппозиция ради самой оппозиции как способа жизни определенной категории людей – это есть естественное начало исторического творчества в специфической социальной борьбе внутри коммунистического общества. Иначе – социальный застой, время от времени нарушаемый случайными и кратковременными оппозиционными вспышками. Иначе каждый раз придется начинать с нуля.

Сказанное ни в коем случае не следует истолковывать как призыв к изоляции от Запада. Такая изоляция уже в принципе невозможна. Запад стал фактором внутренней жизни советского общества. Советские люди теперь сравнивают свой жизненный уровень не с нищенскими двадцатыми и тридцатыми годами, а с уровнем стран Запада, который стал соблазном для всей планеты. Советское руководство вынуждено с этим считаться и допускать какие-то западнообразные явления в своей стране. Не будь Запада или если бы можно было опустить «железный занавес», как в сталинские годы, советская пропаганда преподнесла бы нынешнее положение в стране как вершину благополучия и демократии, подкрепляя идеологическую обработку населения массовыми репрессиями. Теперь на более или менее длительный срок это исключено. Социальная оппозиция может это использовать, обозначив факт своего существования. Сейчас складывается благоприятная ситуация именно для социальной оппозиции, а не для националистической и религиозной. На первых порах эта оппозиция может выступать в форме культурной оппозиции, которая со временем перерастет в социальную в ответ на стремление властей ограничить ее масштабы и использовать в своих пропагандистских целях.

Сложность положения социальной оппозиции состоит в том, что она становится оппозицией к своему обществу, оставаясь в нем. Соппротивление коммунизму, но в рамках самого коммунизма, – вот самая трудная проблема для серьезной оппозиции в коммунистическом обществе в современной ситуации, т. е. в ситуации, когда коммунизм еще только в начале пути, но уже обнаружил свою сущность. Коммунизм пришел в мир надолго и всерьез. Пришел с намерением устранить зло и построить людям райскую жизнь на земле. Для не-

которой категории людей возникла беспрецедентная проблема: как жить в этом коммунистическом «раю», если его «добро» вызывает у тебя протест?

В западном обществе аналогичная проблема не возникает. Там социальная оппозиция существует вполне легально и достигает силы, угрожающей самому существованию социального строя стран Запада. Там социальная оппозиция так или иначе толкает общество в том направлении, которое стало реальностью в Советском Союзе. В молодом коммунистическом обществе социальная оппозиция не может быть признана в качестве легальной политической силы. Она здесь надолго останется самым опасным врагом социального строя и будет беспощадно подавляться, причем ежеминутно и повсеместно, без шума, без сенсаций в западной прессе. Советские власти могут устроить политическую «потемкинскую деревню» с любыми формами оппозиции, одобряемыми на Западе, но никогда – с оппозицией социальной.

* *
* *

Те, кому предстоит разрабатывать идеологию для социальной оппозиции в советском обществе, не имеют в своем распоряжении никаких образцов, которым можно было бы подражать. Лозунги демократических свобод, прав человека, свободных профсоюзов, рабочего самоуправления, частной инициативы, децентрализации и т. д., выдвигавшиеся в последние десятилетия с целью неких коренных преобразований в коммунистических странах, были удобны для газетной суеты, но оказались лишенными самого элементарного здравого смысла. Горбачевское руководство, разгромив диссидентское движение, само включило их в свою демагогию, с полной очевидностью обнаружив их бессмысленность в качестве лозунгов оппозиции.

Все оппозиционные лозунги, выдвигавшиеся в Советском Союзе в годы оппозиционной вспышки, были заимствованы на Западе и не имели никаких серьезных оснований в советском обществе. Классическим образцом на этот счет может служить требование покончить с «однопартийной диктатурой» и двинуть страну по пути западнообразного плюрализма.

Нелепость этого требования состоит прежде всего в том, что советская система власти уже давно не является некоей однопартийной диктатурой. Она вообще не является партийной. Слово «партия» тут употребляется как память о прошлом и как средство маскировки по существу беспартийной системы власти. Так что в Советском Союзе можно разрешить любое число «партий», но сущность системы власти и управления от этого не изменится. Разве что усилится хаос и неразбериха и возрастет число чиновников-паразитов. Во-вторых, то, что на Западе называют плюрализмом, есть одновременное сосуществование в одном социальном пространстве множества более или менее автономных систем определенного типа. Такое сосуществование возможно не для любых типов подсистем. Если бы советское руководство вдруг приняло решение ввести в стране некий «плюрализм», из этого получилось бы только одно: раздробление единой и гомогенной системы на плохо связанные части, не способные на автономное сосуществование. Вскоре советское руководство встретило бы с колоссальным сопротивлением со стороны многомиллионного населения и уже имеющейся гигантской системы власти и управления. Более того, сами оппозиционеры в первую очередь стали бы требовать покончить с гангстерскими шайками, в которые выродились бы многочисленные «партии». В аналогичные шайки выродились бы и «свободные профсоюзы», и «рабочее самоуправление».

Все идеи, высказанные в последние три десятилетия в оппозиционно настроенных кругах, характеризуются одним общим качеством: все они требовали каких-то преобразований общества, причем преобразований незамедлительных. При этом полностью игнорировались объективные возможности для этих преобразований, их неконтролируемые негативные последствия и время, необходимое для них. Эволюционные процессы, требующие длительного исторического времени, мыслились как вневременные акции, как по волшебству молниеносно приносящие желаемый результат. Сама эта направленность идей обрекала их на бесплодность. Если преобразования, которых требует оппозиция, осуществимы в рамках коммунистического социального строя, то такая оппозиция вольно или невольно становится помощницей власти общества в его реформаторской деятельности. Если преобразования невозможны, но власть все-таки делает вид, будто

стремится к ним, такая оппозиция становится помощницей власти в ее псевдореформаторской деятельности, т. е. в обмане людей. Если власть признаёт идеи оппозиции и в какой-то мере допускает ее, это означает, что оппозиция вырождается в орудие власти в ее собственных расчетах, но отнюдь не наоборот.

В силу объективных условий и закономерностей коммунистического социального строя, серьезная и преемственная социальная оппозиция не может начаться с прагматических лозунгов, заимствованных из общества иного типа или высосанных из пальца. Она должна начаться с образования в стране жизнеспособного и неуязвимого для карательных органов частичного общества (подобщества) со своей идеологией, системой ценностей и критериев подхода к явлениям жизни, эстетикой, этикой, формой поведения, системой личных связей, отрицающих официальные явления такого рода. Многочисленные очаги такого подобщества стали стремительно возникать во многих больших городах страны. Между ними стали устанавливаться контакты. Они сыграли свою роль в поддержке диссидентского движения. Так что можно констатировать как факт наличие в самом коммунистическом обществе объективной тенденции к образованию такого подобщества, – питательной среды и опоры для социальной оппозиции. Жизнь, порождая проблемы, сама порождает и специфические средства для их решения. Надо только суметь увидеть эти средства и использовать в своих интересах. А в данном случае надо признать, что мы находимся лишь в начале долгого пути, и запастись историческим терпением. Великие исторические проблемы нельзя решить призывами диссидентов, постановлениями властей и газетными сенсациями. Для этого нужно историческое время, жизнь многих поколений людей, бескорыстные и безвестные жертвы.

* *
*

Чтобы отдельные, стихийно возникающие очаги потенциальной оппозиции стали устойчивым явлением в жизни общества и образовали то подобщество, о котором я только что говорил, требуется создание оппозиционной идеологии,

адекватной социальному положению, интересам и менталитету представителей этого потенциального подбощества. Хотя эта идеология и предназначена для сравнительно широких кругов населения, она может быть создана лишь на основе научного понимания феноменов, являющихся объектом идеологии, и в первую очередь – научного понимания коммунистического общества. Судьба оппозиционного движения в советском обществе сейчас, как никогда, зависит прежде всего от объективного научного исследования этого общества и от подготовки высококвалифицированных специалистов по теории советского общества и по приложению этой теории в сфере оппозиционного движения. Без этого создание в советском обществе глубокой, более или менее массовой, преемственной и перспективной оппозиции вообще невозможно.

Научно объективное понимание советского общества необходимо прежде всего для того, чтобы выяснить, какие слои этого общества, играющие в нем активную роль и имеющие будущее, в силу самих условий этого общества так или иначе вынуждаются на оппозицию к властям, привилегированным слоям, существующему общественному порядку. Будущее советской оппозиции зависит не от разнородных отходов общества и отдельных отщепенцев, а от этих слоев населения. Чтобы стимулировать их оппозиционные потенции, нужно изучить их объективное положение в обществе, их интеллектуальный уровень, их интересы, их способности к протесту и многое другое, без чего всякое воздействие на население страны с целью пробуждения оппозиционного движения заранее обречено на неуспех. С другой стороны, та часть советского населения, которая является потенциальной базой оппозиции, имеет сравнительно высокий образовательный и культурный уровень. Обращаться к этим людям на том интеллектуальном уровне, какой доминировал в прошедшие годы, означает просто превращаться постепенно в посмешище. Все-му свое место, время, условия. Те идеи и тот интеллектуальный багаж, которые имели место в прошедший период, уже исчерпали себя, сыграв свою историческую роль. Теперь надо смотреть в будущее, а не в прошлое.

Всякая оппозиция начинается с критики каких-то явлений жизни общества и деятельности властей и с необходимостью включает в себя такую критику. Целым ураганом критики со-

ветского общества был отмечен прошедший период оппозиционного движения. Критика различных явлений советской истории и советского образа жизни стала делом оппозиции. Советское руководство, советская идеология и пропаганда оказались в положении обороняющихся, упустили инициативу критики и контроль за нею из своих рук. Разгромив оппозицию и ее социальный базис, советские власти вернули себе право критики своего общества, считая эту критику своей прерогативой. На первых порах они пошли в этом направлении настолько далеко, что многие люди в Советском Союзе и на Западе стали усматривать в этом некую новую эпоху в советской истории. В самом деле, за такие речи, например, какие произносили советские руководители в период перед XXVII съездом КПСС и на съезде, десять лет назад осудили бы как за клевету на советское общество. А между тем суть дела тут не в некоем перевороте в сторону демократии. Советские руководители могли пойти на такую самокритику потому, что она утратила значение политической оппозиции к «режиму». Такая критика стала неопасной. А самим руководителям она принесла репутацию мужественных борцов за улучшение условий жизни в стране. Вернув себе право на критику и самокритику, советские власти ввели их в определенные идеологические рамки, отличающие ее от критики оппозиционной. Но это отличие не так-то легко увидеть без серьезного социологического анализа советского общества. Для подавляющего большинства советских людей и западных наблюдателей это отличие вообще не заметно. Советские руководители, например, признают то, что пятилетний план не был выполнен, признают факты падения трудовой дисциплины, коррупции и многое другое. Попробуйте в таких признаниях увидеть форму идеологической демагогии, соответствующую данной конкретной ситуации! Оппозиционная критика советского общества, имевшая место в недавнем прошлом, утратила свою действенную силу в этих условиях официального признания всех тех недостатков, о которых говорила оппозиция. Нужен серьезный социологический анализ советского общества, чтобы вскрыть идеологически-демагогический характер официальной советской критики и противопоставить ей научно обоснованную, качественно иную форму критики. Научный анализ советского общества обнаруживает, например, что советские планы всегда выполняются в одних отношениях и

никогда в других, что они играют в обществе совсем не ту роль, какую им приписывает идеология, что невыполнение планов в каких-то отношениях всегда компенсируется тем, что делается помимо планов и не входит ни в какие планы. Научный анализ советского общества обнаруживает, что все те недостатки, о которых говорят советские вожди, суть неизбежные следствия самой сущности коммунистической системы, что это общество до скончания века обречено жить с этими недостатками.

Оппозиционная критика советского общества имеет целью не сотрудничество с властями в деле преодоления очевидных недостатков жизни общества, а разъяснение людям причин, порождающих эти недостатки и другие недостатки, о которых власти помалкивают, разъяснение людям их положения в обществе и перспектив, выработку идей, организующих некоторые слои общества на борьбу за свои интересы. Она должна помочь тем слоям общества, которые самими условиями жизни вынуждаются на оппозиционные умонастроения и действия, выработать устойчивую оппозиционную идеологию, а со временем – формы политической организации, отвечающие их интересам, идеологии и реальным возможностям.

Разработка научного понимания общества и превращение его в оружие для создания оппозиционной идеологии есть тяжелая работа, требующая многолетних усилий, способностей, самоотверженности, терпения. Для этого мало знать факты жизни общества и иметь какой-то опыт жизни в нем. Для этого нужно специальное образование и овладение особой техникой познания. Рассчитывать на то, что большое число советских эмигрантов можно сориентировать в этом направлении и добиться с их помощью серьезных результатов, по меньшей мере наивно. Десятки тысяч людей, способных подпрыгивать на несколько сантиметров, не заставить прыгнуть общими усилиями на высоту в два метра. А тут нужны не просто массы людей с какими-то интеллектуальными способностями. Тут нужны сильные люди, способные брать интеллектуальные высоты. Таких людей надо еще профессионально подготовить, на что нужны долгие годы.

Научное понимание советского общества не может рассчитывать на массовый успех на Западе и на благосклонность средств массовой информации. И наоборот, то, что годится для сенсаций на Западе, не годится для той цели, о которой я

говору. И на пути научного подхода к советскому обществу стоит такое препятствие, как масса людей на Западе, уже вовлеченных так или иначе в советскую проблематику. Эта армия «специалистов» занимает все ключевые позиции, от которых зависит сама возможность объективно научного понимания советского общества и оценка всего происходящего там. Она влияет на общественное мнение Запада, на политиков, на средства массовой информации. У этих людей уже сложилось свое понимание социальных явлений и исторического процесса. Так же наивно рассчитывать на то, что эти люди признают свое понимание советского общества поверхностным и уже не отвечающим интересам создания в стране устойчивой оппозиционной традиции. На иное понимание они просто уже не способны. Наоборот, они прилагали и будут прилагать усилия к тому, чтобы помешать научному исследованию советского общества, видя в нем (в исследовании) угрозу своему положению. И они имеют для этого колоссальные возможности. Фактически они выполняли, выполняют и будут выполнять роль, аналогичную той, какую в Советском Союзе выполняет идеологический надзор. Тут нужно начинать буквально с нуля, имея против себя почти всё и почти всех. Будущее оппозиции в советском обществе теперь зависит не столько от стихийного стечения обстоятельств, не столько от дилетантов, волею случая вытолкнутых в оппозиционную деятельность, не столько от усилий каких-то лиц и организаций Запада, стремящихся пробудить и поддерживать оппозиционные настроения в нашей стране в соответствии со своими интересами и своими представлениями о нашей стране, сколько от профессиональной работы немногих, но хорошо и добросовестно работающих энтузиастов, для которых дело оппозиции есть дело их жизни. Наступило время, когда можно и нужно отнестись к проблемам оппозиции в нашей стране с максимальной серьезностью и с сознанием исторической ответственности за сказанное слово и сделанное дело.

Мюнхен, 10 января 1987

ОБРАЩЕНИЕ К ТРЕТЬЕЙ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Мы по разным причинам и разными путями попали в эмиграцию. По-разному сложилась наша судьба здесь. Но все же есть нечто такое, что объединяет нас в целое, независимо от нашего личного отношения к этому и порою даже вопреки нашим желаниям. Это – тот факт, что мы так или иначе восстали против нашего собственного социального строя, в котором мы выросли, сформировались как личности и прожили много лет. Наше восстание не имело заранее намеченной, единой и ясно сформулированной цели. Но оно состоялось. Это было первое в истории нашей Родины массовое восстание людей, которые явились продуктом самой коммунистической социальной системы. И как таковое оно навечно оставит след в истории нашей страны.

Наше восстание породило гнев советских властей. Они приложили титанические усилия и изворотливость, чтобы подавить его. И как бы это ни было горько сознавать, они добились успеха, а советский народ в массе своей оказался их помощником в этом деле. Нас поддержало лишь незначительное меньшинство. Советское общество исторгло нас из себя, лишило нас Родины, выкорчевало наши корни в ней и свело к ничтожному минимуму наше влияние в ней.

Теперь советские власти развернули новую кампанию, фактическая цель которой состоит в том, чтобы дискредитировать сам факт нашего восстания, сделать так, как будто вообще не было никакого восстания большого исторического масштаба, а были лишь отдельные личные заблуждения и вражеские вылазки. Советские власти в этой кампании используют разнообразный арсенал средств, включая и бессовестное присвоение того, что было высказано и сделано участниками нашего восстания. Разгромив наше восстание и уверившись в прочности своего социального строя и своего привилегированного положения в нем, советские власти устроили своего рода политическую «потемкинскую деревню» в стране и развернули беспрецедентную кампанию по замутнению и обману

общественного сознания Запада. У них в этом деле нашлось достаточное число холуев, прославляющих их и наживающих себе на этом репутацию критиков советского режима и борцов за демократию. Многие люди как в Советском Союзе, так и на Западе попались на удочку советской пропаганды и всерьез поверили в демагогию советских властей и их добровольных холуев. Такие люди нашлись и в нашей среде. Стала намечаться даже своеобразная идеология поощрения советских властей в их показной и лицемерной «либерализации» советского общества и сотрудничества с ними.

Однако в сложившейся сейчас обстановке у нас на Родине и в мире, в сложившихся сейчас условиях для нашей эмиграции всякое сотрудничество с советскими властями фактически означает предательство по отношению к самому важному и благородному делу нашей жизни, предательство по отношению к нашему восстанию. И никакие словесные ухищрения тут не помогут скрыть факт предательства. Наши победители приглашают нас принять участие в их торжестве победы. Но наше восстание было, и мы не должны помогать нашим врагам вытравлять память о нем. Что бы с нами ни сделали сильные мира сего, как бы ни сложилась наша личная судьба, что бы о нас ни подумали наши современники и потомки, мы стоим перед высшим судом мироздания – перед судом своей собственной совести. Мы же все-таки восстали!

Так донесем же нашу судьбу повстанцев мужественно и с достоинством до конца пути, предназначенного нам историей.

Мюнхен, 1 января 1987

ОТ РЕДАКЦИИ: Приглашаем наших читателей к обсуждению публикуемой статьи и «Обращения к третьей русской эмиграции» Александра Зиновьева.

ПРЕМИИ «СОЛИДАРНОСТИ» В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ЗА 1986 ГОД

1. **Архив «Солидарности»** – за первые десять изданных томов.

2. **Януш Эйсмонт** (Варшава) – за живопись.

3. **Яцек Федорович** (Варшава) – за работы видео.

4. **Кристина Грычеловская** (Варшава) – за документальный фильм «Колодец».

5. **Виктория Красневская** – за воспоминания «После освобождения» («Литерат. институт», Париж).

6. **Мацей Козловский** (Краков) – за сборник эссе «Пейзаж перед битвой» («Знак», Краков)

7. **Анна Мизерацкая** (Варшава) – за графику.

8. **Зыгмунт Мыцельский** (Варшава) – за сочинение для хора и оркестра «Liturgia sacra» (первое исполнение – «Варшавская осень», 1986).

9. **Игорь Неверлы** (Варшава) – за книгу «Осталось от пира богов» («Литературный институт», Париж – НОВА, Варшава).

10. **Литературный журнал «Обецнось» («Присутствие»)** (Вроцлав) – за хороший уровень.

11. **«Официна литерацка» («Литературное книгоиздательство»)** (Краков) – за отличную издательскую работу.

12. **Тадеуш Палка** (Варшава) – за документальный фильм «Квартира в блочном доме».

13. **Яцек Тшнадель** (Варшава) – за книгу «Отечественный позор» («Литературный институт», Париж – НОВА, Варшава).

14. **Петр Вежбицкий** (Варшава) – за книгу «Структура лжи» («Глос», Варшава).

Специальная премия – всем, благодаря кому вышла в свет «Антология еврейской поэзии» (Варшава, ПИВ [Госиздат], 1986).

(«Тыгодник Мазовше» № 198 от 11 февраля 1987)

Виктор Кулерский

«СОЛИДАРНОСТЬ» ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ОТ РЕДАКЦИИ: Еще весной 1985 года мы предложили членам Региональной исполнительной комиссии (подпольного руководства) «Солидарности» Мазовии, с которыми у нас на расстоянии завязались дружеские отношения, дать нам «коллективное интервью». В составе РИК в то время было три человека: Збигнев Буяк, одновременно являвшийся членом Временной координационной комиссии (общепольского подпольного руководства) «Солидарности», Виктор Кулерский и Ян Литынский. Незадолго до того, в результате неустанных и жестоких преследований, которым подвергали – в качестве заложницы – его жену, вышел из подполья Збигнев Янас, которого позднее заменил Конрад Белинский.

Жизнь – точнее, активная деятельность – в подполье оставляет мало времени и сил на то, чтобы сосредоточиться и письменно ответить на вопросы, поставленные к тому же достаточно широко. Однако, по крайней мере, двое: Збышек Буяк и Виктор Кулерский – закончили свои тексты еще осенью того же года. Им хотелось прислать нам эти тексты уже переведенными на русский – так же, как несколько раз они пересылали нам более короткие тексты (например, см. раздел «Документы польско-русской солидарности» в спецприложении к «Континенту» № 42). Арест Збигнева Буяка 31 мая 1986 года положил конец этому замыслу. В руках у Виктора Кулерского остался лишь рукописный текст его собственных ответов, которые он, как только смог, переслал нам. (А затем работа над переводом – приходилось разбирать карандашный, местами полустершийся текст – заняла непомерно много времени.)

В настоящее время большинство польских политзаключенных, включая лидеров «Солидарности», освобождено. В Польше предпринята попытка выстроить наряду с сохраняющимися подпольными структурами открыто действующие руководящие органы «Солидарности». На общепольском уровне это Временный совет «Солидарности», в который от Мазовии вошел Збигнев Буяк, в то время как общее руководство всей деятельностью «Солидарности» остается за подпольной Временной координационной комиссией, составленной теперь из не названных по имени представителей регионов. Три подписывавшихся своим именем члена ВКК, в том числе и Виктор Кулерский (который вошел в ее состав после ареста Буяка), вышли из подполья. На пресс-конференции в Варшаве 30 сентября было объяв-

лено о переходе Региональной исполнительной комиссии «Солидарности» Мазовии к открытой деятельности. В ее составе: освобожденные из тюрьмы Збигнев Буяк, Конрад Белинский и Эва Кулик и вышедшие из подполья прямо в день пресс-конференции Виктор Кулерский и Ян Литынский.

Текст Виктора Кулерского, по существу, является цельной статьей, посвященной, прежде всего, подполью «Солидарности», но также ее истории и собственной истории автора. Поэтому мы предпочли попросту вынести в подзаголовки краткое содержание поставленных нами вопросов. Заголовок статьи дан нами.

Редакция

1. Путь в подполье

Мне приходится начать с весьма отдаленного прошлого. Впервые я скрывался – точнее было бы сказать, меня скрывали – под чужой фамилией, когда мне еще не было пяти лет, с самого начала немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Всю мою семью усиленно разыскивало гестапо. Мой дед сильно насолил пруссакам – они держали его в тюрьме еще до Первой мировой войны за активную деятельность по защите польской самобытности на территориях, после разделов Польши отошедших к Пруссии. И он сам, и мой отец были активистами Польского Стронництва Людового*; наконец, во время Второй мировой войны отец работал при польском правительстве в лондонской эмиграции.

Мы счастливо пережили оккупацию, хотя часть моих родных прошла через гитлеровские концлагеря и тюрьмы, а часть погибла в советских лагерях. Вскоре после возвращения из эмиграции отца вместе с группой активистов ПСЛ арестовали коммунисты. Следствие по их делу продолжалось три года, и мне за эти годы довелось познакомиться с допросами, засадами в квартирах и обысками. Во время одного из обысков мне подбросили оружие. Меня взяли из дому и повели в сторону леса – я думал, что это уже конец. Но после нескольких километров пути меня повезли в здание министерства общественной безопасности**.

* Народническая, крестьянская партия. – П е р.

** Так называлась в то время госбезопасность ПНР. – П е р.

Сотрудники органов пытались заставить меня дать и подписать показания о том, что оружие хранилось у нас дома, но я знал, что это был бы смертный приговор моему отцу.

Через некоторое время после этого я присутствовал на его процессе – отца приговорили к 12 годам тюрьмы. В школе коммунистический Союз польской молодежи добивался от меня публичного осуждения отца и отречения от него. После приговора я ездил к нему на свидание в централ во Вронках.

В 1956 году пришел иной опыт. Советское вторжение в Венгрию потрясло студенческие круги. Мы участвовали в различных акциях солидарности, в частности сдавали кровь для венгерских раненых. Еще во время сбора крови разошлись слухи о том, что контейнеры с донорской кровью захватывала и разбивала Красная Армия. Тогда в это трудно было поверить. Сегодня, когда у нас в памяти свежо варварство подразделений ЗОМО*, громивших помещения региональных правлений «Солидарности», легче представить себе, как могли крушить контейнеры с кровью – если они вообще доходили до Венгрии.

В 1968 году, который для поляков памятен студенческим бунтом против пут, душивших национальную культуру, и разоженной в ответ на него антисемитской и антиинтеллигентской кампанией, я уже работал школьным учителем. Старшие братья и сестры моих учеников приходили домой с синяками от дубинок на спине или попадали в тюрьмы либо в больницы. Из газет и радио текли потоки лжи – запятнали себя ложью и многие учителя. Обо всем этом мне приходилось говорить с молодежью. В конце концов меня настигла провокация со стороны моего начальства, но я сумел от нее защититься и остался в школе.

Тот же 1968 год принес еще один урок бессилия – и не только бессилия. Находясь недалеко от границы, я имел возможность наблюдать советскую воздушную армаду, совершавшую вторжение в Чехословакию. В этом нашествии участвовали и польские пехотные подкрепления. Так горько проручили поляков, которые в свое время последними словами бранили чехов за их равнодушие во время нашествия на Венгрию. Но это было лишь предисловие к тому уроку смирения, который был дан полякам в декабре 1981 года, когда Советский

* Моторизованные части войск МВД. – П е р.

Союз сумел разгромить «Солидарность» руками самих поляков.

Начиная с 60-х годов очень большое значение для меня приобрела оппозиционная деятельность в самом Советском Союзе. Это была искра, пробуждавшая веру – если не в то, что наступят перемены, то, во всяком случае, в то, что невозможно отнять у людей то человеческое, что им присуще. Оппозиция в самом центре коммунизма, после стольких лет его господства, заставила, по крайней мере, усомниться в том, что система всесильна в своем обесчеловечивании, препарировании человека и превращении его в предмет. Для меня это значило, что если там, в тех условиях, люди сопротивляются, борются, говорят НЕТ, то не все потеряно, и, тем более, здесь, в Польше, можно, нужно и следует не поддаваться, нужно помочь этим людям, а это возможно лишь одним путем: продолжать борьбу там, где мы живем.

Это оказало большое влияние на мою работу учителя и воспитателя. Кстати, в связи с этим однажды я получил совершенно особое удовлетворение, на какое не рассчитывал. Мне удалось организовать в школе довольно большое и редкостное мероприятие, которое, по существу, было уроком правды, хотя и не демонстративным и не вызывающим (трудно было бы демонстративно и вызывающе говорить о таких вещах, как Катынь, советское нашествие на Польшу 17 сентября 1939 года и т. п.). Дирекция – не слишком умно – пригласила на это мероприятие, в частности, делегацию из советской воинской части, возглавлявшуюся старшим офицером. В ходе мероприятия я заметил у него особый интерес, обнаружил, что он неплохо знает польский язык, хотя он ни с кем по-польски не разговаривал. Он очень внимательно наблюдал за всем происходящим, слушал и читал тексты, не обращая внимания на то, что время идет и его товарищи нетерпеливо его ждут. Несколько человек тоже заметили это и встревожились. После мероприятия, которое затянулось из-за него, я случайно оказался один в каком-то изолированном помещении, и тут как из-под земли передо мной вырос этот офицер. Он крепко пожал мне руку и сказал по-польски: «Я ничего подобного не ожидал. Поздравляю и желаю успеха», – повернулся и вышел. Позднее я еще видел его в кругу его товарищей: он говорил только по-русски и вел себя так, словно вышеприведенного эпизода не было. До сих пор я размышляю над тем, кем он был.

Самым важным этапом оказался 1976 год. После подавления рабочих забастовок в Радоме и Урсусе был создан Комитет защиты рабочих (КОР). Я восхищался людьми, которые опять-таки по прошествии тридцати с лишним лет безраздельного господства коммунистов отважились организовать и гласно выступить в защиту преследуемых. С самого начала я был постоянным и верным, но только пассивным свидетелем их начинаний. Но потом наступил момент, когда КОР направил в Сейм ходатайство о расследовании полицейских злоупотреблений во время подавления забастовок. Вместе с ходатайством был выпущен призыв к обществу: КОР предлагал подписывать и посылать в Сейм коллективные письма в поддержку этого ходатайства. Я сознавал, какие последствия может повлечь за собой участие в этой акции. Кроме того, у меня не было ни малейшей охоты обращаться к Сейму и тем самым лично признать его законной властью. Я знал, что силы т. н. безопасности не совершали «злоупотреблений», но действовали в согласии с природой преступной и изолгавшейся системы. (Впрочем, те же колебания были у меня и позже, когда я вступал в независимый профсоюз, фактически признавший легальность коммунистического правления.) Я также отдавал себе отчет в том, что если втяну в эту акцию других людей, то потом не сумею помочь ни им самим, ни их семьям.

Но КОР призывал к конкретной, определенной помощи и сам первым рисковал. Среди его членов были те, кто когда-то сидел вместе с моим отцом. К тому же, в своем кругу я мог в то время сделать довольно много, и пассивность выглядела бы совсем иначе, чем я желал бы. Первые репрессии после отправки петиции, к счастью, остановились на полдороге. Только через пять лет, после 13 декабря 1981 года, большинство моих друзей, подписавших петицию, были выброшены с работы.

После проведения этой акции ко мне стали приходить люди: приносили деньги на фонд КОРа, просили независимые издания. Изданий этих, если учесть, что речь шла не о крупном городе, расходилось немало: около 500 экземпляров каждого номера «Роботника», несколько десятков – «Информационного бюллетеня», по несколько десятков – других изданий. Всегда недоставало нужного количества «Критики», «Записа» и, разумеется, книг. Я обладал исключительным везеньем: постоянно доставлял огромное количество нелегальщины и ни разу не попался. Хенрик Вуец, член КОРа, у которого я брал

литературу, считал это настолько невероятным, что начал подозревать меня в сотрудничестве с органами. Он признался мне в этом лишь через несколько лет, когда мы уже вместе работали в президиуме регионального правления «Солидарности» Мазовии и лучше узнали друг друга.

Весной 1980 года ко мне пришли два моих бывших ученика – выпускники школы, в которой я преподавал: Арек Червинский и Збышек Янас, – с предложением встретиться еще с одним их товарищем, с которым они вместе работали на тракторном заводе «Урсус». Они хотели создать там учредительный комитет свободных профсоюзов по образцу уже существовавших в других городах. Этим третьим оказался Збышек Буяк. Втроем они составляли отличную команду и действительно расшевелили коллектив завода. После августовских забастовок того же года они были организаторами Межзаводского учредительного комитета независимых профсоюзов.

Тем временем, в самом начале учебного года, в моей школе возникла ячейка независимого профсоюза – мы еще не знали, как он будет называться, – и мне пришлось налаживать связь с другими подобными начинаниями. Уже в первой декаде сентября был создан независимый самоуправляющийся профсоюз работников науки, техники и просвещения – первый в Польше. Именно в нем мне было поручено налаживать контакты и сотрудничество с профсоюзами, которые создавались рабочими. Поэтому меня включили в Межзаводской учредительный комитет, где я снова встретил троицу с «Урсуса». Наш профсоюз провел свой первый съезд, утвердил свой устав, провел выборы, а затем присоединился к только что созданной «Солидарности». Во время выборов в «Солидарности» я оказался в правлении региона Мазовия, где продолжал сотрудничество с друзьями из Комитета общественной самозащиты КОР и с завода «Урсус».

А затем наступил декабрь 1981 года. В памятную субботу 12 декабря, в то время как Збышек Буяк находился на заседании Общепольской комиссии «Солидарности» в Гданьске, я дежурил в правлении региона. В течение нескольких дней приходило все больше сообщений о призыве и насильственном зачислении в разнообразные полицейские части (милиция, ЗОМО, части милицетских резервистов), а также о передвижениях и перемещениях воинских и полицейских частей. Сочувствующие «Солидарности» члены семей сотрудников

госбезопасности и милиции приносили сведения о приготовлениях к разгрому профсоюза. На 17 декабря мы планировали в Варшаве большой профсоюзный митинг. Я получил сведения, что 15-го состоится партийный контрмитинг и что партактиву роздано оружие. Планировалось грубо провокационное нападение на этот митинг со стороны мнимых штурмовых отрядов «Солидарности», которые в действительности будут состоять из сотрудников органов. Должна была начаться перестрелка, доходящая до убитых и раненых. Было ясно, что такого рода провокация – если это не был блеф – должна была послужить предлогом для уничтожения «Солидарности». Значит, во вторник! Я немедленно по телефону сообщил об этом Збышеку Буяку в Гданьск. Он должен был на следующий же день вернуться после заседания Общепольской комиссии.

Поскольку я уже несколько дней подряд дежурил в региональном правлении и почти не спал, а к тому же полностью сознавал то, во что никто не верил: что наступает окончательная расправа, при которой профсоюз будет уничтожен, – я решил переночевать дома, попрощаться с женой, искупаться, переодеться и наконец-то по-человечески выспаться. Проверив дежурных и связь, я успел на последний автобус. Однако, еще не дойдя до дому, на всякий случай позвонил в наш секретариат. Так случилось, что как раз во время разговора была отключена телетайпная связь, о чем мне тут же сообщили. Для меня это значило, что атака наступила сейчас, а не во вторник. Кстати, и мой отец, которому я успел позвонить вслед за этим, ответил на известие об отключении телетайпной связи словами: «Ну, значит, началось. Храни тебя Бог». После этого оборвалась и телефонная связь.

Я вернулся в региональное правление на такси. Здание уже было окружено кордонами милиции в боевом оснащении. Попасть в здание было невозможно. Не удалось мне проникнуть и на территорию завода «Урсус». Остаток ночи я провел в диспетчерской таксопарка. Поскольку их радиосвязь не была прервана, я получил довольно подробную картину положения в городе. В какой-то момент прибежал сынишка одного из водителей – полтора года назад члена Межзаводского учредительного комитета. Задыхаясь, мальчик еле выговорил: «Приходили за папой. Разбили дверь ломами. Искали его везде». Мы тут же отыскивали этого шофера по радио, передали

ему это известие и предупредили, чтобы он скрылся и не возвращался домой.

Перед рассветом надо было уходить – в таксопарк приехал военный комиссар. Я нашел убежище у одной из радиотелефонисток. В воскресенье я проверял, кто еще остался из друзей, с понедельника пытался попасть на Варшавский металлургический комбинат. Он был окружен кордонами, и я едва ушел от милицейской погони. Еще раз отправился на «Урсус», и на этот раз успешно. На территории завода шли приготовления к забастовке, но рабочих было мало. Я встретил Арека Червинского и Яна Юзефа Липского, члена Комитета общественной самозащиты КОР, а тогда – регионального правления. Они были уверены, что забастовка обречена на поражение. Ян Юзеф сказал мне тогда: «Если ты считаешь, что все потеряно и что тебе больше нечего делать, оставайся. Если нет – уходи. Отсюда нас всех заберут». Сам он считал, что, будучи интеллигентом, в таких обстоятельствах может сделать только одно – остаться с рабочими. Мы тогда еще не знали, избежал ли ареста Збышек Буяк или кто-нибудь другой из регионального правления. Арек Червинский молниеносно организовал мой выход с завода без проверки документов. Это произошло за пять минут до того, как завод был окружен. Оба они были арестованы.

Я еще в тот же день встретил Збышека Янаса, которому удалось выбраться из Гданьска, а через несколько дней – Збышека Буяка. Так началась наша подпольная жизнь. Уже намного позднее я узнал, что 13 декабря вышел из дому минут за пятнадцать до налета полиции.

II. Причины декабрьского поражения «Солидарности»

Первая из них – неподготовленность «Солидарности» к обороне от декабрьской атаки коммунистов. Тут, собственно, две причины. Во-первых, «Солидарность» была и остается демократическим движением. Готовиться к обороне тайно было невозможно, а явные приготовления были бы абсурдом и только ускорили бы то, что произошло в декабре, одновременно давая удобный для этого предлог. Думаю, что наше положение станет понятней, если рассматривать его с точки зрения Запада, где даже разведка и армия, имеющие право на

секретность некоторых мер, находясь под давлением общественности и средств массовой информации, весьма часто вынуждены выдавать свои тайны с ущербом для блага страны. В демократической «Солидарности» практически все подлежало контролю членов профсоюза, ревизионных комиссий, практически всюду имела доступ профсоюзная печать. Вдобавок, поляки после сорока лет тоталитарного правления крайне чувствительны ко всяким проявлениям секретности, опасаются манипуляций, выискивают, не хотят ли их обвести вокруг пальца, полны недоверия. Все это дополнительно разжигалось пропагандой противника, сотрудниками и агентами госбезопасности. Именно поэтому погорела на стадии замысла одна из намеченных нами подготовительных мер. Считаясь с возможностью нападения со стороны властей, мы, собравшись в самом узком кругу, постановили укрыть часть наших финансовых ресурсов, которые можно было бы в случае необходимости сразу использовать. Речь шла прежде всего о средствах, приходящих от западных профсоюзов, – хотя бы эти фонды можно было задержать, не сдавать в банк. Региональное правление и ревизионная комиссия прознали об этих планах и заставили нас положить деньги в банк. Мы не могли им назвать причины, по которым не хотели этого делать, – назвать их значило бы дать информацию тому, кому не надо, а притом все равно ничего не добиться: началось бы голосование – нужно это или не нужно, правдивые ли причины мы приводим или, может, есть какие другие, скрытые. Именно поэтому в начале военного положения мы оказались почти с пустым карманом.

Если так выглядело дело с деньгами, то тем более любые шаги и приготовления, требующие большего числа посвященных, технических средств, а следовательно, и расходов, должны были быть явными для членов профсоюза, а с ними и для агентов противника. Такие приготовления подставили бы нас под еще больший огонь извне и вызвали бы контрприготовления, а также стали бы предметом серьезных споров и конфликтов внутри профсоюза. У властей был бы удобный предлог для того, что они и так сделали 13 декабря, а мы все равно не были бы лучше подготовлены.

Почему сопротивление не было таким массовым, как это ожидалось? Почему не удалось провести всеобщую забастовку? Прежде всего, потому, что профсоюз лишился руковод-

ства почти на всех уровнях. Достаточно вспомнить, что сами власти ПНР признались в том, что интернировали свыше 10 тысяч человек. В огромном большинстве, это были члены выборных органов профсоюза всех уровней, начиная от председателя «Солидарности» и членов Общепольской комиссии, членов региональных правлений и вплоть до завкомов и месткомов. Кроме того, среди интернированных оказались члены прежних учредительных комитетов независимого профсоюза, его активисты и эксперты, многочисленные представители интеллигенции, активисты различных оппозиционных группировок. После сорока лет тоталитарного правления страна не изобилует людьми с лидерскими, организационными способностями. Те немногие, которые имелись, почти в полном составе вошли в профсоюзные кадры – их-то и посадили. Тоталитарная система воспитывает в рабстве и для рабства – люди с самого раннего детства проходят школу пассивности и послушания, они не готовы проявлять инициативу, самоорганизовываться, брать ответственность на себя. В этой области нам недостает элементарного умения и навыков. К этому следует прибавить – хотя это может показаться парадоксальным – необычайно большой вес, придававшийся в профсоюзе легальности и законным полномочиям власти. Члены профсоюза только что, впервые за без малого полвека, выбрали такие органы власти – и кто же, чьим именем, в силу каких полномочий мог взять бразды правления, когда не осталось лидеров, избранных путем свободных выборов? 13 декабря наступило время самозванцев и узурпаторов – я не вкладываю в эти слова отрицательного значения – и следования за ними, но этому помешало чувство легализма, да и не оно одно. Были серьезные опасения перед провокаторами, скрытыми агентами, недостатка в которых у нас, конечно, не было. Такая сумма факторов создавала поистине парализующую смесь.

Следует сказать и еще о чем-то. Поляки хорошо знают коммунистов и знают, на что они способны. Один из вопросов, волновавших значительную часть общества после декабрьской ночи, звучал так: «Будут пускать в расход или нет? Будут пускать в расход сразу или медленно приканчивать в тюрьмах, а может, даже увозить к белым медведям?» Этой последней возможностью тоже нельзя было пренебрегать, принимая во внимание, что из советских лагерей доходили известия о некоторых поляках, которые считались без вести пропавшими или

даже убитыми во время декабрьских забастовок на Побережье в декабре 1970 года. В декабре 1981 года и я задавался такими вопросами. Я очень хорошо запомнил слова, сказанные мне отцом в нашем последнем телефонном разговоре. Что должен был я сказать моей бедной жене, уходя тогда из дому? Такими опасениями и предположениями я предпочел с ней не делиться. Этот своеобразный польский опыт отлично передал Марек Новаковский в гротескной короткой повести «Событие в Городке».

В этой повести столярный кооператив решил использовать чердак старческого дома как склад готовых гробов. Вносят их ночью, чтобы не испугать обитателей богадельни, — те, однако, случайно подглядели разгрузку. Их первая и единственная мысль: «Будут пускать в расход!» В ту же ночь они организуют массовый побег в окрестные леса. И начинается облава, которая лишь укрепляет беглецов в их наихудших предчувствиях. Представьте себе, пожалуйста, исходную ситуацию повести в любой западноевропейской стране! Не говоря обо всем прочем, если бы в голове у кого-то из случайных наблюдателей и возникла бы такая мысль, остальные объявили бы ее такой нелепостью, с которой человеку место не в старческом, а в сумасшедшем доме. В Польше такое объяснение ночной разгрузки гробов выглядело наиболее вероятным и даже прямо очевидным. Сегодня мы смотрим на ночь с 12 на 13 декабря с другой перспективы, но нельзя недооценивать тогдашнего первого психологического впечатления.

Наконец, еще один аспект. Кем были противники? С одной стороны, профсоюз, демократическая общественная организация, существующая меньше полутора лет, все еще находящаяся в пеленках, создаваемая и руководимая дилетантами, организация, которая не успела окрепнуть, укрепить свои структуры, воспитать и подготовить кадры, вдобавок инфильтрируемая, саботируемая и провоцируемая штатными и внештатными сотрудниками органов. С другой — армия и полиция, аппарат, существующий почти сорок лет, профессионалы, имеющие в своем распоряжении все необходимые средства и соответствующую подготовку. Они задолго готовили операцию, а затем провели ее по всем правилам военного искусства. Возможно, вопрос о том, почему декабрьское наступление застало «Солидарность» неподготовленной, почему сопротивление не было столь массовым и эффектив-

ным, почему не удалось провести всеобщую забастовку, стоило бы рассмотреть в контексте других вопросов. Почему агрессия тоталитарных государств – как нацистского Третьего Рейха, так и коммунистического Третьего Рима – застают западные демократические страны совершенно неподготовленными? Почему Соединенные Штаты понесли столь позорные поражения, когда на них напала Япония? А ведь это сравнение хромает: мы – только профсоюз. Любой человек попадает в безнадежное или почти безнадежное положение, когда на него внезапно нападет профессиональный, вооруженный бандит. Если жертва останется в живых, то может еще рассчитывать на помощь, хотя бы запоздалую, полиции и врачей. Мы не можем рассчитывать и на это.

Я, со своей стороны, считаю, что это слабое сопротивление оказалось спасительным. Возможно, все-таки существует какой-то коллективный инстинкт самосохранения общества. Это напоминает мне поведение почек весной: бывает, совсем уже потеплело, солнце светит много дней подряд, почки так набухли, что, кажется, им давно пора лопнуть, раскрыться, расцвести, а они не шевелятся, держатся, как заколдованные, словно чего-то ждут. И, оказывается, наступают заморозки, а то и мороз ударяет. Откуда они про это знают? Что-то подобное я вижу и в поведении общества. Бывают обстоятельства, в которых, Бог весть почему, общество предпринимает прямо поразительные коллективные действия, и тогда ничто не в силах его удержать – тогда наступают пражские вёсны и польские августы. А случаются другие обстоятельства, в которых все происходит совершенно наоборот, и тогда никто и ничто не может склонить людей к действию. Они ждут! Тогда наступают пражские августы и польские декабри. Я убежден, что введение военного положения было весьма старательно рассчитано. Если уж такая операция была задумана и, более того, начала осуществляться, то ее довели бы до конца практически любой ценой. Таких действий – особенно в тоталитарной системе – не начинают, чтобы повернуть с полпути. Мы выдвигали отступление с полпути, да обычно не у коммунистов: Суэц, залив Свиней, Вьетнам, Иран, Ливан. Коммунисты могут затормозить или даже отступить тогда, когда им грозит прямая схватка с могучим противником или прямой призыв поражения. В Польше 1981 года такой ситуации не было, и у коммунистов были развязаны руки. Цену пропагандного

ущерба они уплатили в тот момент, когда приступили к действию, – ради чего же, ради какой серьезной причины было им отступать? Какую реальную выгоду принесло бы им отступление? Они не только ничего на нем не выиграли бы, но и прямо увеличили бы свои потери. Думаю, не что иное, как именно и исключительно отсутствие более значительного сопротивления, спасло нас от гораздо худшего, нежели то, что произошло, от чего-то, после чего мы не оправились бы так быстро и не создали бы так скоро подпольное общество движения «Солидарности». Инстинкт самосохранения общества привел к тому, что в августе 1980 года мы подняли ненасильственное национальное восстание и что в декабре 1981 года не оказали большего, чем было, сопротивления. В результате, расчеты коммунистов хотя бы частично не оправдались, и нам удалось уберечь людей, сохранить волю к дальнейшей борьбе и организовать подполье. Наш народ в течение двухсот лет обескровливался, многократно терял ведущую часть общества, уже сильно изменился. Новое его истощение, новая ликвидация с таким трудом воссоздаваемой элиты могла бы принести страшные результаты. Частным примером того, что могло бы наступить в результате более решительного сопротивления, является Верхняя Силезия. Там сопротивление было особенно стойким. Там были убитые и много раненых. Там части ЗОМО совершали жестокие рейды по рабочим поселкам, по жилищам шахтеров. Там применялись исключительно зверские пытки к изловленным активистам. После декабря из Силезии эмигрировало особенно много профсоюзных активистов. И именно Силезско-Домбровский регион, до декабря один из самых сильных в «Солидарности», позднее остальных приступил к восстановлению профсоюзных структур в подполье и до сих пор наталкивается в этом на наибольшие трудности.

Подобно этому, я не оцениваю слишком сурово и слабого отклика на позднейшие призывы к забастовкам во время военного положения. Чем дальше мы отходим от 13 декабря и военного положения, чем дольше коммунисты похваляются т. н. нормализацией, чем глубже они увязают в экономической трясине, тем бóльшие возможности открываются перед очередной вспышкой социального протеста или хотя бы перед натиском, который оказывает общественное сопротивление, и тем труднее становится продолжение операции, начатой 13 декаб-

ря. Вспышку социального протеста нельзя – и, пожалуй, к счастью, – запланировать, вызвать призывом, обращением. Нужно и можно работать над тем, чтобы подготовить ее и подготовить к ней общество. Поторопиться с ее «датой» столь же плохо, как и не воспользоваться моментом. Как же, с этой точки зрения, выглядит оценка последекабрьских забастовок и демонстраций и призывов к ним? Многие оценивают все это полностью отрицательно. Я сам обычно был против таких призывов. Тем не менее, глядя на это теперь, я отношусь к ним менее критически. Призывы к забастовкам и демонстрациям или хотя бы различные призывы к более ограниченным действиям принесли важные побочные результаты. Подготовка к забастовкам и демонстрациям и само их проведение сыграли большую роль в восстановлении, активизации и интеграции многочисленных профсоюзных структур и даже содействовали созданию новых, не уставных, но очень важных для подпольной жизни профсоюза, – таких, как межзаводские и территориальные соглашения. Забастовки и демонстрации поддерживали волю и дух сопротивления, а также связи солидарности, представляя собой наиболее очевидное свидетельство их в самый трудный период. Это, в свою очередь, поддерживало столь важный для нас интерес за пределами страны и создавало благоприятные обстоятельства для различных акций на международной арене. Кроме того, демонстративные выступления рабочих и зримо сражающийся подпольный профсоюз были дополнительным стимулом для возникновения других, внепрофсоюзных и не существовавших до 13 декабря независимых группировок и отвлекали от них внимание полиции, облегчая им тем самым развитие в трудном, начальном периоде существования. Все эти забастовки и демонстрации становились прочным прецедентом в борьбе против узаконенного и декретированного беззакония. Без них власти, вероятно, не вели бы себя так осторожно и сдержанно по отношению к многочисленным, стихийно возникавшим местным забастовкам. С помощью этих последних рабочие отдельных предприятий успешно защищаются от ухудшения условий труда и зарплаты.

Говоря об этом, достаточно на минуту представить себе последекабрьскую Польшу без этого ограниченного отклика на призывы ВКК, без забастовок, ограниченных крупными городами, или крупными предприятиями, или даже отдель-

ными цехами, без демонстраций, собирающих от нескольких до нескольких десятков тысяч человек. Декабрьская ночь с 12-го на 13-е, а потом год, два, три мертвой тишины, в которой выгорели бы свечи, зажженные на подоконниках в первую годовщину, зачихали бы и исчезли кресты из цветов, выкладываемые перед костелами, покрашены были бы лозунги «Солидарности», по ночам надписываемые на стенах. Снова стала бы актуальной песенка «Чем бы заняться...» – о том, как единственное, что умеет гражданин, это вытирать пыль в шкафу. Тем временем, свечи действительно угасли, цветочные кресты почти исчезли, и надписи были покрашены, но 1 мая 1985 года в Варшаве, через три с половиной года после объявления военного положения, около 15 тысяч человек с плакатами и флагами «Солидарности» в течение нескольких часов участвовали в независимой первомайской демонстрации. Через три года после введения военного положения около двух миллионов поляков (по данным Ягеллонского университета в Кракове) или даже три миллиона (по данным официального Центра исследований в области журналистики) регулярно читали подпольную печать. А сколько людей слушает радиопередачи местных радиостанций «Солидарности»? Сколько посещает бесчисленные независимые концерты, спектакли, выставки и лекции? Сколько пользуется неподцензурно распространяющимися магнитофонными и видеокассетами, которые выпускают независимые издательства, – не говоря уже о книгах? Я не убежден, развилось ли бы все это в такой же степени без неустанно, упорно возобновляемых забастовок и демонстраций предыдущих лет. Они были безуспешны в том смысле, что не достигли запланированных результатов. Они были нужны, ибо сыграли существеннейшую роль в недопущении нормализации Польши на чехословацкий образец. Они достигли иных целей, чем те, которые себе ставили.

Польское общество жаждет в первую очередь свободы и демократии. Эти две идеи – как бы они ни формулировались – руководят всем движением «Солидарности». С другой стороны, общество прекрасно понимает, что в настоящий момент, даже если бы удалось вступить на путь скорого достижения этих целей, то ненадолго и ценой, которая в конечном счете не приблизила бы их осуществление, а отдалила: мы учитываем в этом как венгерский, так и чехословацкий опыт. Именно поэтому можно видеть, как многие склоняются к игре «на

выживание», но без коллаборантства и нормализации, к уходу в частную жизнь и пользованию тем, что удалось сохранить и достичь в сравнении с другими коммунистическими странами. Остается такое сопротивление, которое, правда, не приближает прихода свободы и демократии, но и не отдаляет, не позволяет о них забыть и по-своему готовит к тому, чего мы жаждем, такое сопротивление, которое способно расширять тесные границы наших свобод до пределов, не мешающих Москве чувствовать, что она как-то держит в руках положение в Польше. Здесь мы и переходим к роли подполья.

Гражданское подполье, ведущее борьбу без насилия в таких масштабах, как это происходит в Польше, впервые в истории коммунизма имеет возможность продемонстрировать, что слишком далеко идущее порабощение общества «не окупается». Возможно ли это? Для коммунистов существование Комитета общественной самозащиты КОР было неприемлемым, однако они его не уничтожили, ибо до самого конца старательно взвешивали прибыль и убытки. КОС – КОР в большой степени содействовал возникновению «Солидарности». И опять немало времени утекло, прежде чем решились провести декабрьскую операцию. Сейчас, в результате этих шагов, им приходится иметь дело с подпольным движением «Солидарности» – также для них неприемлемым, но на этот раз его не так легко уничтожить. Массовость, плюрализм и децентрализация гражданского подполья, ведущего борьбу без насилия, создают ситуацию, с которой не так-то легко справиться. До сих пор нам удавалось восполнить понесенные нами потери – более того, мы продолжали развиваться. Если мы сохраним эту способность, если и дальше сможем восполнять потери в людях, оборудовании, фондах, структурах, то может наступить такое время, когда власти будут вынуждены переменить курс внутренней политики. Способ, каким можно ограничить подпольную деятельность, существует, причем, возможно, обходящийся куда менее дорого – в виде различных последствий, – чем террор. Чтобы ослабить приток людей и денег в подполье, а у подпольной работы отнять привлекательность, какой она обладает сейчас, достаточно расширить пределы свободы для явной, признаваемой властями общественной деятельности и больше соблюдать права человека. Думаю, что есть такие пределы общественных свобод и такая

степень соблюдения прав человека, которые, с одной стороны, не угрожают коммунистической власти, а с другой – не вынуждают людей в такой степени, как сейчас, искать прибежища в подпольной деятельности. Разумеется, поиски и сохранение этих пределов, которые были бы приемлемы для обеих сторон – власть имущих и граждан, не происходят бесконфликтно. Всегда остается состояние неустойчивого равновесия, неустанного, сдерживаемого в рамках конфликта, но, пожалуй, это более выгодно для обеих сторон, чем нынешнее положение. Если подполье сумело бы довести до такой ситуации, то его собственный размах уменьшился бы, но одновременно мы достигли бы хоть части того, за что боремся.

III. Перспективы и надежды

Считаю ли я реальным вышеописанное развитие событий? Теоретически – да! Во всяком случае, считаю, что нужно пытаться. В Польше – более, чем в любой другой коммунистической стране, – оно может оказаться реальным, хотя лишь тогда, когда мы сумеем принудить противника к уступкам нашей выдержкой и тем, что будем продолжать тактику гражданской борьбы без применения насилия. Есть ряд свидетельств того, что общественное сопротивление – по крайней мере, в Польше – не проходит бесследно. Достаточно сравнить Польшу с некоторыми другими коммунистическими странами, хотя бы с Чехословакией, ГДР, Венгрией, притом особенно в эти последние годы, после проведения операции, названной «военным положением». Даже если мы оставим в стороне то положение, которое сумела сохранить Церковь, и продолжающееся существование единоличного сельского хозяйства, а также мелкого частного ремесла и торговли, обнаружится еще много различий. Многие официально дозволенные в Польше издания, фильмы, спектакли, выставки невообразимы в других коммунистических странах. Даже средства массовой информации в Польше приносят больше информации; в Польше меньше, чем в других странах, трудностей с поездками за границу; только в Польше мог состояться процесс над тайными гебистскими убийцами; здесь власти отступили от прямого принципа 99% участия в выборах и в официальных

профсоюзах; им приходится терпеть локальные забастовки, с помощью которых рабочие добиваются повышения зарплаты; публично и официально (на страницах прессы) говорится о политзаключенных; представители властей публично полемизируют с оппозиционерами и активистами подполья; официальная печать публикует статьи о необходимости существования подлинной, явной и не запрещаемой властями политической оппозиции; государственные издательства печатают книги некоторых писателей из тех, кто публикуется в подполье и на Западе; наконец, сохраняется необычный статус Леха Валэнсы, председателя НСПС «Солидарность» и лауреата Нобелевской премии мира. И всё это лишь самые яркие и первые пришедшие на ум примеры.

Если в Польше, по сравнению с другими коммунистическими странами, дела идут так, а не иначе, то это происходит в первую очередь благодаря натиску, который оказывает на власти общественное сопротивление, в том числе сегодня – подпольное движение «Солидарности». Если мы сумеем поддерживать такой натиск, то эти перемены могут и должны пойти дальше, вплоть до такого расширения свобод общества и прав человека, которые сделают жизнь поляков более сносной и тем самым повлияют на ограничение сферы подпольной деятельности. Я готов к тому, что нам не удастся отвоевать возобновление легальной деятельности «Солидарности», но в то же время полагаю, что мы приведем к такому положению, когда коммунисты будут вынуждены дать полякам больше свободы и в большей степени соблюдать права человека.

Тут можно было бы спросить, почему я считаю такие перемены в Польше более реальными, чем в иных странах. Как я уже сказал, главное значение имеет размах общественного сопротивления, но не только он. В силу своей истории, культуры, характера польского общества, в силу многочисленных и разнообразных связей с Западом, а также ввиду своего положения, территории и потенциала, Польша играет специфическую роль в отношениях Советского Союза с Западом. С одной стороны, она является объектом большего, чем другие советские сателлиты, интереса Запада, с другой – я не могу избавиться от впечатления, что для Москвы она представляет собой опытный полигон. Похоже, что именно в Польше, ввиду ее специфики, вырабатываются и испыты-

ваются методы действий, которые в будущем могли бы найти применение в попавших под власть коммунистов странах Западной Европы. Кроме того, Советский Союз нуждается в Западе как поставщике товаров, позволяющих ему удерживать свое место в технологическом, научном и военном соревновании, хотя в то же время относится к Западу как к будущей жертве, бдительность которой нужно усыпить. Польша нужна как посредник и опытный полигон, но не как хорошо слышный на Западе будильник. Вероятно, именно поэтому податливость коммунистов перед лицом общественного сопротивления и западного интереса к нему, а следовательно, и некоторая сдержанность в обращении с оппозицией оказываются в Польше значительней, чем в других коммунистических странах.

Я не переоцениваю значение и возможности Запада, знаю и его ограниченность, и ослабляющие его внутренние расхождения, но вижу, каким значением обладает его отклик на польские дела. То, что коммунисты не запрещают помощь продуктами, одеждой и лекарствами, которая приходит от общественности западных стран в Комитет помощи заключенным при Примасе Польши, — уникальное событие в коммунистических странах. В Польше, несмотря ни на что, власть вынуждена глядеть сквозь пальцы и на встречи западных политиков с ведущими представителями неофициальной оппозиции, и на то, что эти политики возлагают цветы на могилу священника-оппозиционера, зверски убитого госбезопасностью. Приходится терпеть и существование его могилы как святыни «Солидарности», посещаемого тысячами паломников со всей Польши. Западные корреспонденты могут сравнительно свободно встречаться со многими ведущими оппозиционерами, в том числе с председателем официально запрещенного профсоюза Лехом Валэнсой. Это особенно красноречиво в сравнении с судьбой Андрея Сахарова. Значение западного отклика тем важнее, что отклик этот идет не только из правительственных кругов. Кроме шагов в сфере «большой политики», таких, как экономические санкции, препятствия в получении кредитов, блокирование приема ПНР в Международный валютный фонд (шаги, от которых в последний год Запад большей частью уже отказался. — Р е д.), постановки вопроса о правах человека в Польше на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, большое значение имеют дей-

ствия, предпринимаемые Международной конфедерацией свободных профсоюзов, Всемирной конфедерацией труда и Международной организацией труда; договоры о сотрудничестве, заключаемые с региональными структурами нашего профсоюза многочисленными западными профсоюзами, и оказание им финансовой, моральной и информационной поддержки; аналогичная поддержка, которую оказывают другим, не профсоюзным структурам движения «Солидарности», действующим в области просвещения, культуры, науки, медицины, издательской деятельности и т. п., соответствующие западные общества и фонды; информационная и разъяснительная деятельность западных средств массовой информации; наконец, многочисленные общественные выступления. Всё это вместе взятое складывается в отклик свободного мира, весьма нам помогающий. Если наша выдержка и западная поддержка не ослабнут, я считаю реальными новые серьезные уступки коммунистов, расширяющие поле свободы в Польше. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что с течением времени нарастает усталость поляков, распространяется безразличие, растет искушение побега в частную жизнь; в том, что интерес со стороны Запада будет подвержен колебаниям, может ослабеть, – но до тех пор, пока это возможно, мы должны держаться и использовать каждый шанс, должны бороться за каждую крупницу того, что положено каждому человеку во всем мире.

На мой взгляд, очень важно, чтобы западные правительства и общества видели в движении «Солидарности» и в других подобных движениях то, чем они по существу являются, – самое значительное, подлинно имеющее смысл движение за мир. В этом должны отдавать себе отчет сторонники разных политических программ, партий и течений. Величайшей опасностью является даже не сама коммунистическая гонка вооружений, но то, чему эти вооружения служат, т. е. порабощение обществ и наций и укрепление этого гнета. Против этого-то мы и боремся. Восстановление свободы приводит к сокращению военного потенциала, а не наоборот. Коммунистическая военная машина служит тому, чтобы держать в окопах порабощенные народы и уничтожать все, что является для них примером и надеждой, а это значит: свободу и демократию, в каком бы месте земного шара они ни существовали. Западные пацифистские движения, борющиеся против вооружений вместо

того, чтобы бороться против того, что их порождает, словно ослеплены проявлениями опасности, так что не замечают ее подлинных причин. Такие движения, как «Солидарность», представляют собой первую, передовую линию защиты мира. Мне кажется, что этот факт все еще недостаточно оценен на Западе и что из него не сделаны нужные выводы.

IV. Возможен ли диалог с коммунистами?

В отношениях с коммунистами существует только одна альтернатива: либо подчинение им, всегда и неизбежно приводящее к порабощению, вплоть до превращения человека в объект, либо борьба, позволяющая спасти или хотя бы сохранить человеческое в человеке. Разумеется, в этой борьбе могут быть периоды временного перемирия, иногда она может маскироваться под послушание – но отнюдь не под полное подчинение, – однако всё это тактические меры. По крайней мере, так это рассматривают сами коммунисты. И по этому поводу не следует предаваться сомнениям и иллюзиям, ибо они приводят только к поражению. Тот, кто поверит в эту игру, раньше или позже окажется в ситуации одураченного и, следовательно, побежденного, либо, в лучшем случае, продолжающего борьбу с гораздо худших позиций, чем перед тем. Развитие человечества идет от закона джунглей к правам человека. Коммунисты придерживаются исключительно закона джунглей, постоянно маскируя это. Поэтому они – по крайней мере, временно – обладают перевесом над цивилизованным миром. Об этом следует помнить, имея с ними дело. Партнерство, диалог, компромисс, сосуществование, разрядка – всё это лишь разные маски перемирия, к которому принуждают коммунистов временно сложившиеся не в их пользу обстоятельства. К счастью, они не всевластны и по-своему (отнюдь не от угрызений совести, которых у них нет) являются прагматиками. В стремлении подчинить себе все и всех, поработить человека и превратить его в предмет, а в конечном счете уничтожить всякую иную реальность, кроме их собственной, они действуют обдуманно. Коммунисты тормозятся – хотя бы на время – в трех случаях: когда возможности исполнения их намерений недостаточны; когда, по их подсчетам, убыток от того или иного шага оказался бы больше, чем выгода; когда затраты

на поддержание достигнутого положения они сочтут намного больше, чем свою прибыль. Конечно, говоря об этом, следует иметь в виду специфическую иерархию ценностей, весьма отличающуюся от принятой в цивилизованном мире. Как бы то ни было, их расчет предоставляет нам некоторые возможности, и мы обязаны их использовать. Нам это удастся, если деятельность подпольного движения «Солидарности» будет наносить коммунистам ощутимо больший урон, нежели тот, который они понесут при расширении поля свобод общества; в то же время и тот и другой урон должен быть меньше, чем стоила бы нам полная расправа с поляками и введение в Польшу *sovietica*. Мы пытаемся достичь этого, ставя себе ограниченные цели соблюдения основных прав человека и принимая тактику борьбы без применения насилия. Пока иных возможностей я не вижу. Тысяча лет нашей истории привели к тому, что поляки не смиряются с ярмом на шее, а опыт последних двухсот лет – к тому, что, не прекращая сопротивления, мы не рискуем вступать в генеральное сражение, пока не обладаем реальными возможностями добиться важнейшей цели. Неумолимость коммунистов и их ограничения сталкиваются здесь с неумолимостью поляков и теми ограничениями, которые они на себя накладывают. Ни те, ни другие не могут отказаться от своих стремлений ценой утраты своего характера. Ни те, ни другие не рискуют вступать в генеральное сражение. Так продолжается этот вынужденный союз, в котором та или другая сторона осуждена так или иначе быть уничтоженной. Нет никаких видов на конвергенцию, взаимное приспособление и сожительство по расчету. Надежда любой стороны лежит в уничтожении другой – и иначе быть не может. Пока это не произойдет, обе стороны будут вести лучше или хуже скрываемую борьбу за выживание, за то, чтобы дожидаться более благоприятных обстоятельств. Шансы каждой зависят от того, что ей удастся защитить и вырвать у противника, чтобы выжить дольше. Это бой дословно за каждую пядь земли, пядь территории общественной жизни, позиционная, затяжная и неумолимая война. И я убежден, что это единственная модель отношений, которые могут поддерживать с коммунистами некоммунисты, если не хотят, чтоб их до конца проглотили и переварили.

Один из моих друзей, русский еврей, которому удалось обменять советскую «камеру» на польский «прогулочный дво-

рик», прекрасный ученый, а после 13 декабря чернорабочий, говаривал, что коммунисты внутренне испытывают обязанность править, обладать монополией власти – любой ценой, даже на кладбище. Это так и есть, но и для власти на кладбище они нуждались бы в постоянном притоке больных, умирающих и покойников, чтобы, ограбив их, похоронить. А для этого коммунистическое кладбище принуждено принимать обличье санатория. Необходимость поддержания такого обличья дает нам возможности извлечь свою пользу, которая позволит нам выжить как можно дольше – дай Бог, до краха этого предприятия.

V. «Солидарность» и СОЛИДАРНОСТЬ

В самом узком и первоначальном смысле слова «Солидарность» была и остается независимым самоуправляющимся профсоюзом «Солидарность». Но таким пониманием, не рискуя совершить серьезную ошибку, действительно можно было ограничиться только до декабря. Тогда официальное, вынужденное признание профсоюза при одновременном отказе в праве на существование многим другим общественным группировкам приводило к тому, что часть из них пряталась под крылышко нашего профсоюза, нередко формально выступая как внутрипрофсоюзные структуры, хотя по существу с профсоюзом они имели мало что общего. Так было с ростками политических партий – таких, какими были два клуба: «Свобода, Справедливость, Независимость» и Клуб служения Независимости; с гражданскими комитетами – такими, например, как Комитет защиты арестованных за убеждения и Комитет Катынского памятника; даже с некоторыми независимыми издательствами. После 13 декабря положение изменилось. Профсоюз не только не в состоянии предоставить защиту другим группировкам, но, поставленный вне закона, и сам нуждается в помощи. Парадоксально, но только в подполье все стали располагать равными возможностями. Это привело к возникновению плюралистического общественного движения «Солидарности» – это и есть «Солидарность» во втором, более широком смысле слова. В состав этого движения входят как НСПС «Солидарность», так и множество других независимых группировок. Желая ощутимо представить себе

состав движения «Солидарности», к сожалению, приходится заняться попросту перечнем. Итак, в первую очередь, НСПС «Солидарность» с Временной координационной комиссией (ВКК), региональными руководящими органами подполья (называющимися по-разному), тайными месткомками, общепольскими секциями шахтеров, металлургов, учителей, врачей и т. д., с т. н. Сетью крупнейших промышленных предприятий, местными межзаводскими и территориальными объединениями и вспомогательными органами и организациями. Кроме НСПС «Солидарность», в состав движения «Солидарности» входят: НСПС «Солидарность крестьян-единоличников»; Общепольский комитет сопротивления крестьян; Комитет общественного сопротивления (КОС); «Сражающаяся Солидарность»; тесно сотрудничающие между собой Комитет независимого просвещения, Комитет независимой культуры и Общественный комитет науки; Хельсинкский комитет, комитеты защиты правозаконности, гражданские комитеты против произвола и насилия; различные независимые группировки: молодежные (харцерские, школьные, студенческие), политические (являющиеся ростками политических партий); сотни независимых периодических изданий; несколько десятков независимых книжных издательств, а также фирм, выпускающих магнитофонные и видеокассеты; несколько независимых агентств печати; независимые центры изучения общественного мнения; местные радиостанции Радио Солидарность; независимые библиотеки, народные университеты, клубы и т. п.; и, наконец, ряд движений без организационных рамок, таких, как независимое движение творческой интеллигенции и движение в защиту политзаключенных*.

В третьем значении СОЛИДАРНОСТЬ – идея, вдохновляющая все это движение и сплачивающая его различные

* Не говоря уже о появлении открыто действующих органов «Солидарности» на общенациональном и во многих случаях на региональном уровне (сентябрь – октябрь 1986), наряду с которыми сохраняют всю свою силу подпольные структуры, к этому следовало бы еще прибавить движение «Свобода и мир», которое лишь делало свои первые шаги, когда Виктор Кулерский писал ответы на наши вопросы, а за это время выросло в большую силу: его концепция (выраженная в названии) оказала влияние на западноевропейских пацифистов. – Р е д.

группировки и структуры в единое целое, несмотря на плюрализм и полицентризм. До сих пор никто не дал строгого, рационального определения этой идеи. Она попросту живет среди нас и в нас, воздействует, объединяет и ведет. Думаю, что самым общим образом ее можно было бы определить как чувство сообщества, вместе с вытекающими из него обязанностями в коллективной самозащите против тоталитаризма без применения насилия.

Подводя итог, следует сказать, что СОЛИДАРНОСТЬ – это, во-первых, профсоюз «Солидарность», во-вторых – движение «Солидарности», а в-третьих – идея солидарности.

Говоря о плюрализме и одновременно высокой степени интеграции движения «Солидарности», стоит обратить внимание еще на один вопрос. НСПС «Солидарность» сегодня действительно составляет лишь часть движения, но в то же время он остается крупнейшей, сильнейшей и самой влиятельной организацией. В Польше он стал первой за почти сорок лет и до сих пор единственной общественной организацией с руководящими органами, созданными в результате свободных выборов, в которых участвовало 10 миллионов поляков (летом и осенью 1981 года). Часть этих органов уцелела при погроме 13 декабря и создала подпольное руководство профсоюза. Восполняя потери, понесенные вследствие позднейших арестов, в эти органы входили новые люди – уже не всегда из тех, кто до декабря был выбран в профсоюзные инстанции какого бы то ни было уровня, но всегда кооптированные выборными лидерами. При этом все члены общепольского подпольного руководства (и ряда региональных органов) «Солидарности» выступают под своими именами (с октября 1986 года, напомним, ВКК состоит из анонимных представителей регионов, и подлинность ее состава и решений удостоверяет председатель «Солидарности» Лех Валэнса. – Р е д.), анонимно же работают органы более низкого уровня и ряда внепрофсоюзных структур. Все это вместе взятое, пожалуй, и привело к тому, что подавляющее большинство различных подпольных группировок, обладающих полной независимостью и своими руководящими органами, своими фондами, а в некоторых случаях и своими представительствами за границей, рассматривают ВКК как несомненное руководство всем движением «Солидарности» повсюду, где речь идет о совмест-

ных действиях против коммунистов. ВКК часто подвергается критике, по ее адресу выдвигается множество упреков, отдельные внепрофсоюзные структуры ревниво охраняют свою независимость и самостоятельность, крайне чувствительны к тому, что в коммунистической новоречи называется «ведущей ролью» и «демократическим централизмом», но в то же время поддерживают НСПС «Солидарность» в важнейших начинаниях и подчиняются ВКК в самых существенных вопросах.

Не знаю, уместно ли, но приведу хотя бы один знаменательный пример. Одно из независимых издательств в порядке опыта поручило печатанье одной небольшой книги типографу-частнику, владеющему своим собственным оборудованием. Поскольку он хорошо справился с этой работой, ему заказали напечатать книгу побольше и бóльшим тиражом, дав значительный аванс на покупку бумаги, матриц, краски и т. п. Частный предприниматель деньги взял, заказа не выполнил, отказался вернуть аванс и вдобавок пригрозил, что, если с него еще будут требовать отчета и расчета, донесет. Кто-то случайно узнал об этом и по своей инициативе создал оперативную группу. Оперативная группа нашла след бесчестного типографа, реквизировала у него оборудование и материалы и предупредила, чтоб он и не пытался донести. Вся операция оказалась в высшей степени успешной, но в другом смысле. Эта группа добровольцев могла передать оборудование тому издательству, которое потерпело ущерб, или организовать собственную типографию, или, наконец, продать эти драгоценные для подполья материалы и оборудования, а доход предназначить на любую другую независимую деятельность. Вместо этого добровольцы предпочли установить связь с региональной исполнительной комиссией «Солидарности», заявить о проведенной операции и предоставить РИК вынести решение о судьбе добытого оборудования и материалов. Получив поручение передать всё потерпевшему ущерб издательству, группа выполнила его так же быстро и безупречно, как и реквизицию. Подобные случаи нам самим позволяют осознать, до чего сильно в многообразном движении «Солидарности» чувство легализма и как это движение сплочено. Располагая малыми – в сравнении с размахом подполья, почти ничтожными – возможностями, мы можем сегодня выполнять нашу роль именно благодаря такому поведению всех тех безымян-

ных активистов, которые составляют это движение и работают в его рамках.

VI. Радикальные группировки подполья

Радикальные, «экстремистские» группировки в подполье существуют, и их существование необходимо по ряду причин. Во-первых, крайности вообще необходимы, чтобы мог существовать «центр». Несимметричное подрезание флангов приводит к опасному сдвигу центра – симметричное же приводит к его монополии. И то плохо, и другое нехорошо. Во-вторых, чем шире гамма различных взглядов, позиций, часто сталкивающихся друг с другом, тем большим выбором располагают люди, тем больше у них возможностей выработать свое мнение, сделать поправки, тем меньше опасность впасть в ослепление, в фанатизм. Демократическая система не на том основана, что все в ней являются демократами или что демократы обладают особыми привилегиями. Демократия – это, в частности, и возможность выбора, соблюдение воли большинства и уважение мнения меньшинства. Если сейчас в нашей стране существуют какие-то вкрапления, заповедники демократии, то к самым значительным, несомненно, принадлежит движение «Солидарности». Одна из его ценностей – то, что монолитной, централизованной тоталитарной системе оно противопоставляет плюрализм и полицентризм демократии. Если есть что-то, способное подготовить нас к независимости так, чтобы мы не отравили ее каким-то авторитарным, нетерпимым режимом отечественного производства, но могли пользоваться благами демократии, – то именно сегодняшнее подполье, гражданское, плюралистичное, полицентрическое, взаимно сотрудничающее, борющееся без применения силы. В таком подполье люди и группировки, представляя весьма разнообразные взгляды, течения, позиции, самими обстоятельствами вынуждены к сотрудничеству, взаимопониманию, взаимной терпимости и уважению. Это заставляет их учиться, приобретать много навыков, необходимых для построения будущей демократии и для жизни при демократии. В-третьих, радикальные группировки обогащают гамму подпольных структур и тем самым принуждают противника к большему дроблению, рассеиванию сил. И это тоже выгодно для всего движения «Солидарности».

Меня можно упрекнуть в чисто функциональном отношении к радикальным группировкам. Отвожу такой упрек. Я, действительно, не сторонник радикализма, крайности в любом направлении. Общественная жизнь, социальный организм – на мой взгляд, явление слишком сложное и слишком мало изученное, чтобы предпринимать попытки какого бы то ни было радикального его исправления. Да нам известны и результаты таких опытов в прошлом. Уже этой точки зрения достаточно, чтобы, не соглашаясь с радикализмом и, более того, будучи его противником, не отказывать ему в праве на существование и противостоять ненужной склонности к его искусственному исключению из общественно-политической жизни. Но дело не только в этом. Нельзя быть сторонником демократии и соблюдения прав человека и гражданина, отвергая терпимость к иным взглядам и их носителям. Поэтому, если меня спросить, вижу ли я в будущей – независимой и демократической – Польше место и право на существование для нацистских и коммунистических партий (равно омерзительных), если у таковых найдутся приверженцы, я ответил бы: конечно, даже для таких партий, хотя не для их штурмовых отрядов, использующих насилие. Если мне тогда скажут, что существование таких партий – угроза для демократии, я вынужден буду согласиться, но с оговоркой: существование таких партий – только симптом, подлинная же угроза – наличие людей такой ориентации, людей, которые создают подобные партии. Раз такие люди есть, то оценить размеры этой угрозы и противостоять ей так, как принято в цивилизованном мире, без нарушения исповедуемых нами принципов, мы можем только в том случае, если признаём за ними те же права, каких требуем для себя, в том числе право на свободное объединение и на провозглашение своих взглядов. Боюсь, что, отказывая антидемократическим группировкам в праве на существование, мы бы сами не заметили, как построили бы некую новую антидемократию.

Но велики ли шансы у радикальных группировок в Польше? Создают ли они какую-либо будущую угрозу? Если я не особенно опасаясь у нас левого радикализма – коммунисты от него успешно оттолкнули, – стоило бы, вероятно, сказать несколько слов на тему сильной преданности поляков национальным и религиозным традициям, в некоторых обстоятельствах способной принести результаты, об отсутствии которых

я бы не пожалел. Эта преданность интенсивно разжигалась нашествиями, разделами и оккупациями, угнетателями нации и религии. Больше всего мы претерпели от русских и немцев. Кроме того, и те и другие для поляков, в большинстве своем католиков, были в первую очередь иноверцами, а позднее – принося коммунизм и нацизм – атеистами. Вдобавок, как русские, так и немцы поворачивали против поляков жившие на одной с поляками территории национальные и вероисповедные меньшинства. Трудно сказать, чтобы такой опыт способствовал терпимости. Агрессоры, захватчики и оккупанты оставили нам модель власти, по меньшей мере не демократической. Сначала российское и прусское самодержавие, а позднее – нацистский и коммунистический тоталитаризм. Следует не забывать и о том, что за двадцатилетний период независимости между двумя мировыми войнами в Польше был лишь короткий период вполне демократического правления (1918 – 1926). После него наступил и до самой Второй мировой войны продолжался период авторитарного правления отечественного образца. Ностальгия по нему овеяна легендой Юзефа Пилсудского и потенциально тем более опасна. Все это вызывает во мне некоторые опасения по поводу национализма, нетерпимости и тяги к авторитаризму.

Для этих опасений – возможно, и дай Бог, преувеличенных – было и есть достаточно оснований, но есть факты, которые, вопреки им, дают надежду. Прежде всего, поляки в течение последнего полувека по горло сыты всем, что несет с собой авторитарное правление, и испытывают сильный анти-авторитарный инстинкт. Это проявилось хотя бы в широко известном и подвергавшемся критике переизбытке демократии НСПС «Солидарность», в неустанной жажде того, чтобы каждый голос был выслушан, чтобы каждый шаг демократически избранных профсоюзных органов контролировался, чтобы все становилось предметом обсуждения и голосования, в той неприязни, враждебности ко всему секретному, в болезненной чувствительности к проявлениям политики закрытых дверей, в недоверии к авторитетам. Вспоминаю, как эксперты «Солидарности» начали возбуждать недоверие к себе именно своими неявными начинаниями, как многие профсоюзные активисты выдвигали по адресу Леха Валэнсы серьезные обвинения в нарушении принципов профсоюзной демократии, а наконец и то, каким незначительным большинством голо-

сов, едва лишь несколькими процентами выше половины, он был избран председателем профсоюза. Все это, на мой взгляд, выросло, прежде всего, из опасения, что над демократией воцарится личность лидера. Помню также, с какою силой требовали, чтобы профсоюзная печать имела ничем не ограниченный доступ повсюду. Кроме того, в период легального существования НСПС «Солидарность» я непосредственно и повседневно наблюдал – особенно во время I съезда «Солидарности» в Гданьске – а косвенно наблюдаю и сейчас в подпольном движении «Солидарности», какой сравнительно малый резонанс получали и получают радикальные группировки.

В том, чтобы справиться с ксенофобией, большую роль сыграло сознание того, что соседние народы оказались под тем же самым игмом, под которым живем и мы. Тут большую работу – особенно когда речь идет об отношении к русским, украинцам, белорусам и литовцам – провела независимая печать, подпольные и эмигрантские издательства, а также западные радиопередачи на польском языке. Книги многих независимых русских писателей, говорящих о коммунистическом опыте этих народов, известны в Польше – их широко читают, особенно «Архипелаг ГУЛag» Александра Солженицына. Наша независимая печать посвящает много места проблематике соседних стран. Есть даже специальные бюллетени и ежеквартальники (например, «Информационный бюллетень» при журнале «Обуз» [«Лагерь»] и сам «Обуз»), посвященные исключительно этой проблематике. Чрезвычайно характерно то, что некоторые подпольные журналы, издаваемые группировками с националистической окраской, вначале обнаруживали известное непонимание позиций, занимаемых нашими восточными соседями в диалоге с поляками, но с течением времени в очередных номерах этих журналов становилась видна эволюция в направлении все большего понимания противоположной стороны и желания выработать соглашение, иногда даже в направлении отказа от некоторых первоначально провозглашавшихся тезисов. Думаю, что подобная, полезная для всех эволюция не произошла бы без участия читателей, без полемики со стороны других журналов, без общественной атмосферы, которая способствовала такой эволюции, ибо, как видно, оказалась не слишком доброжелательна к взглядам тех, кто упирается в собственное подворье и пренебрегает

правами, чаяниями и интересами украинцев, белорусов и литовцев.

Что касается терпимости в области вероисповеданий, взаимопонимания, вступления в диалог и взаимодействия, то здесь большая заслуга принадлежит Католической Церкви после Второго Ватиканского Собора и особенно личности Иоанна-Павла II, хотя новые (для политики Католической Церкви) идеи нелегко прокладывают себе дорогу в обществе, особенно среди некоторой части по природе своей консервативного духовенства.

Наконец еще раз напомним, что школой демократии, а следовательно, и помехой всяческого рода радикализму является именно такое подполье, какое существует в Польше, т. е. прежде всего гражданское, плюралистическое и ведущее борьбу без применения насилия.

VII. Перспективы подполья

Я не футуролог, чтобы сказать, сколько времени еще будет существовать подполье, и уже привык к тому, что возможны всяческие перемены, вплоть до самых неожиданных. На основе прошлого опыта можно сказать, что подполье существовало и существует повсюду, где народам отказывают в их неотъемлемых правах. В Польше подполье в том или ином виде и с большим или меньшим размахом существует, с небольшими перерывами, с того момента, как мы утратили независимость, т. е. почти двести лет. За нами опыт этих почти двух столетий, наполненных не только восстаниями, партизанскими боями и армейской конспирацией, но и разного рода гражданским подпольем. Чтобы не быть голословным, напомним хотя бы, что после третьего раздела Польши (1795) первые ростки подпольных организаций, борющихся за независимость, и конспиративных изданий появились не позже 1815 года, а первые книги были выпущены подпольно в 1832 – 1834 гг.; что величайший польский национальный поэт Адам Мицкевич был одним из основателей тайного общества патриотической молодежи – филаретов (1820); что позднее, в течение XIX века, тайные школы действовали в поместьях, ширилось нелегальное массовое движение трезвости, неподцензурно изданные брошюры которого широко распространя-

лись, а царская полиция изымала их на деревенских ярмарках; что классик польской литературы Стефан Жеромский в школьные годы (под конец 1870-х) брал книги из сети тайных библиотек, где распространялись запрещенные западные издания, прибывавшие из Франции, Германии, Англии. Период Второй мировой войны – это тоже не только Армия Крайова, но и широкая гражданская конспирация. По окончании Второй мировой войны, когда открытая немецкая оккупация сменилась советской оккупацией, прикрытой декорациями независимости и служившей превращению Польши в советскую полуколонию, поляки испробовали продолжение борьбы на обоих путях. Явной и официальной оппозицией было Польске Стронництво Людове, а подпольную деятельность вели уцелевшие останки Армии Крайовой. ПСЛ было разгромлено в 1947 году, а послевоенное вооруженное подполье окончательно ликвидировано только в 1957-м, однако вскоре после этого были предприняты попытки создания гражданского подполья. Напомню о деятельности группы т. н. татарников, переносивших через Татры в Польшу эмигрантские издания, или о группе «Рух» 1970 года. Эти попытки кончились провалом, активисты обеих групп были приговорены к тюремному заключению. Следующий этап открыла деятельность Комитета защиты рабочих, созданного в 1976 году, и связанных с ним, по существу подпольных, издательских структур. Тогда выходило около ста названий подпольной прессы и действовало несколько десятков книгоиздательств, крупнейшее из которых – НОВА – выпустило более ста названий книг. Так или иначе в этой конспирации участвовали тысячи людей. После объявления военного положения возникло то, что мы называем подпольным обществом, – общественное движение «Солидарности». Таков был ответ на попытку «завинтить гайки» полякам. Ныне у нас позади несколько лет существования подполья, возникшего в самый тяжкий период, во время военного положения. Как оно теперь выглядит?

Мы начинали с листовок, написанных от руки и затем размноженных на ротаторе. Такую листовку я держал в руках уже 15 декабря 1981 года. Уже в первые недели, до конца декабря, появились первые информационные бюллетени, которые перепечатывались под копирку на машинке, точно так, как в 1976 году первые номера «Информационного бюллетеня»

КОРа. Уже действовали с трудом восстанавливаемые тайные звенья НСПС «Солидарность». Сегодня у нас есть подпольные журналы, иллюстрированные фотографиями. Тиражи наиболее читаемых изданий – например, «Тыгодника Мазовше» – достигают 40 тыс. экземпляров, не считая допечаток. Вместе с допечатками этот тираж можно оценить примерно в 60 тысяч. По данным одного из подпольных архивов, между декабрем 1981 и 1984 гг. выходило 1047 названий подпольной периодики. Конечно, некоторые были подденками, другие теперь уже не выходят, но огромная их часть продолжает издаваться. Действуют фирмы магнитофонных и видеокассет, местные радиостанции Радио Солидарность. Кроме НСПС «Солидарность», работают сотни других независимых структур, о которых я уже говорил.

В начале военного положения люди были подавлены и потрясены размахом несчастья. Они смотрели вокруг, стремясь увидеть, что устояло перед этим штормом. Кто ему не поддастся? Кто вновь поднимется и что сделает? Капитулировать, слепо мстить или собраться с силами и продолжать гражданскую войну? Именно тогда, когда люди задавали себе самим такие вопросы, мы начинали строить подполье. Оно было крайне слабое, неорганизованное, бесструктурное, не имевшее ни средств на ведение борьбы, ни ясного знания, надо ли ее вести и если надо, то как именно. Если бы тогда были схвачены и посажены те полтора десятка членов профсоюзного руководства, которые по случайности уцелели от погрома 13 декабря, удар нанес бы непоправимые потери. Тогда мы были абсолютно необходимы. Сегодня эти времена ушли в прошлое. Мы сумели подняться и сделать не только первые шаги, но и следующие. Подполье было выстроено и постоянно расширяется и действует. Сегодня оно в состоянии функционировать и без нас – так оно, вероятно, и будет, если в конце концов нас выловит полиция, хотя непохоже, чтобы это удалось ей слишком скоро. Нижнесилезский регион (Вроцлав) потерял одного за другим трех лидеров, действовавших в подполье под своим именем. И нашелся четвертый, который объявил свое имя, чтобы заменить арестованных. В регионе Мазовия (Варшава) было четыре члена Региональной исполнительной комиссии – мы потеряли двоих, но на их место кооптировали двух новых, из которых один, Конрад Белинский, бежал из лагеря интернирования, а второй, Янек Ли-

тынский, – из тюрьмы. В Силезско-Домбровском регионе (Катовице) не было никого, уцелевшего от погрома в декабрьскую ночь. Тадеуш Едынак, зам. председателя регионального правления, выйдя из лагеря интернирования, решил уйти в подполье, сдвинул регион с места и развернул работу. Неизвестно, выступят ли под своими именами члены руководства многих регионов, действующие анонимно, да пока это и не обязательно: пока нам хватает людей для пополнения потерь в составе Временной координационной комиссии.

Принцип, согласно которому члены ВКК выступают под своими именами, был принят при ее создании во время военного положения, так как на тех, кто входил в ее состав, все равно были выпущены розыскные листы, а кроме того, было важно поддержать дух у членов профсоюза и обрести их доверие. Этот принцип сохраняется, чтобы помешать полиции ввести в ВКК своих анонимных агентов, которые в удобных обстоятельствах могли бы захватить руководство профсоюзом с целью окончательного его уничтожения. В прошлом именно это произошло с крупнейшей вооруженной конспиративной организацией послевоенного времени (ВиН – «Свобода и независимость»), и этого мы хотим избежать*. Сегодня, если коммунисты переловят даже весь состав ВКК, им это мало что даст, так как он будет заменен новым составом. Если схватят полный состав какой-либо из региональных комиссий, останутся комиссии других регионов, представители которых входят в состав ВКК. Следует добавить, что как ВКК, так и региональные комиссии не собираются ни слишком часто, ни слишком регулярно и соблюдают при этом величайшую осторожность.

Говоря о будущем, стоит обратить внимание еще на один фактор, играющий, на мой взгляд, немаловажную роль в жизни-неспособности подполья. Наблюдая в течение четырех лет работающих в нем людей, я отчетливо вижу, что эта работа, несмотря ни на что, дает им огромное личное удовлетворение.

* Напомним, что это написано достаточно давно, но, возможно, это предостережение может стать актуальным: некоторые из наших вдумчиво комментирующих события польских друзей в Париже с опаской отнеслись к созданию анонимной ВКК и сравнивали ее именно с «четвертым командованием ВиНа». – Р е д.

Чтобы понять, почему это так, нужно представлять себе все тяготы повседневной жизни в условиях тоталитарного режима. Этот режим стесняет и ограничивает человека практически со всех сторон и всеми возможными способами: от ничтожной заработной платы, отсутствия товаров на рынке, непреодолимых бюрократических рогаток, возникающих перед «просителями» в любом учреждении, препятствий в доступе к информации и культуре, в обмене мыслями и мнениями – вплоть до отсутствия гражданских свобод и постоянно-го, назойливого «промывания мозгов» пропагандой идеологии, в которую никто не верит. Сюда следует добавить различные обязанности и обязательства, произвольно, а зачастую и противоправно накладываемые на граждан не только самим режимом, но и самыми разнообразными его прислужниками. Всюду человека подстерегают тысячи запретов или предписаний, всюду сталкивается он с преградами и барьерами, всюду сети, из которых невозможно высвободиться. Человек чувствует себя запертым в клетке. Фактически у него только один выбор: либо двигаться по заранее установленным рельсам в заранее указанном направлении, либо сойти с рельсов и погибнуть. Разумеется, жизнь вынуждает отклоняться от намеченного пути и нарушать утвержденное расписание, велит иногда протянуть руку за прутья клетки, но это, в свою очередь, приводит к тому, что каждый оказывается в чем-то виновен, в чем-то подозревается или просто является неизобличенным преступником перед лицом писаного и неписаного беззакония.

Принимая решение присоединиться к работающим в подполье, люди могут, наконец, руководствоваться собственным, добровольным выбором, собственным разумом и совестью. Здесь они встречаются с доверием и могут поверить сами, здесь ими овладевает ощущение общности с другими людьми. Никто им не «промывает мозгов», не лезет в душу, никто не следит с подозрением за каждым их шагом. Они несут только те обязанности, которые сами берут на себя, и отчитываются в их выполнении прежде всего перед самими собой. Конечно, они рискуют, над ними постоянно висит угроза разоблачения – но ведь в условиях коммунизма и так каждый в чем-либо да виноват. Если все равно приходится давать взятки, пользоваться услугами спекулянтов, покупать краденый бензин и обманывать чиновников и начальство – так почему

же тогда не распространять запрещенную литературу или не печатать ее? Тем более, что это гораздо приятнее и интереснее.

Я постоянно убеждаюсь, что многие люди испытывают самую настоящую потребность в свободной жизни, а в наших условиях удовлетворить эту потребность они могут только в подполье. Мне известны случаи, когда люди, подавленные, пришибленные и сломленные коммунистической действительностью, после начала работы в подполье оживали и изменялись до неузнаваемости. Бывало, наступившая перемена настолько бросалась в глаза их родным и близким, что те, не на шутку обеспокоенные, усматривали ее причину в тайном увлечении... романического характера. Случается, что работающие в подполье не дожидаются конца отпуска или окончательного выздоровления после болезни, чтобы только быстрее вернуться к своей деятельности. Тот, кто не утратил этой – зачастую неосознанной – потребности в свободной жизни и уже однажды ощутил, что нелегальная работа приносит удовлетворение этой потребности, а еще к тому же сумел справиться со страхом и ощущением опасности и научился передвигаться в условиях конспирации, – тот так просто от этого не откажется. Я помню одно признание: «Слушай, это как наркотик... Потом уже без него не обойтись. Все остальное кажется пустым, серым и незначительным». Нельзя забывать, что этот «вкус свободы» ощутила сегодня определенная часть молодежи, по природе своей более предрасположенная к подобным переживаниям.

Я полагаю, что коммунисты все еще не в состоянии уничтожить подполье, хотя и могут нанести ему тяжелый ущерб. Подполье в его теперешнем виде может существовать и даже развиваться в течение еще продолжительного времени – по моему мнению, до того момента, пока режим не откажется от проведения политики ограничения гражданских свобод и столь широкого нарушения прав человека. Подполье в том или ином виде – возможно, в меньшем масштабе – может (и, по-видимому, будет) продолжать свою деятельность вплоть до возвращения независимости страны и восстановления демократии, если только не возникнут совершенно непредвиденные обстоятельства, как, например, введение в Польше массового, кровавого советского террора или... третья мировая война.

VIII. Сила и трудности подполья

Как нам удалось продержаться столько лет? Я и сам удивляюсь! Честно говоря, я этого не ожидал. Хорошо помня сталинские времена и недооценивая многих происшедших с тех пор перемен самого разнообразного характера, в начальный период военного положения я был уверен, что наши дни сочтены. Оказалось же, что мы не только сумели продержаться четыре года, но даже сумели создать такое подполье, которого не представляли себе в самых смелых мечтах. Причин этому много, и я ограничусь здесь лишь теми, которые мне кажутся важнейшими.

Репрессивность сегодняшнего коммунизма (там, где он не ведет открытых военных действий) несравнимо меньше по сравнению с прошлым. Нужно помнить, что в Польше сталинских времен вполне обычной практикой были индивидуальные и коллективные политические убийства, уничтожение людей без суда, где угодно и за что угодно – даже, например, за принадлежность к ПСЛ, в то время официально признанной партии. Специальные части окружали и сжигали целые села, истребляя при этом жителей (например, Вонвольница). Повседневным явлением были политические процессы, заканчивавшиеся осуждением на многолетнее тюремное заключение и даже на смерть.

Сегодня огромное большинство тех, кто работает в конспирации, не помнит того времени. Это более молодое поколение. Ночь с 12 на 13 декабря вызвала в обществе моральный шок. Даже те, кто принадлежал к довольно многочисленной группе не принимавших по тем или иным причинам участия в общественной и, тем более, в политической деятельности, не могли оставаться в стороне. Они считали своим моральным долгом активно выступить на стороне массы людей, открыто и жестоко преследуемых только за то, что они хотели жить по-человечески. Террор оказался слишком слаб для того, чтобы запугать общество, и слишком силен, чтобы оно осталось безразличным. Что касается нас, то мы избрали тактику гражданской борьбы без применения насилия: это тоже сыграло и продолжает играть важную роль. Кроме того, мы действуем сегодня в таких больших и многонаселенных городах, каких в свое время не было. Мы ведем городские партизанские дей-

ствия гражданскими, а не военными методами: мы ни в кого не стреляем и никого не убиваем.

Конспиративная деятельность охватила огромное количество людей, стала всеобщим явлением. Многочисленность независимых друг от друга организаций, различных организационных структур плюралистического движения «Солидарности» создает необычайно сложную общую картину подполья, в которой трудно ориентироваться, так что если противнику удалось нащупать одно какое-то звено, то приобретенное им преимущество оказывается минимальным. Уменьшенные габариты оборудования, его технические и практические достоинства, повышенная производительность предоставляют огромные возможности его незаметного использования, транспортировки и хранения. Все это необычайно затрудняет действия полиции. Сегодня уже само установление постоянной слежки за известными полиции деятелями оппозиции, попытка установить все их связи и контакты представляется физически неосуществимой по очень простой причине: этих людей слишком много.

Как можно арестовать или осудить всех участников демонстрации, когда их число составляет несколько тысяч? Десять? Двадцать? А что происходит, когда полиция перехватывает нить, ведущую к какой-либо из подпольных структур, и начинает идти по следу? В худшем случае будет разгромлена одна из сотен и тысяч таких структур. Остальные продолжают работу, а на месте уничтоженной организации создается новая. Вообще говоря, на определенном этапе дальнейшая слежка или проникновение агентов полиции в подпольные организации либо становятся невозможными, либо их раскрывают подпольщики. След обрывается. Полиция арестовывает нескольких человек, конфискует какое-то количество литературы, оборудования, материалов, денежных средств – впрочем, обычно не всё сразу. Только изредка им удается схватить одновременно и людей, и средства. А каков оказывается результат? Уменьшенный тираж или запоздание публикации, иногда более или менее длительный перерыв в деятельности структуры до момента реорганизации, замены людей, восполнения потерь, нахождения новых помещений – после чего работа продолжается дальше.

Одному из номеров квартальника «Критика» особенно не повезло. Три или четыре раза полиция помешала его выходу в

свет: один раз им в руки попал подготовительный материал, другой – готовые матрицы, а еще как-то – готовый тираж. Этот выпуск «Критики» появился с очень большим опозданием – год или даже больше. Но тем временем выходили очередные, текущие номера этого издания. Не раз нам самим казалось, что после ареста редакционной коллегии какого-либо периодического издания оно перестанет выходить, что после обнаружения типографии распадется подпольное издательство, что после того, как были взяты организаторы Радио Солидарность, оно замолчит, что после ареста всего состава какой-либо профсоюзной комиссии она навсегда прекратит свое существование, – а тем временем все происходило иначе. Следует, по всей вероятности, помнить и о том, что само подполье совершенствуется и закаляется, что мы разрабатываем новые средства обеспечения нашей безопасности, что мы изменяем и приспособляем к требованиям времени организационные структуры, что люди приобретают все больший и больший опыт нелегальной работы, что мы, наконец, применяем новые технические решения, улучшая получаемое оборудование и приспособлявая его к нашим потребностям и запросам, а в некоторых областях используем оригинальные идеи, достойные того, чтобы их запатентовать.

Последний из перечисляемых мною факторов – это своеобразная демобилизация (с точки зрения коммунистического режима) аппарата самой власти. Не следует переоценивать важности этого фактора, но было бы неразумно и не замечать его. Сам за себя говорит тот факт, что во время военного положения на улицы отправлялись смешанные патрули, состоящие из милиционеров и солдат, которые должны были присматривать друг за другом. Нам известны случаи, когда в Комитет помощи заключенным при Примасе Польши приходило по несколько милиционеров из снискавших себе особенно зловещую славу формирований ЗОМО (моторизованные резервные части милиции) – только для того, чтобы передать в фонд помощи заключенным деньги, иногда собранные вкладчину среди доверенных сослуживцев, а иногда являющиеся не чем иным, как их собственными премиями, полученными за разгон независимых уличных демонстраций 1 и 3 мая! Один из распространителей литературы, когда остановивший его патруль спросил, что он несет в сумке, ответил: «Три года!» Такой тюремный срок полагался бы за найденные у

него подпольные газеты или листовки. Его отпустили, не заглянув в сумку. Когда одного из водителей, который вез в багажнике партию бумаги для подпольной типографии, задержали для проверки, он не вылез из машины и лишь открыл багажник, как потребовали милиционеры. А они заглянули внутрь, захлопнули багажник и велели ему ехать дальше. Хозяев дома, где скрывался один из членов подпольного руководства «Солидарности», предупредили о предстоявшей через несколько часов полицейской облаве: в результате, полиция ничего не нашла. Трое (!) сотрудников одного из отделов МВД – независимо и втайне друг от друга – предостерегли одного из членов оппозиции перед доносчиком. Существуют примеры, когда скрывавшиеся члены подпольного руководства НСПС «Солидарность» находили себе приют в домах членов партии и даже офицеров МВД. В 1984 году в Гданьске за сотрудничество с НСПС «Солидарность» было арестовано двое офицеров госбезопасности. Среди арестованных в 1985 году есть высшие офицеры армии. Красноречивым примером являются также многочисленные тайные документы властей, опубликованные в независимой печати. Повторяю: это лишь отдельные случаи – или, вернее, немногочисленные примеры единичных случаев, – которые не следует слишком поспешно обобщать, но и они, как мне кажется, внесли какую-то скромную долю в наш общий успех.

Мне бы не хотелось, чтобы из моих слов возникла некая слишком уж оптимистическая картина существующей ситуации. Наряду с успехами, нашу работу характеризуют многочисленные трудности и слабые места. Потрясение, которым стало 13 декабря и введение военного положения, уже далеко в прошлом. Настроения в обществе меняются: отчаяние и надежда уступают место усталости, разочарованию, ощущению собственного бессилия и безнадежности, тревоге и изнеможению перед лицом повседневных бытовых трудностей. Возникает искушение ухода в личную или семейную жизнь, появляются настроения, окрашенные эскапизмом, а иногда и самым обычным оппортунизмом. Люди во все большей степени поглощены поисками средств к существованию, удовлетворением элементарных жизненных потребностей. Зачем им рисковать головой, если в ближайшем будущем они не видят никакого просвета, который принесет хотя бы частичное осуществление их надежд? Начиная с 13 декабря и по сей день они

черпали силы из происходивших перемен – вернее, из надежд на перемены к лучшему. Что-то происходило: военное положение было периодом выжидания и борьбы за его отмену; были амнистии – сначала одна, потом вторая; выборы – в местные советы, потом в Сейм. Пусть даже эти выборы были фарсом – но все равно что-то происходило, люди чего-то ждали.

Теперь этот период подошел к концу. Начинается повседневная борьба за выживание. Все это приводит к ослаблению активности профсоюзных структур на предприятиях. И без того чрезвычайно сложное, ведение конспиративной работы в небольших городах, в провинции, в деревнях становится еще труднее. В нашем движении, приобретшем столь широкий размах, мы испытываем ощутимую нужду в достаточном количестве самостоятельных активистов – организаторов и руководителей, – обладающих инициативой и умением работать с людьми, которых коммунистический режим приучил к пассивности, ожиданию распоряжений и их выполнению, а отнюдь не к способности самоорганизовываться. Мы сталкиваемся со значительными трудностями при поисках все новых и новых помещений для самых разнообразных целей. Очень сильно ощущается нехватка подготовленных печатников, связистов и специалистов других профессий. Мы по-прежнему страдаем от хронического дефицита необходимых машин, оборудования и материалов – в первую очередь для различного рода издательств. Абсолютно не соответствуют нашим потребностям существующие каналы связи с границей, да и связь внутри страны мы не в состоянии организовать удовлетворительным образом. Нам не хватает составленных экспертами обзоров общего характера по различным вопросам, а также людей, которые занимались бы составлением перспективных программ и планов. Все наши активисты полностью поглощены текущей работой, объем которой во много раз превосходит их силы и возможности. Наконец, мы по-прежнему остро ощущаем недостаток денежных средств. Ведущаяся в столь широком масштабе гражданская борьба требует их несравнимо меньше, чем борьба вооруженная, но все же гораздо больше того, чем мы располагаем. Мы по-прежнему вынуждены опираться на безвозмездную работу на общественных началах, что особенно нелегко в случае общества, живущего в условиях постоянной нехватки средств к существованию. Мы постоянно вынуждены чем-то жертво-

вать, отказывать каким-то структурам в финансовой поддержке, отменять или откладывать до лучших времен осуществление тех или иных проектов. У нас почти нет никаких резервов, и в конце каждого года мы с тревогой думаем о том, как будет обстоять дело в следующем году. Единственные средства, которыми располагают все без исключения структуры «Солидарности», – это средства общественные. Они поступают от населения нашей страны и от самых разнообразных общественных организаций, профсоюзов, обществ, фондов и частных лиц на Западе. Всего этого, однако, далеко не достаточно для удовлетворения потребностей нашего движения, хотя без этих средств оно наверняка не смогло бы приобрести столь широкий размах, каким обладает сегодня.

Что же для нас является самым трудным и самым тяжким, а что помогает жить и работать в подполье, несмотря на все эти тяжести и трудности? Я предпочел бы сначала рассказать о том, что нам помогает. Прежде всего – это присутствие таких замечательных людей, как те, которые с нами сотрудничают. Это люди, которые занимаются вспомогательной деятельностью: наши связные, организационно-технические работники, те, кто предоставляет нам жилье, кормит, одевает, лечит. Все они занимаются самой неблагодарной работой – работой в сфере обслуживания в самом полном значении этого слова. Они отдают свой труд, свое время, самих себя повседневному, незаметному труду, результаты которого не бросаются в глаза. Они до самого конца вынуждены оставаться безымянными, никому не известными. Иногда даже самые близкие им люди, их семьи не имеют ни малейшего представления о той роли, которую они играют в подполье. Эти люди добровольно берут на себя риск не меньший, чем мы сами, оказавшись в подполье в каком-то смысле вынужденно. Их работа требует обладания выдающимися личными качествами и чертами характера, и в то же время – огромных усилий. Сами по себе условия конспиративной работы производят строгий, безжалостный отбор человеческих характеров. В нормальной жизни, работая в любом учреждении или на предприятии, мы имеем дело с самыми разными людьми – в подполье же мы окружены людьми выдающимися.

Когда-то, еще во время военного положения, меня приютила одинокая, работающая женщина с ребенком. У нее была возможность выехать на Запад и весьма неплохо с мате-

риальной точки зрения там устроиться, но она этой возможностью не воспользовалась. Она осталась в Польше, потому что считала, что ее место здесь – несмотря на все, что произошло. Она прятала меня, не обращая внимание на грозящую ей из-за этого опасность, и, более того, ей этого казалось мало по сравнению с тем, что она могла бы и должна была сделать. Как мы знаем по опыту, в таких случаях тщетны все попытки убедить человека, что именно такая форма сотрудничества имеет для нас огромное, принципиальное значение. Таким образом, нам оставалось либо не давать этой женщине никаких дополнительных поручений и в этом случае рисковать тем, что она начнет сотрудничать еще с какой-нибудь подпольной структурой (а перекрещивания и пересечения различных конспиративных сетей мы тщательно избегаем), либо же доверить ей более широкий круг заданий. Нам пришлось выбрать вторую возможность. Как всегда в подобных случаях, я провел с ней предварительную беседу, где обрисовал все связанные с этим дополнительные трудности и повышенную опасность. Встречаются люди, которые после подобной серьезной и откровенной беседы отказываются от своих прежних намерений. Под конец нашего разговора я выдвинул решающий аргумент. «Как ты поступишь, – спросил я, – когда уже окажешься там, в следственной тюрьме, и со всей остротой осознаешь, что тебе грозит провести за решеткой долгие годы, – и если именно в этот момент тебя начнут шантажировать судьбой твоего ребенка? Ведь нам известны такие случаи, и ты знаешь, что они на это способны». – «Я все знаю, – ответила она коротко, – и все обдумала. Если меня заберут, то ребенок сразу же перейдет под опеку моей ближайшей подруги и будет воспитываться вместе с ее детьми. Это уже решено. Все остальное от меня не зависит, хоть я и знаю, что всякое может случиться». После такого ответа мне нечего было добавить. Впрочем, вскоре случайность добавила к этой истории одну любопытную подробность. Эта женщина получила повестку с предложением явиться в милицию (потом выяснилось, что был какой-то банальный административный вопрос). За день или два до срока, обозначенного в повестке, она вернулась домой позже обычного. Ребенка не было. Из дома исчезли также все подпольные издания, плакаты и значки «Солидарности», письма и т. п. Оказалось, что ребенок сопоставил затянувшееся отсутствие матери со злополучной повесткой. Будучи уве-

рен, что мать арестована, он немедленно разыскал материалы, которые, по его мнению, могли бы заинтересовать полицию и повредить матери, запаковал их и самостоятельно отвез к друзьям, после чего позвонил в ту семью, под чью опеку должен был перейти, и попросил, чтобы его забрали из дому. Разумеется, обнаружив дом в таком состоянии, мать обо всем догадалась и забрала ребенка обратно. Другая мать, работающая в подполье, отправила своих детей за границу, чтобы они не могли стать орудием шантажа или объектом мести полиции, которая уже сделала первые шаги в этом направлении.

Во время одной из своих последних поездок на Запад Владислав Бартошевский* в очередной раз выслушивал выражения признательности за внесенный им вклад в дело спасения евреев во время гитлеровской оккупации, когда ему был задан вопрос, не испытывал ли он тогда страха. Он ответил: «Я боялся, боюсь и буду бояться, но это еще не повод, чтобы не быть человеком». Эта фраза могла бы служить девизом для очень многих людей, которые с нами сотрудничают.

Оторванные от наших семей, мы нашли в подполье большую семью людей, с которыми нас связывают не родственные отношения, но узы взаимной преданности и доверия, а также условия жизни и работы в обстановке постоянной опасности. Это чрезвычайно крепкие узы. Мы много думаем друг о друге и очень друг за друга беспокоимся. Эти узы сближают и поддерживают нас и накладывают на нас взаимные обязательства. Это драгоценное приобретение. Руководители и активисты подпольных структур – как профсоюзных, так и прочих – часто говорят нам: «Чем рисковать тем, что вас схватит полиция, лучше ничего не делайте – просто оставайтесь на свободе. Вы будете подписывать коммюнике, воззвания и т. п., а все остальное предоставьте нам». Разумеется, с таким подходом мы согласиться не можем. По большей части каждый из этих людей работает за двоих или за троих. Каждый из них трудится буквально как вол. А ведь у них тоже есть семьи и работа, которой они должны зарабатывать себе на жизнь. К этому добавляется работа в подполье, призванная удовлетворить множество потребностей и ожиданий общества. Это значит, что люди сами накладывают на себя огромное бремя обяза-

* Польский историк, участник антифашистского сопротивления, политзаключенный сталинских времен. – П е р.

тельств, которое вынести чрезвычайно тяжело. Те, кто отдает подпольной «Солидарности» свой труд и свое время, делают это ценой отказа от отдыха, от дополнительного заработка, ценой потери здоровья и лишения своих семей возможности общения с ними. Именно эти люди нуждаются в нас, если можно так выразиться, непосредственно, и именно их присутствие обязывает нас ко многому и накладывает на нас особое чувство ответственности. Количество работы, которой мы все загружены, также помогает вынести тяготы подпольной жизни.

А что является самым трудным, самым тяжелым? По разным причинам мне нелегко говорить обо всем, нелегко даже поставить что-то на первое место. Поэтому я не буду устанавливать определенного порядка и просто остановлюсь на нескольких моментах. Жизнь в подполье можно сравнить с пребыванием в состоянии невесомости в густом тумане. Когда человек живет нормальной жизнью, у него есть свой дом, своя работа, близкие, друзья, знакомые, круг интересов. Он знает, где и когда он может найти кого-то или что-то, знает маршруты, по которым ходит или ездит. Мы живем как кочевники. Сегодня здесь, завтра – там, да и то редко знаем заранее, где мы окажемся завтра. Постоянно сменяются лица, обстановка, квартиры. Мы непрерывно кружимся по орбитам в космическом пространстве больших городов. Направление этих орбит от нас не зависит. Его диктует случай, стечение обстоятельств. Нам постоянно приходится привыкать к незнакомым людям, осваиваться с незнакомой обстановкой и находить в ней место для себя и для того, что мы носим с собой в дорожной сумке. Каждый раз приходится заново вписываться в систему отношений между людьми, привыкать к новым индивидуальностям, приспосабливаться к новой атмосфере, завязывать новые связи, учиться жить под одной крышей с незнакомыми семьями. Едва освоишься, приспособишься к новому ритму жизни, научишься жить в новой семье и передвигаться в новом помещении, как уже пора двигаться дальше. Только теперь, спустя годы, я вижу, как сильно я изменился, как развились мои способности к адаптации, как мало мне нужно, чтобы жить.

Трудно переносится также ощущение зависимости от людей, которые нам помогают, в сочетании с огромной ответственностью за них. Мы, так сказать, обречены зависеть от

помощи других людей. Мы обременяем их самими собой, нашими большими или меньшими потребностями и ограничениями, накладываем на них обязательства, вытекающие из самого факта нашего существования, и вынуждены непрерывно пользоваться их заботой и самоотверженностью. Такое положение можно в какой-то мере сравнить с положением инвалидов, которые многого просто не в состоянии сделать без посторонней помощи. Вдобавок ко всему, мы еще подвергаем этих людей опасности. Мы вынуждены предпринимать не только такие меры предосторожности или связывать себя такими ограничениями, которые являются объективно обоснованными, но и дополнительные, дающие ощущение большей безопасности тем, кто нам помогает.

Что еще ложится на нас тяжелым грузом? Мысли, которые знакомы каждому из нас, которые приходят в минуту одиночества или краткого отдыха. Бывают такие моменты, когда будущее кажется беспросветным – как для тебя самого, так и для всей страны. Именно тогда, как писал Мандельштам, «мы живем, под собою не чуя страны». Сколько все это продлится? Когда и к какому берегу мы пристанем? К чему вернемся? Что еще будет нам дано, а что отнято? Лично мне труднее преодолеть скорее эмоциональный, нежели рациональный пессимизм – впрочем, это относится к самым разным проблемам. Я говорю это независимо от всего того, что уже сказал выше. Боюсь, что коммунизм просуществует еще долго, что он, несмотря ни на что, будет добиваться успехов, что ни мое, ни следующее поколение поляков не дождетсa освобождения, что, наконец, Третья мировая война неизбежна. То, что я так вижу будущее – вернее, не вижу будущего, – вовсе не вытекает из теперешней ситуации. Надежды на будущее оказывались развеянными не один раз. Так было после окончания Второй мировой войны, когда в Польше на смену фашистам пришли коммунисты; после разгрома ПСЛ в 1947 году; после замораживания «оттепели»; после подавления венгерской революции и Пражской весны и, наконец, после декабрьской ночи 1981 года. Так было в течение 150 лет неволи расчлененной Польши, после которых независимой Польше дали просуществовать всего лишь 20 лет. Думая обо всем этом, я не нахожу слишком много причин для веры в предвидимое будущее. Я утешаю себя тем, что не являюсь исключением. Мне хорошо известно, что после окончания Второй мировой войны без какой-либо

веры в будущее и несмотря на ее отсутствие в захваченную коммунистами Польшу вернулись и продолжали работать на благо своей страны руководители ПСЛ. Я полагаю, что многие участники оппозиции в СССР ведут свою борьбу также без надежды на скорейшие перемены, на то, что они их дождутся. Мои представления о будущем вовсе не обязаны оказаться пророческими – это лишь вопрос веры или ее отсутствия. Признаюсь, что веры у меня не слишком много – и я завидую другим, у которых она есть*. Что же делать тем, кому недостает веры? Я думаю, что всегда нужно использовать любую, даже самую минимальную возможность действовать – хотя бы только затем, чтоб потом не упрекать себя в том, что она была упущена. И кроме того, человеку подобает жить по-человечески – а неволя вовсе не является его естественным состоянием.

IX. О польско-русских отношениях

Первые сообщения о деятельности оппозиции в СССР дошли до меня много лет назад благодаря передачам западных радиостанций. Радиопередачи – вещь сиюминутная, а память – ненадежная, так что я начал вести записи. В течение многих лет я систематически записывал сведения о «тюремной цивилизации» и оппозиции в СССР. В результате еще до того, как было опубликовано достаточное количество книг на эту тему, я располагал собственной маленькой «энциклопедией», позволявшей мне как-то ориентироваться в этой области. Я считал, что если там страдают люди, такое множество людей, и мы ничем не можем им помочь, то единственное, что мы можем сделать для них, – это знать их и помнить, и в меру своих сил противодействовать распространению коммунизма в нашей

* В октябре 1982 г. Збигнев Буяк, председатель Временной координационной комиссии подпольной «Солидарности», вспоминал: «Из людей, которых я знал, единственным, кто предсказывал военное положение, был Виктор Кулерский – притом он делал это несмело, не желая (как он сам говорил) сеять капитулянтские настроения. Но в декабре он уже решительно утверждал: соглашение с властью не может входить в расчет. Да, он один попал в точку». (Цит. по: М. Лопинский, М. Москит, М. Вильк, «Нелегалы», изд-во ОРІ, Лондон, 1987, стр. 8) – П р и м е р.

стране, там, где мы живем. Потом появились книги, изданные в Париже, в библиотеке «Культуры». Я очень многим обязан этому издательству. Книги, издаваемые парижской «Культурой», постоянно ходили по рукам и пользовались огромной популярностью. Не раз я получал для прочтения пухлый том буквально на одни сутки, потому что он путешествовал из рук счастливого владельца по длинной цепочке читателей-посредников, и всегда на очереди стояли еще другие. Такой том ты начинал читать сразу же после возвращения с работы, а заканчивал уже на рассвете. Самой важной книгой был «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына. Вначале я слушал его в отрывках, в конгениальном чтении диктора радиостанции «Свободная Европа», а затем прочел следующие тома. Я принадлежу к поколению, которое хорошо помнит годы Второй мировой войны и установление коммунистического порядка в завоеванной Польше. Несмотря на это, чтение «Архипелага» было для меня потрясением. Впрочем, то же самое я слышал и от других читателей этой книги. Ее нельзя читать безнаказанно. Она преображает человека. Тогда, уже накопив многолетний жизненный опыт и дополнив его чтением, я пришел к следующей мысли. Если там, в самой России, где были уничтожены миллионы и миллионы людей, в этом море страданий, слез и крови, после полувекового яростного и нещадного истребления всего человеческого вырастают такие люди, как Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Андрей Сахаров, Александр Солженицын и многие-многие другие, известные и неизвестные, – то это значит, что человечность возрождается сама по себе, как феникс из пепла, что она неуничтожима, пока не стерт с лица Земли весь род человеческий. Не следует забывать, что в то время у нас не было еще ни КОРА, ни «Солидарности». В те годы сообщения о деятельности оппозиции в СССР пробуждали в людях надежду, восхищение и обязывали их к действиям. Кроме того, многих они вынуждали пересмотреть свои взгляды на то, что разделяет людей, а что сближает. Я уверен, что деятельность оппозиции в СССР – в том числе писательская – играет огромную роль в сближении наших народов и в преодолении существующей между ними пропасти. Среди моих учеников, совсем еще подростков, были такие, что прочитали все три тома «Архипелага», и такие, что по собственной инициативе и втайне от родителей контрабандно

провозили в СССР Библию на русском языке. Впрочем, они применяли при этом весьма изобретательные способы, гарантировавшие безопасность.

Сегодня еще одним источником сведений о положении в СССР является независимая печать. Среди издаваемых в подполье переводов первое место занимают переводы произведений современных русских писателей-оппозиционеров, публицистов и поэтов, оставляя далеко за собой переводы с других языков. Независимая печать, и в первую очередь ведущие журналы – такие, как «Тыгодник Мазовше», «КОС», «Критика», «Спектатор», «Вакат» – очень много места уделяют сообщениям и статьям, касающимся внутренних проблем СССР, деятельности оппозиции и репрессий. Существуют независимые журналы, полностью посвященные проблематике, связанной с другими коммунистическими странами, где, разумеется, больше всего места занимает СССР. Самым крупным по объему среди них является кварталник «Обуз» («Лагерь»), а чаще всего – хотя и нерегулярно – выходит в свет его приложение, информационный бюллетень, содержащий обзоры новостей. Я знаю, что аналогичные усилия предпринимаются многими нашими русскими друзьями. Поэтому мне хотелось бы здесь выразить благодарность всем тем среди них, кто старается сделать польскую проблематику более близкой и понятной русскоязычным читателям. Я хотел бы особо поблагодарить Ирину Иловайскую-Альберти и редакцию «Русской мысли», а также редакцию «Континента», как и всех других издателей, издательства и авторов, знакомящих своих русскоязычных читателей с Польшей. Я верю, что такой двусторонний интерес и доброжелательность являются действенным противоядием, помогающим бороться с отравленными семенами, которыми История не раз засеивала ниву отношений между нашими народами.

Пользуясь случаем, я хочу передать через «Континент» еще один привет человеку, с которым меня связала солидарность – как простая человеческая, так и наша, польская «Солидарность» – в канун ее запрета. Несколько дней назад в передаче радио «Франс Интернасьональ» я услышал интервью, взятое газетой «Либерасьон» с Юрием Х., а затем получил номер парижской «Культуры», где опубликовано интервью с «Александром». В обоих случаях имеется в виду одно и то же лицо – советский солдат, дезертировавший из воинской части, разме-

щенной на территории Польши, который в настоящее время уже находится в относительной безопасности на Западе. Это для меня большая личная радость. Юрий-Александр дезертировал из своей части незадолго до введения в Польше военного положения. Однажды поздно вечером ко мне без предупреждения привел его какой-то неизвестный мне деятель профсоюза «Солидарность» из Вроцлава. Необычная ситуация застала меня врасплох. Я опасался провокации против нашего профсоюза. Рекомендации незнакомого профсоюзника из Вроцлава я принять не мог, а время не ждало. Мои сомнения рассеяла одна деталь: у Юрия были натруженные руки, с загрубевшей и потрескавшейся кожей и въевшимися в нее неотмываемыми следами грязи от так называемой «черной работы». Такие руки нарочно подделать было невозможно: они свидетельствовали о годах тяжелого физического труда. У Юрия-Александра было чистое, открытое лицо простого человека, очень усталое и напряженное, с выражением отчаянной решимости. Он говорил мало и коротко, а к тому же еще, как говорится, ни в зуб ногой не понимал по-польски. Он не мог быть агентом-провокатором. Я решился поверить ему. У него было временное прибежище, а мне требовалось некоторое время, чтобы найти безопасное место для более длительного пребывания. Мы условились встретиться через два дня, но я уже не успел помочь ему. Следующая ночь была та самая, с 12 на 13 декабря, и я сам был вынужден скрываться у незнакомых мне людей. Как видно, и Юрий-Александр попал в хорошие руки. Впоследствии мне не удалось напасть на его след, но нужно учесть, что и мне приходилось проявлять в этом деле особую осторожность. Я много думал о нем и беспокоился за его судьбу в течение всего этого периода, но верил, что он уцелеет, – так же, как уцелел благодаря помощи соотечественников Юрия один из моих друзей, который бежал из лагеря военнопленных на Урале и в конце концов выбрался из России. Теперь я испытываю огромную радость от того, что Юрию-Александру удалось спастись, удалось благополучно покинуть польскую землю – пусть и дружественную, но под властью коммунистов не менее для него опасную, чем его собственная родина. Живи, Юрий-Александр! Будь здоров! Быть может, еще настанет такое время, когда мы встретимся без страха друг за друга и друг перед другом.

КУЛЕРСКИЙ Виктор – родился в 1935 году. О своей семье он рассказывает в публикуемом тексте. В 1953 году исключен из художественного училища за то, что не надел траур после смерти Сталина. Сдав экзамены на аттестат зрелости заочником и лишенный возможности поступать в вуз, он начал работать лаборантом в Зоологическом институте, одновременно печатая в периодике свои рисунки. С приходом «оттепели» он получает возможность учиться и с 1960 года, получив диплом, работает школьным учителем. Без отрыва от работы защитил диссертацию по искусствоведению в Люблинском католическом университете. С 1976 года сотрудничает с Комитетом защиты рабочих, под псевдонимом печатается в независимой и эмигрантской печати. Активно участвует в работе Комитета против алкоголизма и составляет первый в Польше учебник по воспитанию в трезвости. В 1980 году активно участвует в создании «Солидарности». Был избран в президиум правления «Солидарности» региона Мазовше и делегатом Гданьского съезда «Солидарности». Его дальнейший путь в подпольной деятельности описан в самом тексте и во вступительной заметке.

ПИСЬМО АНДРЕЮ САХАРОВУ

Сердечно приветствуем Вас на свободе. Это добрая весточка из Вашей страны. Ваш свободный голос свидетельствует народам мира о том, что возможно взаимопонимание поляков и русских, основанное на вере в суверенные права наций, обществ и человеческих личностей.

Мы приветствуем в Вас человека, который жизнью своей подтверждает все то, что в русской духовности для нас прекрасно, мудро и достойно восхищения. Мы желаем Вам здоровья, силы духа и надежды, которую мы с Вами разделяем.

Конрад Белинский, Яцек Бохенский, Богдан Борусевич, Мариан Брандыс, Збигнев Буяк, Анджей Целинский, Анджей Дравич, Марек Эдельман, Владислав Фрасынюк, Бронислав Геремек, Владислав Гольдфингер-Куницкий, Густав Холоубек, Ян Келяновский, Михал Комар, Тадеуш Конвицкий, Рышард Крыницкий, Виктор Кулерский, Яцек Куронь, Ян Юзеф Липский, Ян Литынский, Тадеуш Ломницкий, Рышард Лужный, Ежи Маркушевский, Тадеуш Мазовецкий, Адам Михник, Януш Онышкевич, Збигнев Ромашевский, Ярослав Марек Рымкевич, Анеля Стейнсбергова, Анджей Стельмаховский, Клеменс Шанявский, Ян Юзеф Щепанский, Анджей Щепковский, Анджей Титков, Анджей Вайда, Лех Балэнса, Анджей Велёвейский, Хенрик Вуец

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

СУДЬБА МЯТЕЖНОГО ГЕНЕРАЛА

Уходят, уходят, уходят друзья. Совсем недавно мы навсегда простились с Андреем Тарковским. И вот теперь – с Петром Григорьевичем Григоренко. Ему досталась непростая, многотрудная, но, тем не менее, красивая судьба. Мне нет надобности ее пересказывать, она поведана им самим в его замечательной автобиографической книге, которой, на мой взгляд, суждена долгая и поучительная жизнь. В коротком предисловии к ней автор сам определил ее цель и сущность:

«Я прожил долгую и сложную жизнь, пережил времена смутные, бурлящие и жуткие, видел смерть, разрушения и пробуждение, встречался с множеством людей, искал, увлекался, заблуждался и прозревал, жил с людьми и для людей, опирался на их помощь, пользовался их добрыми советами и поучениями; многие из них оставили заметный след в моей жизни, повлияли на ее формирование. Книга эта прежде всего о них. В их числе и те, без кого меня вообще не было бы такого, как я есть».

Я бы выделил из этой цитаты слова «жил с людьми и для людей». В них – этих словах – заключены смысл и значение его земного существования. Еще задолго до того, как он вошел в открытое столкновение с существующей в стране системой, в нем на жизненном пути не раз проявлялись его бескомпромиссная честность и безоглядное мужество. Именно поэтому, обладая, по советским стандартам, безукоризненной социальной родословной и выдающимися профессиональными достоинствами, он, двигаясь по иерархической лестнице военной карьеры, проделал бы этот путь намного быстрее и достиг бы в конце концов куда больших чиновных высот.

Но разве могла те, от кого зависят в нашем обществе человеческие судьбы, простить ему постоянно проявляемую им самостоятельность мысли, душевную чистоту или неизменный отказ услужливо поддерживать все исходящие сверху гнусности? Одна его женитьба по любви на вдове расстрелянного во время сталинских чисток ответственного коммуниста могла обойтись ему ценою жизни, если бы не грянувшая вскоре война, когда инстинкт самосохранения притупил у Сталина жажду всепожирающей бдительности.

Естественно, что личность масштаба и качества Петра Григоренко рано или поздно, но неминуемо должна была войти в прямое противоборство с тоталитарным режимом, ибо по своим взаимосоключающим характеристикам они оказались абсолютно несовместимыми.

Так и случилось. Сказав однажды на районной партконференции «а» по поводу живучести последствий культа личности, он, в силу свойственной ему логичности мышления, обречен был уже дойти до конца этого взрывоопасного политического алфавита.

Шаг за шагом двигался он по этому «минному полю», открывая для себя по пути все новые и новые горизонты, а когда пришел к окончательным выводам, душа его по-радищевски чужими страданиями переполнилась. И он уже не мог, не считал себя вправе молчать. Его веский голос раздавался всегда, когда где-либо и по отношению к

кому-либо попиралась справедливость. Но громче других его можно было слышать в трагических ситуациях правительственных гонений на татар Крыма. Казалось бы что ему – украинцу по происхождению и советскому генералу – до судьбы этого небольшого народа, мало ли иных – и не меньших – бед творится на просторах многонациональной страны! Но, видно, в крымско-татарском горе он увидел как бы ступок нашей общенародной трагедии, целиком отдав себя борьбе за их возвращение на родную землю. Убежден, что в свободном Крыму обязательно поставят памятник. Да и только ли в одном Крыму!

Петру Григоренко дорого пришлось платить за свой бескомпромиссный подвиг. Сначала его исключили из партии и лишили всех званий и наград, затем пытались заживо похоронить в психушках, после чего, не сумев ни сломать, ни добить, обманом выпроводили на чужбину.

Но и здесь, в изгнании, жизнь его складывалась далеко небезоблачно. Оказалось, что оставаться самим собой не так-то просто и в свободном мире, а он хотел оставаться именно самим собой: ни правым, ни левым, ни русофобом, ни антисемитом, ни космополитом, ни националистом. Он прежде всего был человеком и христианином, а поэтому – интернационалистом, для которого нет «ни еллина, ни иудея». И за это тоже платил. И тоже довольно дорого. Но оставаться самим собой было для него гораздо важнее иллюзорной популярности. И он им остался. До самого конца.

В самые последние годы Петр Григорьевич тяжело, очень тяжело болел. Но даже лишенный возможности говорить и двигаться, он продолжал по мере сил участвовать во многих акциях и начинаниях нашей политической и культурной эмиграции: подписывал коллективные письма, обращался к мировой общественности в защиту гонимых в России и Восточной Европе, поддерживал связи с друзьями и единомышленниками.

В эту, может быть, самую трудную пору жизни Петра Григорьевича судьба отблагодарила его тем, что рядом с ним оказался такой человек, как беззаветно преданная ему Зинаида Михайловна. Трудно вообразить себе, сколько понадобилось этой, уже немолодой женщине сил и мужества, чтобы сделать последние годы своего мужа осмысленными и плодотворными. Дай бы Бог всякому из нас в конце пути такую спутницу жизни!

В том же предисловии к своей книге Петр Григорьевич Григоренко писал:

«Трудясь над книгой, я не пытался создать произведение в поучение современникам или потомкам. Больше того, я не думаю, что чужая жизнь может быть примером для других. Каждый творит свой собственный путь. Зачем же я писал, может спросить читатель? Отвечу вопросом на вопрос – „а зачем люди исповедываются?“ Это моя исповедь. Я честно пытался рассказать одну только правду, как она представляется мне. И если рассказанное мною сможет послужить кому-то материалом для размышлений, я буду считать, что трудился не даром».

Теперь, прощаясь с ним, я могу с чистой совестью утверждать, что Петр Григорьевич Григоренко трудился не даром. И лучшее тому свидетельство – сама его жизнь.

Владимир Максимов

Запад – Восток

Жан-Пьер Руссо

ФИНЛЯНДИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ

Слово «финляндизация» исходно было применено к отношениям между Финляндией и ее огромным соседом – оно описывает вассальную зависимость одной страны от другой, достигаемую не военным путем. Форма и масштабы этого явления в стране, давшей ему имя, мало кому известны, и это достойно сожаления. По мнению Михаила Восленского, автора «Номенклатуры», Финляндия – своего рода лаборатория, где кремлевские владыки имеют возможность готовить будущую судьбу всей Европы.

Мое свидетельство опирается на многолетний опыт (я провел в Финляндии с 1972 по 1982 гг.) и нуждается в оговорке: эти годы совпали с наиболее острой стадией финляндизации, т. е. с концом президентства Урхо Кекконена и того склероза, до которого довело политическую жизнь страны бесконечное продление его президентских полномочий. Сегодня, насколько я могу судить, финляндизация выступает в несколько смягченном виде: на страницах газет появляются статьи, публиковать которые еще несколько лет назад редакторы не решились бы. Но финляндизация слишком диффузна, чтобы исчезнуть попросту в один прекрасный день, и слишком значима, чтобы никто больше не был в ней заинтересован.

В этой статье я ограничусь одним, наиболее поразительным и в то же время наиболее скрытым проявлением финляндизации – финляндизацией сознания*. Если можно понять, что Финляндия, в силу очевидных геополитических соображений, должна поддерживать с Советским Союзом хорошие отношения во всех областях, то молчаливое или даже гласное попу-

* Чтобы получить более обширную информацию обо всех аспектах финляндизации, можно обратиться к одной из редких статей, появившихся на эту тему по-французски: V. I. Punisalo. La réalité de la „finlandisation“. – „Le Monde moderne“, 1979, № 17.

стителство в отношении советского режима, с которым сталкиваешься повсюду *внутри* страны, оправдать куда труднее. Финляндия все-таки, насколько известно, остается западной демократической страной, и поэтому ей следовало бы лучше сознавать как ценности, которыми вдохновлена ее система, так и ставки, вокруг которых идет в наше время политическая игра.

Самоцензура информации

Основную ответственность за это притупление сознания несут средства массовой информации. Газеты, радио, телевидение редко дают критическую информацию о Советском Союзе, а если такого рода информация и появляется в журнале или газете, то ее так помещают или снабжают таким комментарием (часто принадлежащим советским журналистам), что ее заряд значительно ослабляется. Поэтому подлинная природа строя по ту сторону границы остается слабо осознаваемой. Старые шаблоны коммунистической пропаганды до сих пор приносят плоды. Молодой университетский преподаватель, которого я встретил в 1982 году и который не был исключением на фоне своих коллег, заявил в разговоре со мной, что события в Польше – результат волнений в стране, устроенных ЦРУ. Он также рассказал мне, с каким удивлением обнаружил при встрече финских и французских коллег по профессии, насколько расходятся мнения обеих сторон, когда речь идет о том, какая из двух сверхдержав представляет наибольшую опасность для мира.

Невежество или же самозапреты, табу? Дискуссии, даже в ведущих кругах интеллигенции, никогда не затрагивают вопроса, существеннейшего для нашего времени и для мира, а в особенности для этого региона Европы, – вопроса о тоталитаризме. Если эту тему поднимает иностранец, у него возникает неприятное впечатление: он словно наталкивается на стену невежества и непонимания; в лучшем случае, ему в ответ говорят о связях его собственной страны с НАТО.

Странно, возразят нам, ведь Финляндия, в силу самого географического положения, может созерцать то, что происходит в СССР, из первых рядов партера – хотя бы благодаря легкости въезда финнов на советскую территорию... Увы,

отнюдь не очевидно, что заурядная туристская поездка достаточна для исправления мнений, априорно благожелательных, особенно если эти поездки, как это чаще всего происходит с «водкотуристами», тонут в парах алкоголя! Кроме того – и это особенно важно, – Финляндия расположена на «ничейной территории»: она одновременно слишком близка к Кремлю, чтобы воздерживаться от самоцензуры, и слишком далека от него, чтобы на себе самой пережить мучительный и просветительный опыт коммунизма. Ту же самую устойчивость и экономические выгоды она получает и от отношений со странами Восточной Европы. В разорванном, распадающемся мире она выглядит оазисом, сумевшим – не без помощи скандинавского социализма – сохранить и выработать подлинное умение жить в симбиозе с дарованной ей щедрой природой.

Финляндизация и финский дух

Однако финляндизация сознания выражается не только в цензуре информации. Нетрудно догадаться, что этот феномен корнями уходит глубоко в национальную историю и национальный характер. С национальным характером, или *финским духом* финляндизация связана так тесно, что не всегда легко разделить, где причина, а где следствие.

Самим своим положением Финляндия вынуждена искать неустойчивое равновесие между чрезмерной непримиримостью и чрезмерным послушанием по отношению к Советскому Союзу. В этом смысле поворотным пунктом в финско-советских отношениях стало окончание Второй мировой войны. В то время как прежде Финляндия выступала скорее *против* своего великого восточного соседа (подъем национальных чувств, обретение независимости, победа белых в здешней гражданской войне, Вторая мировая война), с этого момента финские лидеры решили полностью переменить свою внешнюю политику и опереть ее на нейтралитет и на дружбу с СССР.

Эта новая линия внешней политики, названная политикой Паасикиви-Кекконена по имени президентов, которые ее выдвинули и проводили, была закреплена Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, подписанным в 1948 году, а затем продленным в 1955 и 1970 годах (последний раз – на 20 лет). Мало-помалу эта политика обрела признание практиче-

ски всего населения, и это единодушие посеяло в стране семена тоталитаризма: как замечает финский философ Дан Стейнбок, любой уважающий себя финский политик обязан возложить себя на алтарь «просоветской обедни». Добрососедские отношения, конечно, содержат значительную долю реализма; кроме того, они совпали с продолжавшимся эти последние десятилетия периодом спокойствия и экономического роста в Финляндии. Притом за них не приходится платить отказом от каких бы то ни было существенных полномочий независимого и демократического государства. А распространение марксистских идей среди интеллигенции в шестидесятые-семидесятые годы только укрепило этот поворот в умонастроениях. Сегодня возник тяжкий парадокс: финны со стыдом относятся к тому, за что они заслужили восхищение во всем мире, – к своему героическому поведению лицом к лицу с численно превосходящими силами Красной Армии во время Второй мировой войны.

Но финляндизация во многом глубоко перекрывается с финским духом, или национальным характером.

Ключевым понятием, позволяющим понять Финляндию, является *изоляция*. Геополитически, как мы уже отметили, Финляндия остается западной демократией, выгороженной из того заповедника коммунизма, каким является вся Восточная Европа. Лингвистически ее единственный сосед из той же финно-угорской языковой семьи – маленькая Эстония, с 1940 года советская республика, по ту сторону Финского залива. Наконец, чисто географически Финляндия расположена на северной оконечности Европы: лапландская тундра на севере, Балтийское море на западе и на юге, железный занавес на востоке придают ей почти островной характер. Если к этому прибавить, что внутри страны традиционный образ жизни включает в себя рассеянность поселений и что долгие суровые зимы сжимают горизонт вокруг каждого, легко понять, что изоляция глубоко отразилась на характере населения, который явственно отличается от любого другого европейского национального характера своей устремленностью к сдержанности, ступенькованию, замкнутости. Эти черты проявляются в том, как финны, наполовину по нужде, наполовину по темпераменту, воспринимают привилегированные отношения, которые связывают их с Советским Союзом и отличают от всей остальной Западной Европы.

С другой стороны, Финляндия – самая молодая страна в Европе: она провозгласила свою независимость в 1917 году*. Долгое подневольное прошлое, а кроме того, полярные просторы, унаследованный восточный фатализм – все это отражается в национальном характере преобладанием скромности. Ожидать от этой страны, что она проявит лицом к лицу с Советским Союзом такую храбрость, какую и более старые, более богатые, более значительные нации не всегда способны проявить, означает не знать Финляндию. В своей дружбе с Советским Союзом она обретает успокоительные навыки прежнего вассала.

Наконец, Финляндия осталась крайне близкой к своим крестьянским корням, как во времени: здесь довольно поздно, в 60-х – 70-х годах, начался исход сельского населения, являющийся уделом всех индустриально развивающихся наций, – так и в пространстве: природа по-прежнему определяет формы и образ жизни. Поэтому достоинства финнов – по преимуществу «земные», «почвенные»: реализм, сознание своей выгоды, гибкость, чувство меры. Все эти достоинства с большим умением проявлялись в переговорах и отношениях с СССР.

Меньше всего я намереваюсь здесь дискредитировать финнов! Думаю, из моих рассуждений ясно, что они обладают многими прекрасными качествами: они не болтливы, скромны, терпимы, а кроме того, гостеприимны и глубоко порядочны... Иногда просто спрашиваешь себя: быть может, они настолько неспособны ни на какое зло, что им трудно представить себе, что другие на это способны? Я задался этим вопросом, путешествуя с группой финнов по Советскому Союзу и обнаружив, что мои спутники всегда находили извинения для ужасных условий жизни, господствующих там.

Этот избыток доброй воли заставляет нас задаться еще одним вопросом, имеющим касательство к финскому духу и финляндизации. Верная своему призванию быть мостом между Востоком и Западом, Финляндия особо отличается в

* Автор, видимо, имеет в виду страны, по сей день сохранившие свою независимость (прибалтийские государства, Польша, государства, выделившиеся из прежней Австро-Венгерской Империи, провозгласили свою независимость несколько позже – в основном, в 1918 году). – П е р.

устройстве международных конференций. Однако состоит ли подлинная защита мира – как, по-видимому, думают финские организаторы конференций – в том, чтобы любой ценой избежать повышения голоса? Или лучше стоило бы думать вместе с Александром Солженицыным, что подлинная защита мира может начаться только с защиты нравственных ценностей в душе каждого человека?

Сдача интеллигенции

Один из важнейших аспектов финляндизации сознания – сдача интеллигенции, ее отказ от постановки и решения вопросов, которыми ей следовало бы интересоваться в первую очередь.

После Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое по инициативе президента Кекконена проходило в 1975 году в Хельсинках, можно было бы надеяться, что финская интеллигенция наконец воспользуется этим поводом и приобретет роль, выходящую за узкие пределы своей страны, – например, взяв на себя надзор за выполнением соглашений, подписанных на финской земле. Увы, ничего подобного не произошло... Вместо того, чтобы протестовать против арестов членов советских Хельсинкских групп – групп, завоевавших международный престиж, но ныне практически разгромленных, они предпочитают трубить вечные лозунги благомыслящих левых, нападая на далекое Чили и всякие прочие Южные Африки, которые, конечно, нуждаются в их заботе, но не представляют для них опасности.

Не лучше ли им было бы встревожиться судьбой эстонского народа, соседнего и братского, чье существование и национальная самобытность поставлены под угрозу (в столице Эстонии сейчас осталось менее 50% эстонского населения)?.. Шведский писатель эстонского происхождения Андреас Кюнг однажды сказал мне, как опечален он, больше не встречая в Финляндии молодежи, которая была бы озабочена будущим маленькой прибалтийской республики. Не лучше бы они поступили, более бурно вступив в полемику, когда их страна в ООН воздержалась от осуждения советского вторжения в Афганистан – страну, единственная «вина» которой состояла в том, что она была своего рода азиатской Финляндией?..

В 1981 году мне довелось наблюдать любопытное и, вероятно, уникальное для Запада поведение финской интеллигенции. Михаил Восленский предложил мне по своему усмотрению пригласить – с оплатой всех расходов для приглашенных – финских писателей, журналистов, политологов на симпозиум по финско-советским отношениям в Западную Германию (он состоялся в Гамбурге 1 июня 1981). Думаю, что в любой западной стране люди ухватились бы за возможность найти трибуну за пределами своей страны, притом не заботясь о расходах на поездку. Не то было в Финляндии: я нашел только трех желающих – в том числе одного переводчика – участвовать в этом приключении. Против нас сработала и склонность финской интеллигенции смешивать патриотизм и подчинение политической линии (в данном случае линии Паасикиви-Кекконена), и старые клише о западногерманском реваншизме – своего рода племенные рефлекссы.

Эта сдача интеллигенции привела к замыканию и оскудению национальной культуры, но, кроме того, отняла у нескольких молодых поколений всякую способность иерархически выстроить шкалу ценностей. Для них Запад, со своей свободой, но в то же время со своим упадком и терроризмом, в общем-то стоит Востока, где царствует большее принуждение, но с ним и спокойствие, а также сохраняется глубинная почва духовности. Нет сомнения, что сегодня эти молодые люди – в рядах пацифистов...

Роль Советского Союза

Но какую роль играет сам Советский Союз в финляндизации сознания финнов?

Бдительному надзору подлежит прежде всего распространение информации – ввиду важности ее влияния на общественное мнение. Одно из доказательств было получено, когда года полтора-два тому назад финское телевидение передало интервью со знаменитым русским режиссером Юрием Любимовым, живущим теперь на Западе. Бывший главный режиссер Театра на Таганке, в частности, обвинял кремлевских владык в том, что они душат культуру его страны. Эта передача обошлась Финляндии в выговор на страницах «Правды».

Я не представлял, до какой степени обострена эта бдительность, пока мне это не открылось в силу случайного стечения обстоятельств. Готовясь к выступлению на вышеупомянутом гамбургском симпозиуме, я вырезал несколько писем, напечатанных в редакционной почте газеты «Аамулехти» – провинциальной и поэтому более отважной, чем общенациональные издания. В этих письмах шла речь о том, о чем мало что известно, – о судьбе советских беглецов, схваченных при переходе границы финскими пограничниками. Один читатель был взволнован словами советского беженца, прибывшего в Швецию, о том, какой страх он испытывал, пока шел по территории Финляндии, – страх, что его схватят и отправят обратно в СССР. Если этот страх оправдан, писал читатель, то он вызывает к «совести Финляндии». Некому А. П. эти угрызения совести показались совершенно излишними – он откликнулся письмом, помещенным в той же газетной рубрике: «Прекрасно известно, – писал он, – что те, кто нелегально переходит границу, бегут, совершив преступления и испытывая страх перед наказанием». Профессор Восленский, которому я показал это письмо – доказательство, как я считал, продвинутой финляндизации, – не преминул распознать в нем стиль и аргументы, дорогие сердцу советской госбезопасности... Действительно, не надо забывать, что Советский Союз содержит в Хельсинках свое самое крупное в мире посольство!

Эта попытка дезинформации, быть может, представляет собой изолированный случай, тем более, что она оказалась – воздадим должное Финляндии – обреченной на неудачу: продолжение дискуссии показало, что читателей не ввело в заблуждение подобное истолкование фактов.

Пацифизм – финляндизация в масштабах Европы

Нет, финляндизация не дана в удел одной лишь Финляндии. Некоторые политические жесты, вроде пресловутого рукопожатия Жискара с Брежневым вскоре после советского вторжения в Афганистан, некоторые шаги, вроде несолидарного по отношению к своим западным коллегам поведения отдельных глав государств в вопросе о евроракетах, или некоторые движения, такие, как пацифизм, обнаруживают одни и те же хвори: отсутствие междемократической координации, потерю смысла ценностей.

Из всех этих проявлений финляндизации вне Финляндии самое опасное – вне всякого сомнения, пацифизм. Не нужно быть высоколобым интеллектуалом, чтобы догадаться, что советские намерения состоят не в том, чтобы военным путем завоевать Западную Европу, но в том, чтобы ее финляндизировать, и, как указывает тот же Восленский, это движение – одно из главных стратегических направлений советского наступления. Не представляя себе подлинной природы советского строя, оно исполняет желания советских вождей, которые стремятся безнаказанно пользоваться своей властью и расширять ее.

Подлинная деятельность в защиту мира, как заметил французский философ Андре Глюксман на парижском коллоквиуме о пацифизме (Сорбонна, 15 января 1983), началась бы, если бы немецкие пацифисты принялись демонстрировать не против приезда того или иного американского политика, но в поддержку «Солидарности», т. е. вместо того, чтобы ставить подножку демократиям, показали бы Советскому Союзу те пределы, за которыми равновесие в мире оказывается в серьезной опасности. «Солидарность с братьями на Востоке», которой некоторые христиане, кстати, оправдывают свое участие в пацифистском движении, должна была бы заставить их прежде всего побеспокоиться о том иге, под которым живут их братья, а не оставлять их в беде – как когда-то Даладье и Чемберлен пожертвовали чехами ради мира с Гитлером – мира, который к тому же оказался иллюзорным...

Если свободный мир, уже составляющий в мире меньшинство, желает выжить, ему нужно быть более солидарным. Лицом к лицу с ним тоталитарный блок опирает свою силу на сплоченность и постоянство; СССР рассчитывает на поочередные волны забвения, которые позволяют стереть следы всё нарастающих его appetitов. Это свободное меньшинство должно, кроме того, обрести веру в свои собственные ценности. Новейшая история показывает, какой урон приносит упование чувством вины: ответом на отступление Соединенных Штатов после окончания Вьетнамской войны было вторжение в Афганистан; Германия, продолжавшая растравливать себе душу своим нацистским прошлым, легко стала добычей пацифизма. Демократия, терзаемая чувством вины, теряет и силу, и влияние вовне; этноцентризм и опасная жажда непогрешимости, чередуясь, изрекают свои суждения; все это напоми-

нает подростков, чересчур озабоченных своими проблемами, чтобы ясно и конструктивно взглянуть на мир. Твердость не исключает разрядки напряженности – наоборот, она-то и приводит к подлинной разрядке: она позволяет демократиям избежать увязания в спирали шантажа.

Вызов, который представляет собой финляндизация, особенно трудно принять потому, что он обращается к уровню не только сознания, но и совести. Русская православная активистка Татьяна Горичева после встречи с западногерманскими пацифистами так описала свои впечатления в еженедельнике «Франс католик»: «Нет ничего плохого в стремлении бороться за мир. Мира хотят все. Но для русских христиан очевидно, что без внутреннего мира и свободы не может быть и внешнего мира. Блаженный Серафим Саровский пишет: «Если вы имеете внутренний мир, тысячи людей найдут возле вас спасение». Но в Гамбурге юноши и девушки ставят вопрос не в терминах жизни, а в терминах выживания. Оскорбительно и постыдно слышать, что фразу: «Лучше быть красным, чем мертвым», – произносят христиане».

Решения проблемы противостояния финляндизации, бегло очерченные выше и относящиеся к сфере политики, должны сопровождаться – в личном плане – растущим недоверием к простеньким, удобным для манипуляции лозунгам, а также нравственной активности, все более личностной, глубокой и подлинной. Тогда мы избежим анестезии и перекоса совести влево, которые уготовал для нас этот феномен. Будем надеяться, что смерть идеологий, о которой нам объявляют сейчас, в конце XX века, станет спасительным зачином такой эволюции.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Моше В а й с м а н

СУД ОТКАЗАЛ

Одесса в ту пору не строилась. Она была построена давно. Теперь, изредка, кто умел доставать стройматериалы и имел деньги, строил на окраине домик. Одесса раскинулась на многие десятки километров разными домами, большими и малыми, тесными для жильцов, с общими уборными, общими кухнями и общими коридорами. В одной такой квартире жил молодой мужчина, черноглазый Михаил Иванович с женой и маленьким сынишкой, в одной небольшой комнате. Михаил был среднего роста. Зубы все у него были целы, но он себе вставил для красоты два золотых зуба.

Михаил работал в Черноморском пароходстве радистом на «Туапсе», танкере, совершавшем регулярные рейсы по доставке горючего для самолетов Красного Китая; жена Михаила работала на заводе и сынишку отводила в садик. Михаил, когда не был в плавании, отводил сынишку в садик, ходил в порт отмечаться, стоял в очереди за картошкой, за мясом, за молоком. Потом уходил на долгое время в Китай со своим танкером.

Так было и сейчас. Время было тихое, вдруг танкер застыл. Его остановили солдаты Тайваня и предложили всем покинуть танкер. Михаил тоже перешел вместе с другими на тайваньский военный корабль, и их отвезли на Тайвань.

Михаил переживал случившееся. Все же он женат, сынишка маленький, а китайцы держали и держали. Они отвезли танкер тоже на Тайвань. Прошло много времени, и наконец пришли и сказали им: кто хочет ехать во Францию, а кто – в Америку? Одни выбрали Францию, а другие захотели в Америку. Михаил выбрал Америку.

Он хотел видеть, что такое Америка, о которой так много и так разное пишут.

Михаилу понравилась Америка. Не сравнить с Россией. Не сравнить с Тайванем, и не сравнить с Германией, куда Михаила, юношей, во время войны вывезли на работу.

Иваньков нашел работу по специальности: ходил по домам и ремонтировал радиоприемники. Нашел меблированную комнату, покупал резаных молодых цыплят, клал их в горшок, варил, бульон выливал – так и питался. Ел он и другую еду, но в основном – цыплят, которые назывались «чикен».

Он купил себе не очень старую машину и в свободное от работы времени ездил по Америке. Так прошло год, два, три. Он одевался неплохо, питался неплохо, но денег у него не оставалось. Деньги уходили на одежду, на питание, на уплату за квартиру.

Михаил ходил в кино, в театр изредка, много читал и часто призадумывался над своим положением: семья в России, он им не пишет, не знает, что там, как там. Жене, должно быть, тяжело. Жизнь проходит. По Вашингтону и по другим городам Америки жили люди, ходили с женами, а он был один. Один, как колышек. Ходили дети с мамами, ходили дети с мамами и папами. Если бы была здесь жена с сыном, то он был бы с другими наравне. Снял бы квартиру и жили бы. Но судьбе было угодно, чтобы он родился в России, не в Америке, и судьбе захотелось, чтобы он, Михаил, попал в Америку. Плохо одинокому человеку. Не с кем говорить после работы, не может поиграть с сынишкой.

Он бросил работу радиомастера и устроился у одного грека, который держал маленькую столовую, – там он мыл посуду. Машину он продал – до работы было рукой подать. Он много курил, всё сидел и курил, и всё думал об Одессе, о жене, о сынишке. Хозяин был неплохой человек, он звал Михаила приходить в выходной, съесть бифштекс, но Михаил не хотел; чего он еще будет беспокоить.

В свободное от работы время он крутился по комнате или выходил в парк и курил. Он все не переставал думать о семье. У него появились «голоса», он разговаривал мысленно с женой, сестрой, сынишкой. Мало-помалу он почувствовал, что сходит с ума. Его поместили в больницу – там он пролежал несколько месяцев, получал лекарства и снова пришел в себя.

– Я хочу обратно в Россию, – сказал он.

Из психбольницы позвонили в иммиграционный отдел. Оттуда пришел человек, взял с собой Иванькова, и они вместе поехали в советское посольство. Их принял второй секретарь. Он дал расписку иммиграционному представителю, что Михаила не будут преследовать, что он получит работу на корабле.

Иваньков получил деньги на самолет и полетел в Россию.

По дороге из Москвы в Одессу Михаил вдруг почувствовал тревогу на душе. С чего бы это? Он не понимал. Может, с женой что-то неладное? Может, жена вышла замуж? Может, сынишка заболел?

За окнами вагона мелькали поля, деревья, леса, деревни, железнодорожные станции, города, а Михаил стоял у окна тамбура, часто курил и все не переставал думать о том, почему у него уши как бы горят, почему тревожно на душе. Он вспомнил, что в детстве еще ему мать говорила, что когда уши горят, то кто-то вспоминает, кто-то разговаривает, обсуждает, что-то в этом роде, и Михаил подумал, что, может, жена вспоминает или другие родственники.

Вот и Одесса – наконец-то он дома. Михаил волновался, а тревога на душе все нарастала. Когда он сошел с поезда, к нему подошли двое и представились, что они, дескать, с Черноморского пароходства, и один сказал:

– Следуйте за нами!

И тогда Михаил подумал, что эти из КГБ.

«Так вот кто обо мне разговаривал, вот почему было так тревожно на душе! КГБ!»

Его отвели в тюрьму, забрали чемоданы, постригли, побрили, хотя он побрился утром. На следующий день пришел следователь прокуратуры и начал писать, что он выступал по американскому радио и телевидению, что он ходил по притонам и многое, многое, многое. Михаил пожал плечами: всего этого не было. Через пару дней его отвезли на судебно-медицинскую экспертизу. Там он, не скрывая, говорил начистоту, что там ел «чикен», работал радиомастером, имел машину, которую продал, и пошел мыть посуду, что он ел каждый день бифштексы и чикен.

В газетах было сообщено, что радист с «Туапсе» мыл посуду в американском ресторанчике и что он сумасшедший.

– Зачем вы вернулись? – спросила одна врачиха на судебной экспертизе.

– Семья, родина, – ответил Михаил.

– Вы сумасшедший.

Михаил кивнул в знак согласия: он действительно сумасшедший. Быть в Америке, знать эту коммунистическую братию и возвращаться – такое может сделать лишь сумасшедший.

В семье Иванькова было горько и тревожно. Не пустили его даже домой. Жена Иванькова посчитала, что это ошибка. Она не знала, что из КГБ Союза позвонили в Киев, а те в Одессу. Ее вызвали в прокуратуру и дали понять, что бесполезны все ее обращения в верхах.

– Его отправляют в Казань!

– Это где-то в Татарии, – сказала жена Михаила.

– Там учился Ленин, – сказал сынишка Иванькова.

– Так далеко! – удивилась сестра Михаила.

Затем все молчали долго, сидели и не могли подняться. Никакого преступления он не совершал. Он только был в Америке, и за это его даже домой не пустили.

Михаил долго ехал. Он устал от поездки от Одессы до Казани в тюремном вагоне. В Казанской тюремной больнице его переодели в какое-то тряпье и повели в камеру. Камера была набита койками. Люди лежали и дрожали от адского холода. Стояла холодная зима. Это не Одесса и не Вашингтон. Ему дали кусок черного хлеба с соленой скумбрией. Ему хотелось пить, он постучал, ему сказали, чтоб не стучал, здесь не Америка, могут избить.

– Скоро будет оправка, там и напьешься.

Минут через сорок широко распахнулась дверь, вошел санитар и постучал огромным ключом по койке, закричав:

– На opravку!

– Где здесь туалет? – спросил Михаил.

– Не спеши, – ответил санитар, – все построятся, тогда и пойдете.

Зашевелились тоненькие одеяла, из-под одеял вылезли обросшие, стриженные наголо люди, накинули на себя тряпье, именуемое халатами, надели обувь и вышли строиться. Вскоре была команда «идти» – они зашаркали ногами и пошли.

Туалет был маленький, люди стояли и вытаскивали из карманов махорку и газеты, Михаил пил. Пил долго, пока не напился. Ему хотелось курить, но у него не было. Он попросил закурить, ему один высокий парень дал газету. Михаил оторвал большой кусок газеты, затем ему насыпали махорки. Михаил сделал большую закрутку и присел на корточках. Курил и кашлял. Это не сигареты. Это не сигареты «Кент», какие приносил ему в больницу в Вашингтоне грек, у которого он работал, даже не табак, какой давали в той же вашингтонской больнице, и даже не сигареты «Памир», какие он курил в Одессе. Но он курил и кашлял.

– Чёрт понес тебя из Америки сюда, – сказал тот же высокий парень, давший ему закурить.

Михаил встал и взмахнул руками:

– Я же не знал.

Весть о прибытии человека с «Туапсе» из Америки еще утром облетела всю больницу, кто как отреагировал на это сообщение, но все сошлись на том, что он совершил невероятную глупость. Михаил развел руками:

– Охватила тоска по семье и родине...

«Выходить строиться», – была команда санитара.

Находившиеся в туалете узники поспешили в коридор. Михаил последовал за ними. Очутившись в камере, Михаил прилег. Свет не тушили.

– Что они свет не тушат? – спросил Михаил.

– Горит всю ночь.

Михаил снял с себя тряпье, именуемое халат, и лег под тоненькое одеяло. От выпитой воды, а она была как лед, и оттого, что не очень топились, по телу Михаила прошла дрожь. Михаил предался сравнениям. Это не Америка. Там он был болен, его лечили, он мог пройти в кухню и выпить чаю, мог курить, был табак и папиросная бумага. Здесь нельзя выходить: камера на засове. Вонючая махорка. Нету чаю.

Он слышал, что в России держат нормальных людей – за политику, за стихи, за книги – в тюремных психиатрических больницах. Он не очень-то верил в это. Теперь он воочию убедился.

Спал он плохо. Хотелось есть, пить, курить. Было холодно. Наконец он уснул. Человек привыкает ко всему, и Михаил начинал привыкать.

Михаил проснулся от стука. Санитар кричал: «Подъем!» Уже было шесть утра, и санитар стучал ключом по койке: «Выходить на opravку!» Все взяли с собой плохо выстиранные белые тряпки, именуемые полотенцами, и вышли в коридор, а затем строем в уборную. Вода была холодная, спеша мылись, оправлялись и курили. Михаилу дали махорки на одну закрутку. «Хоть бы иметь свою махорку, – подумал Михаил, – и это хорошо».

Вышли из туалета, построились, дождались команды «пошли в камеру», дежурный приступил к уборке. Он пошел в туалет, взял швабру, тряпку, ведро – все прилегли, дабы дать ему возможность убрать. В это время камера была открыта. После уборки закрыли камеру, и узники приступили к заправке коек, затем кто дрожал, кого корежило от таблеток, кто доставал из-под подушек журналы и книги. К Михаилу подошел молодой парень, представился, что поэт, и процитировал свои стихи: «Мрак. Дождь осенний стучит в мое окно, а я в уединении счастлив все равно. Стул скрипит подо мной, а в комнате другой хозяйка кашляет, зевает. Хочу уснуть, но не могу. Стих, что ты хочешь от меня, мало для тебя мной утраченного дня?»

– За эти стихи меня посадили, – заключил поэт.

Михаил пожал плечами. Он не очень понимал, как можно посадить за такие стихи. Он не очень понимал, за что его посадили. Он стихов не писал, книг и статей – тоже нет, по телевизору не выступал, и то ему приписали чёт знает что.

– Я только был в Америке... – хотел еще что-то добавить насчет выдвинутого против него обвинения, но смолчал.

– Желаете читать? – спросил поэт.

– Желаяю, – ответил Михаил. Михаил любил читать без разбору. Он читал до войны книги о Сталине, во время войны немецкие книги, после войны книги о Сталине и о станках, в Америке читал все подряд и теперь был готов почитать.

Парень дал ему потрепанные журналы. Здесь библиотеки не было, и персонал приносил прочитанные журналы и книги.

Михаил начал читать. Это была книга о революции. Михаил углубился в чтение, но вскоре была команда: на завтрак.

Зашаркав ногами, оставив книги и журналы на койках, узники направились в коридор, где по обеим сторонам длинного стола были расставлены скамейки. На столе была гнилая

тюлька, алюминиевые миски с супом, где плавал сухой лук, а на дне лежало по одному кусочку картошки, было еще полкружки холодного чаю.

Узники искали картошку и, найдя ее, поедали с тюлькой, суп есть не стали: он был без жира, холодный, без лапши, без крупы, а просто какая-то вода.

– Подняться на перекур, – была команда.

На перекур поднялись с удовольствием. Всем хотелось курить. Конечно, махорка – это не «Кент», далеко не «Кент», но хорошо иметь даже свою махорку, думал Михаил. У многих, в том числе у него, не было даже махорки. Мысли Михаила кружились по Одессе, по дому, он видел семью, – и опять возвращались к кружке горячего чаю и к куреву. В Вашингтоне кури где хочешь и сколько хочешь, был табак, была курительная бумага. И снова и снова он укорял себя за то, что вернулся, но оправдывал себя: он ехал к семье и на родину, он не знал, что так с ним поступят. В посольстве второй секретарь дал расписку, что его не будут преследовать, сказал, что получит место на новом судне. В Вашингтоне он был болен и ходил свободно по больничному двору, пил чай, когда хотел, давали летом прохладительные напитки. Здесь всего этого нет.

Снова раздалась команда: «зайти в камеру» – построившись по два в ряд, узники направились в камеру. В камере поспешили к койкам.

– Сегодня воскресенье – будем писать письма. Напиши домой, что прибыл и чтоб прислали посылку, деньги на курево. Вот так.

– А где взять конверт?

– Я тебе дам.

В это воскресенье Михаил был уже не в пути, и как ему сказали: «Располагайся как дома, это теперь твой дом». В это воскресенье Михаил ходил несколько раз на перекур, где он мог сходить и по нужде, мог пить воду, если он хотел в такую стужу пить ледяную воду, чаю по-прежнему не было, был на прогулке, на которую надел два непарных ботинка, ботинки еще были с гвоздями, но на улице было теплее, чем в камере, благо шел снег.

В это воскресенье он ел в обед суп и кашу, вечером опять ел жидкий суп и пил холодный чай с черствым хлебом. Написал два письма: сестре и жене. Конверты ему дал поэт.

В эту ночь он спал плохо, так как было холодно, – он съежился, но холод не проходил.

На следующий день после завтрака, после перекура, его вызвали к врачу. Опять начались расспросы о его жизни в Америке и на Тайване. И он опять и опять рассказывал о своей работе радистом на танкере, о своей работе радиомастером в Вашингтоне, о своей квартире, о том, как покупал курицу, варил ее, а бульон выливал. О том, что у него была машина, которую купил за 400 долларов и продал за ненадобностью за 240 долларов, как он мыл посуду в ресторанчике, который находился вблизи от нанятой им квартиры.

– Я вам назначу таблетки, – прервала его врач, низенькая чернявая женщина, – и вы должны будете работать. У нас будете шить простыни.

Через пару дней Михаил почувствовал действие таблеток. Его корежило: когда садился, хотел ходить; когда ходил, хотел сидеть; не мог как следует ходить, как следует сидеть. Он начал получать посылки со сгущенным молоком, мясных консервов трудно было достать.

Минула зима, пришла весна, затем лето и опять зима, и Михаил все шил, шил простыни, курил и кашлял, курил и кашлял, простужался и все шил и шил. Бесплатно.

Вот так, мечтая о дне, когда он не будет получать таблетки, которые почти сводили с ума, мечтая о кусочке мяса, думая о семье и все мысленно споря со следователем, который его обвинил в чёрт знает чем. Он любил свою жену, своего сына и всех своих родственников, он не ходил по домам терпимости, как ему приписывал следователь, не выступал по телевидению, как тот же следователь на него написал. И вот теперь такие телесные муки, такая душевная травма!

Он в России и не в России.

Вот так, ложась и вставая, ежедневно он думал о семье, о кусочке мяса, о нехорошем следователе, о Вашингтоне и о хозяйине-греке, который приносил ему «Кент» целыми блоками, о бифштексах, которые он ел у грека-хозяина. Здесь говорили ему, что он должен шить больше. Чтоб было много простыней! Но он не может: руки дрожат от таблеток, корёжит от таблеток. И пища – не пища, и махорка с газетой – далеко не «Кент».

Вот так шли годы, вот так прошло четыре года. Четыре года – целая вечность. Но вот ему сказали, что его переводят

в другую больницу. «Это, должно быть, к лучшему», – подумал Михаил. Ему не ответили, в какую другую больницу. В России всё секреты. Опять зэковский вагон, опять духота, еще хуже, чем в Казанской спецбольнице. Ехали долго. Ехали-ехали и вот приехали в такую же тюрьму. Это в Черняховск. Такая же пища, такая же работа, такая же скученность. А Михаил думал, что это к лучшему, что его повезут в Одессу. Жена должна была поменять квартиру и переехать в Крым. Должно быть, постаралось КГБ. Прошло еще несколько лет, опять ему сказали, что поедет в другую больницу. «Ну, теперь я уже поеду в Одессу», – подумал Михаил.

И опять набитые заключенными столыпинские вагоны, опять духота, опять длинная езда, опять тюремные машины. Прибыли. Это был Днепропетровск.

Когда-то старались, чтоб было меньше тюрем. Теперь строят лагерь, и тюрьмы, и эти специальные больницы.

Эту Днепропетровскую тюрьму построили еще при Екатерине. Все здесь массивное: здание, стены, засовы, двери, решетки. Полы цементные. Подушки и матрацы ватные. Это все Михаилу знакомо. Вата в подушках сбивается, и получается, что лежишь как на камне. В камере было коек 60, проходы узкие, койка возле койки. Всё так же, как и в Казани и в Черняховске. Михаилу очень обрадовался Виктор Мальцев – высокий мужчина лет 60. У Мальцева были остриженные коротко седые волосы, изборожденное морщинами овальное лицо и бельмо на правом глазу.

Мальцев был американец, боксер, исколесивший почти весь мир, зарабатывая себе на жизнь боксом. Он был в Индии и в Китае, приехал в Советский Союз, где в городе Черновцах, что на Буковине, обучал офицеров боксу. Он продал большинство своих вещей и решил вернуться в Штаты, но тут его обвинили в шпионаже и приговорили к 10 годам лишения свободы. Он просидел свой срок и, освободившись, пошел в американское посольство, дабы выехать в Америку.

Ему сказали остаться в посольстве, но он не послушался и вышел; его забрали, посадили и отправили в Ленинградскую спецбольницу, оттуда в Сычевку, потом в Днепропетровск, и вот он здесь, болтая безумолку с Иваньковым. Мальцеву хотелось знать побольше об Америке, где он вырос и по которой так соскучился! На Украине у него было два брата, они при-

ходили ежемесячно и приносили ему передачу. Мальцеву иногда по воскресеньям давали гитару, и в коридоре он играл в большинстве своем испанские песни. Он пел и играл хорошо, но не всегда были хорошие смелые санитары из зэков, которые бы приносили ему гитару. Он всегда сидел на своей кровати и писал одно и то же: что он гражданин Америки и требует, чтоб его пустили обратно в Америку. Его письма бросали в мусор.

«Я гражданин Соединенных Штатов, прибыл в страну пролетариата, была одна СВОБОДА, и та отнята», – процитировал он Иванькову отрывок из стихотворения, которое ему написал один из ленинградских поэтов.

– Есть еще из Австралии – Степаном его зовут, – все рассказывал Мальцев, – он в 1945 году был на территории Германии, где были американцы, оттуда уехал в Австралию, работал плотником, женился, построил домик и недавно решил проведать своих родственников, которые живут на Украине, его назад не пустили, вот и он здесь.

А в другом углу камеры слушали молодого парнишку, который рассказывал анекдот: «Встретились две женщины и разговорились о сыновьях. „Мой, как Пушкин, – все пишет и пишет“, – сказала одна. „А мой, как Ленин, все по тюрьмам, да по тюрьмам“, – сказала другая».

Раздался дружный смех.

Михаилу поставили сейф, выдали ложечку, а в сейфе хранилось курице каждого. На каждую оправку Михаил выдавал курицу находящимся в отделении, потом вязал сетки. Каждый день, пять раз в неделю, вязали сетки. Нужно было очень много, но Михаил вязал всего одну сетку, полторы, от силы две. Его корежило от таблеток, мысли уходили в Одессу, уплывали на Тайвань, затем переплывали в Америку. Ему сказали, что об экипаже танкера «Туапсе» был снят фильм. Там показывали, что над экипажем танкера на Тайване издевались, что от них требовали отречься от родины. Михаил возражал: всего этого не было. Так вот почему его не отпускали – власти боялись разоблачения: на Тайване не издевались, в Америке всего полно, рабочему человеку живется неплохо. Еще ему сказали, что санитарам из зэков говорят, что по отбытии наказания они не должны рассказывать, что делается в спецбольнице. От инструкторов, которые присутствовали

при вязании сеток, требовалось доносить, о чем говорят между собой узники.

Михаилу хотелось постоять во дворе, увидеть кошку, погреться в полуденные часы на солнышке, или утром подышать свежим воздухом, или вечером прислушиваться к вечерней тишине. В камере было шумно, пахло нехорошо. Правда, он ходил на прогулку, но кругом была колючая проволока, было много народа. От махорки стоял дым нехороший.

Кого выписывают, а выписывают очень мало, выходит уж нездоровым.

Шли дни, недели, месяцы, годы. Каждые шесть месяцев бывали врачебные комиссии, где или о чем-то спрашивали, или о чем-то незначительном, или вовсе ни о чем не спрашивали. И вот на одной такой комиссии сказали Иванькову, что его выписывают.

Иваньков обрадовался: наконец-то! Михаил представлял себе обрадованных членов его семьи и невольно, сидя и продолжая вязать сетки, сам себе улыбался.

Ему сказали – но он не знает, правда ли это, так как земля слухами полна, – что помощник капитана, ехавший через Францию, получил 15 лет, помутнело его сознание, и он был в Днепропетровской спецбольнице на подлечении. Михаил подумал, что он еще хорошо попал. Из лагерей поступают плохие вести: того расстреляли, того расстреляли. В лагерях полно вшей, кормят плохо, еще хуже, чем в спецбольнице, работа тяжелая. Оттуда привозят искалеченных и здесь режут руки и ноги. Из лагерей привозят на второй этаж, а Михаил был на третьем.

В спецбольнице полно молодежи: тот хотел поехать в Израиль, те хотели убежать через границу, те хотят, чтоб им разрешалось верить в Бога.

Михаила вызвали к врачу и сказали ему: «Мы вас выписали, но суд отказал».

У Михаила потемнело перед глазами: суд отказал.

Прошел год, и комиссия опять его выписала, и спустя два месяца ему опять объявили, что суд отказал.

Когда он вышел из врачебной, то слышал, как кто-то заканчивал песню «Ведь Россия вся – это концлагерь большой».

ВАЙСМАН Моше – родился в 1929 году в Бухаресте. В 1940 году вместе с родителями переехал в захваченную Советским Союзом Бессарабию. Работал с детских лет. После окончания школы работал на почте, начальником почты, контролером министерства связи Молдавской ССР. В 1967 году выступил с критикой советской внешней политики в отношении Израиля и Ближнего Востока. При обыске у него были изъяты рукописи его литературных произведений. Был признан невменяемым и отправлен в Днепропетровскую психиатрическую тюрьму, где пробыл шесть лет, – там он и встретился с героем публикуемого очерка. После освобождения выехал в Израиль, где живет по сей день.

«Русская мысль»

призывает своих читателей и друзей,
всех, кому дорога русская культура и
бережное сохранение памяти о тех,
кого уже нет с нами,
принять участие в сборе средств
на памятник

Андрею Тарковскому

**Памятник будет воздвигнут
на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа
по проекту Эрнста Неизвестного**

Деньги и чеки высылайте на адрес редакции:
217 rue Faubourg-St. Honoré, 75008 Paris, France
с обязательной пометкой: *Mémoire Tarkovsky*

Истоки

Семен Б а д а ш

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Ученые утверждают, что самыми точными являются часы на атомной энергии, за ними по точности следуют кварцевые и все остальные. Но, какими бы часами ни отмерялось время, оно неумолимо бежит вперед, оставляя за собой годы и десятилетия. Десятилетия же стирают из памяти события и имена многих, коих не следовало бы не только забывать, но коими должна была бы гордиться наша родина – Россия.

Да и помнящие эти имена, этих людей, в большинстве ушли уже в мир иной. К тому же власть в стране, исходя из политических и идеологических соображений, вряд ли когда-либо вспомнит о них. И мне думается, что каждый еще живущий из моего поколения обязан о них напомнить поколениям последующим.

В разные периоды моей жизни, при совершенно различных обстоятельствах, как бы краем, пришлось мне коснуться некоторых из этих людей.

Профессор Д. Д. Плетнев

1935-й, еще голодный год. После занятий в школе я по поручению родителей бегаю с хлебными карточками в булочную за мокрым кукурузным хлебом. Мое здоровье не на шутку начинает беспокоить отца-врача, находящего в моем сердце какие-то шумы. Продолжая поддерживать дружеские отношения со своими учителями по старому Императорскому Московскому университету, медицинский факультет которого он закончил, отец позвонил по телефону известному профессору Дмитрию Дмитриевичу Плетневу, который сразу же согласился посмотреть меня. Вечером следующего дня мы ехали трамваем до Пречистенских ворот, затем по Пречистенке

поднялись в горку и зашли в Большой Головин переулок, где в одном из старинных домов жил знаменитый профессор.

Дверь нам открыла домработница и предложила ждать в коридоре, где еще сидело два пациента. Когда последние были приняты, из кабинета вышел Дмитрий Дмитриевич и, тепло обнявшись с отцом, пригласил пройти нас не в кабинет, а в столовую, где посередине стоял массивный круглый стол и на нем самовар. Домработница принесла чашки, розетки, и мы втроем уселись пить чай с вареньем.

Сидя за столом, я разглядывал профессора, известного всей стране. Небольшого роста, шуплого телосложения, глубоко сидящие выразительные глаза, светлые усики. Но больше всего меня поразили громадные книжные шкафы и стеллажи вдоль стен. Хотя у отца и была большая библиотека, но такого количества книг я никогда еще не видел.

Дмитрий Дмитриевич расспрашивал отца о работе, о настроениях врачей в городе, потом встал, вынул из одного шкафа большущие три тома «Жизни животных» Брэма и предложил мне сесть на кожаный диван. Я разглядывал красивые иллюстрации, но с детским любопытством прислушивался к беседе взрослых.

Оба пустились в воспоминания дореволюционных лет, вспоминая старых профессоров Московского университета и некоторых студентов, потом вспомнили забастовку в первый год правления большевиков.

– Да-да, – говорил Дмитрий Дмитриевич, – это было сразу после переезда большевистского правительства из Петрограда в Москву. Я тогда был правой рукой нашего академика, Владимира Сергеевича Гулевича, руководившего забастовкой студентов и профессоров. И нас принял Ленин, вынужденный удовлетворить частично наши требования. Это он распорядился тогда по нашим требованиям создать ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых).

– Я совершенно отчетливо помню вашу роль и всю нашу забастовку в то смутное время, – говорил отец.

– С тех пор, как большевики пришли к власти, все полетело вверх тормашками, – продолжал Дмитрий Дмитриевич, – они не только уничтожили нашу русскую интеллигенцию старую, но постепенно стали уничтожать и народ.

– Даже тот минимум, который они дали в период нэпа, и то окончательно забрали у народа, – говорил отец. Потом отец

обратил внимание на несколько книг, лежащих на подоконнике, на корешках которых прочел: Маркс, Ленин, – и спросил:

– Дмитрий Дмитриевич, я знаю вас много лет, еще по старому университету, вы стали известным профессором, ваши взгляды мне тоже известны, хоть вас и приглашают частенько в Кремль на консультации. Зачем вы читаете эту литературу?

– Дорогой Юлий Акимович, – отвечал профессор с улыбкой, – чтобы знать как следует своих врагов, нужно их изучать.

С этими словами он встал из-за стола и повел меня в кабинет, где я лег на клеенчатую кушетку, а Дмитрий Дмитриевич стал внимательно выслушивать мое сердце. Я глядел на горящую лампадку под иконой Божьей Матери – профессор Плетнев был глубоко верующим. После осмотра мы вышли в столовую, где ожидал мой отец, и профессор сказал:

– Нет оснований для беспокойства, шумок есть, но он функциональный, а не органический.

Мы стали прощаться в коридоре, Дмитрий Дмитриевич тепло попрощался с отцом и подал мне руку со словами:

– Учись хорошо, будешь, как и мы, врачом.

Было совсем темно, мы шли обратно к Пречистенским воротам, и по дороге отец говорил вслух, как бы сам с собой:

– Чудеснейший и умнейший человек, один из лучших моих учителей, ненавидит советскую власть, монархист по убеждениям.

А мне, четырнадцатилетнему школьнику, было еще многое непонятно, но я только ощущал глубокое уважение и симпатию отца к этому человеку.

Через несколько месяцев после этого визита, читая вечером газету, отец обратился к матери:

– Прочти, какую очередную провокацию устроили с Дмитрием Дмитриевичем.

В газете была статья, что профессор Плетнев привлекается к уголовной ответственности по доносу пациентки за то, что во время приема укусил ее в грудь.

– Это очередная ложь и провокация, никогда не поверю, – говорил с возмущением отец, – никогда не поверю в эту ложь!

Спустя примерно год мы прочли сообщение, что профессор Плетнев, друг и учитель моего отца по университету, вместе с профессором Казаковым и врачом Левиным арестован по

«делу об отравлении Горького». Отец позвонил на квартиру профессору, но там никто не отвечал. Через несколько дней отец узнал, что профессор находится в Сухановском изоляторе, и в следующее воскресенье мы поехали на Павелецкий вокзал, сели в поезд Москва – Кашира и сошли на маленькой станции Суханово (уже в то время Ягода превратил старинный монастырь в следственную тюрьму). От станции мы шли в гору через лес, когда увидели каменные строения монастыря. У ворот стояла стража НКВД, и отца на свидание не пустили.

Спустя два месяца появилось сообщение, что вся тройка обвиняемых приговорена военной коллегией к 10 годам тюремного заключения. Отец выяснил, что Дмитрий Дмитриевич Плетнев был переведен в Суздальский изолятор, где в одном из монастырей тоже была организована тюрьма. Но в Суздаль мы уже не поехали, отец прекрасно понимал, что поездка была бы бесполезной, свидания с профессором Плетневым все равно не разрешили бы. Так в полной неизвестности закончилась жизнь этого выдающегося ученого, по учебникам которого продолжало изучать терапию еще не одно поколение врачей.

Его бывший ассистент, Владимир Никитич Виноградов, ставший профессором I-го Московского мединститута, попал по «делу врачей» в 1953 году в очередную кремлевскую интригу и просидел во внутренней тюрьме на Лубянке, познав прелести режима. Когда я вернулся с островов Архипелага в 1955 году, я еще слушал его лекции в аудитории на Пироговке и, глядя на него, думал, как власть в стране постоянно жертвует своими учеными.

Владимир Рагозин

1936 год. Увлечшись шахматами, я регулярно по вечерам посещаю шахматный кружок в Московском доме пионеров, расположившемся в красивом старинном особняке на улице Стопани. Занятия по шахматной теории там ведет мастер Михаил Юдович, он же организует турниры и сеансы одновременной игры, а дома я самостоятельно изучаю учебники Стейница, Алёхина и Капабланки. В шахматном кружке дома пионеров со мной в турнирах участвуют школьники, ставшие впоследствии известными шахматистами: Эстрин, Вася Смыслов

и Фурман. С последней, пятой категории я поднялся уже до второй, когда в Колонном зале открылся международный шахматный турнир с участием всех мировых звезд. Но могут ли школьники посещать регулярно Колонный зал? Мы довольствовались фойе, где на демонстрационных досках показывались партии, игравшиеся в зале, а по окончании каждого тура собирались толпой у бокового входа, чтобы получить автографы «великих шахматного мира», ожидая их выхода после очередного тура. На сцене играли Хозе Рауль Капабланка, Эммануил Ласкер, чемпион США Файн, чемпионка Англии Вера Менчик, чемпион Венгрии Андре Лилиенталь, чемпион Чехословакии Сало Флор, чемпион Австрии Элисказес. От СССР в турнире принимали участие мастер из Ленинграда Левенфиш (тогда он не был еще гроссмейстером), чемпион Ленинграда Рагозин, молодой мастер из Ростова Бондаревский. Дул сильный холодный ветер, а толпа болельщиков и любителей шахмат стояла у бокового входа и не расходилась. Из подъезда вышел мастер В. Рагозин, в пальто с поднятым воротником. Я бросился к нему с фотографией и просил подписать ее, на что он ответил:

– Здесь холодно. Если хочешь, проводи меня до гостиницы, там я тебе подпишу.

С большим удовольствием я пошел рядом с большим мастером, мы пересекли Охотный ряд и направились в гостиницу «Москва», где жили все советские мастера шахмат. Иностранные мастера жили в гостинице «Националь». Пройдя вестибюль, Рагозин предложил подняться с ним на лифте в его номер. В номере, где на столике были разбросанные шахматы, он опустил в каком-то ознобе в кресло, не снимая пальто, и стал сильно кашлять в носовой платок. Мне стало неловко, и я предложил Владимиру Рагозину сбежать в ближайшую аптеку и принести всё, что ему необходимо, на что он ответил:

– Все лекарства необходимые у меня есть, но не помогают, а тут, как назло, неожиданно пришла очередная вспышка, не вовремя.

Он подписал мне фото, продолжая кутаться в пальто, а потом, в перерыве между приступами кашля, с улыбкой спросил меня о моих занятиях шахматами. Я с гордостью стал рассказывать о шахматном кружке и что я уже добился в турнирах второй категории. Продолжая улыбаться, он спросил меня:

– А вот как ты думаешь, оправдана ли жертва белыми пешки на с-4 в ферзевом гамбите?

Зачарованный его красивым лицом с прямыми чертами, его каштановыми волнистыми волосами, зачесанными на пробор, я с юношеской наивностью стал пылко говорить:

– Конечно же, оправдана: первое – эта пешка отыгрывается потом обратно, второе – белые получают лучшее и быстрее развитие своих фигур, и третье – они ускоряют удар по полю с-7 черных.

Рагозин, видимо, кого-то ожидал. Когда пришел неизвестный мне мужчина, он попрощался со мной и проводил меня в коридор. Окрыленный и радостный, я поздним вечером бежал домой, в кармане лежало его фото с автографом. В следующий вечер удалось попасть в Колонный зал. Я смотрел на Рагозина, сидевшего за шахматным столиком в партии с Флором и непрерывно курившего «Казбек» из пачки, лежащей на столике, возле шахматных часов. Неожиданно он выхватил из кармана носовой платок, зажал им рот, платок на глазах стал окрашиваться в красный цвет, и он, быстро поднявшись, ушел со сцены. По залу пробежал ропот. Соседи по столу говорили, что у Рагозина туберкулез и, видимо, открылось легочное кровотечение. Через пару дней, когда я подошел к Колонному залу, где висела большая турнирная таблица, я увидел, что в его графе проставлены все нули за несыгранные им партии. Мне стало очень обидно за такие жесткие турнирные правила.

Оскар Строк

Был первый послевоенный, 1946 год. Война прервала мои увлечения шахматами, появилось увлечение джазом. Среди джазистов тех лет в Москве особой популярностью пользовался трубач Виктор Зотов. Любители джаза называли его «русским Армстронгом». Да и мне казалось, что его соло на трубе было значительно виртуознее и звучнее, нежели у известного Эдди (Игнатия) Рознера. Но Виктор Зотов играл в ресторане «Аврора» (ныне «Будапешт») и не мог, по каким-то неизвестным причинам, выйти на широкую эстраду. Будучи лично знаком с Виктором, я часто приходил в «Аврору» вечером послушать его игру. В одно из посещений, когда у орке-

стра была пауза, он сел со мной за столик, за которым сидел немолодой мужчина с гладко зачесанными черными волосами, в очень старом, потрепанном костюме. Виктор Зотов представил мне его, назвав Оскаром Строком. Мне эта фамилия ни о чем вроде бы не говорила. Когда Виктор ушел на эстраду и оставил нас вдвоем, я из вечно мешавшего мне в жизни любопытства начал разговор с незнакомцем.

– Чем занимаетесь вы? – спросил я Оскара Строка.

– Да вот, пока ничем, еду на родину, в Ригу, в Москве проездом остановился на пару дней, а по профессии я композитор, писал музыку. Может быть, вы слышали кое-что мое? Ну хотя бы «Черные глаза»?

Меня словно ударила молния! Как это я никогда, слушая и ставя пластинки Петра Лещенко, не смотрел на этикетки с указанием автора того или иного танго или песни. Я покраснел от смущения и растерялся. Потом, придя в себя, стал расспрашивать и извиняться:

– Я слышал «Черные глаза» в разных исполнениях, и Петра Лещенко и Юрия Морфесси. Скажите, пожалуйста, а «Последнее танго» и «Татьяна» – тоже ваши?

– Почти все вещи, исполнявшиеся Лещенко, написаны мной, – он запил глотком вина.

– Вы жили в Латвии, Лещенко в Румынии, как же вам удалось на расстоянии такое постоянное содружество?

– У нас, в Латвии, почта работала исключительно хорошо, – улыбнулся Оскар Строк снова, – я посылал ему мои вещи, а он отбирал то, что ему нравилось, и исполнял.

– Я помню по пластинкам, которые мне удавалось слушать в Москве, еще до войны, что Лещенко записывали самые знаменитые и лучшие фирмы, такие, как «Хис мастере войс», «Коламбия», «Парляфон».

– Да, его записывали самые лучшие фирмы грампластинок, он пользовался очень большой популярностью.

Передо мной сидел талантливейший композитор, и, продолжая краснеть, я расспрашивал его дальше:

– Ходят у нас в Москве слухи, что Петра Лещенко часто приглашают сейчас в Бухаресте в советское посольство, что посол Кавтарадзе любит его слушать, что он там исполняет свой репертуар, верно ли это?

– Возможно, хотя точно и я не знаю, ничего определенного не могу сказать.

(Слухи, наверно, специально распускались: Лещенко тогда уже расстреляли.)

В очередной паузе снова подсел к нашему столику Виктор Зотов, но Оскар Строк встал и стал прощаться:

– Мне завтра рано вставать, на поезд не опоздать бы, уж так я соскучился по родной Риге.

С этими словами он пошел к выходу, а я смотрел ему вслед, и в моей голове проносились музыка и куплеты знаменитого танго «Черные глаза», облетевшего весь мир. Я спросил Виктора, откуда едет Оскар Строк, что так долго не был в Латвии, на что Зотов неопределенно ответил, что он был не то в эвакуации, не то в лагере. Больше об этом талантливом композиторе мне не пришлось ничего слышать.

Иван Мозжухин

1976 год. Работая врачом-консультантом московской городской поликлиники имени Семашко, ездя по вызовам к больным в разные районы города, ранним весенним утром я получил вызов к старой женщине по имени и фамилии Екатерина Мозжухина, по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 110. Это была окраина города, почти у самой кольцевой автомобильной дороги. По дороге к больной я вспоминал русского киноактера Ивана Мозжухина, немые фильмы, которые смотрел в молодости, когда власть пускала в кинопрокат много иностранных немых боевиков. Мне вспомнился Мозжухин по виденным фильмам и по открыткам, лежавшим в моем альбоме.

Подъехав по указанному в карточке вызова адресу, я увидел в березовой рощице двухэтажный дом с многочисленными балкончиками, а у ворот прочел: «Дом престарелых работников искусств». Предчувствие, что вызывавшая была родственницей знаменитого киноактера, меня не обмануло. Дверь комнаты открыла мне старая женщина в черном длинном платье. Я очень внимательно выслушивал ее жалобы, рассказ о ранее проводившемся лечении, потом, как и полагается, просмотрел снимки и ЭКГ, лежавшие к моему приходу у нее на столе, сделал все, что полагалось, дал рекомендации по дальнейшему лечению, но постоянно смотрел на стены маленькой комнатки, увешанные фотографиями и старыми афишами. Со-

мнений, что больная – прямая родственница Ивана Мозжухина, быть не могло. На одной из многочисленных фотографий актера я увидел его в точно такой же форме казачьего офицера, какая была и в моей коллекции фотографий.

– Кем вы приходитесь Ивану Мозжухину? – спросил я под конец визита.

– Я его родная сестра, вернулась на родину всего два года назад из Парижа. Ванечка, – продолжала она, – несмотря на постоянную свою занятость в выступлениях и съемках, всегда был очень ко мне внимателен. Он был кумиром Парижа, особенно женщин. Поэтому вел не совсем правильный образ жизни, что сказалось и на его здоровье, и на том, что последние годы он стал много пить. Личная его жизнь тоже сложилась неудачно. Я похоронила его в Париже и осталась совсем одна, без родных, захотелось умереть у себя на родине, и я получила разрешение приехать. Министерство культуры позаботилось и определило меня сюда, где я живу без всяких хлопот и забот.

Я слушал ее рассказ о жизни первых русских эмигрантов, их мытарствах на чужбине и смотрел на золотой крест, висевший на длинной золотой цепочке поверх черного платья, на стены со старыми афишами и фотографиями, и мне до слез стало грустно. Почему-то по ассоциации вспомнились есенинские строки из «Руси уходящей»:

Я уходящих в грусти не виню,
Ну, где же старикам за юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться...

Тепло попрощавшись с Екатериной Мозжухиной и пожелав ей здоровья и долгих лет жизни, я с невероятной грустью уезжал из этого общежития престарелых. Непонятна была мне самому эта грусть – то ли от воспоминаний детства, когда бегал в кино на немые боевики, то ли потому, что видел уходящее поколение, которое уже вряд ли кто вспомнит. А ведь где-то в фильмотеках должны храниться фильмы с Иваном Мозжухиным, не может быть, чтобы они были утеряны.

ВЕСТНИК

И з д а н и е

«Русского Студенческого Христианского Движения»

Ответственный редактор: *Н. А. Струве*

ВЕСТНИК РХД № 148

III - 1986

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ

От редакции. На кочке – Н. Струве

БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ

О молитве – Архим. Софроний (Сахаров)

О таинстве исповеди – Прот. Георгий Бенигсен

Серен Киркегор в русской литературе – Л. Чертков

Отрывки из дневника 1847 г. – С. Киркегор

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Стихи – Елена Пудовкина (Ленинград); Исаак Розовский

Глава 212 из «Марта Семнадцатого» (Узел III) –
А. Солженицын

Два «акмеизма» – И. Ф. Мартынов

В. Ходасевич и В. Набоков – Н. Струве

СУДЬБЫ РОССИИ

ЛЕПТА (Журнал в журнале)

О двух подвижниках – Из письма архим. Иакова – Анзерское чудо – Отец Сергей

О малом доброделании – И.

Из проповеди – архим. Таврион Батозский

Условия подписки на 1987 год (3 выпуска):

– с пересылкой обыкновенной почтой (*Sea Mail*)

240 фр. / \$ 35

– воздушной почтой (*AIR MAIL*)

300 фр. / \$ 40

Цена отдельн. номера: 80 фр. / \$ 12 (*без пересылки*)

Чеки выписывать на имя: «*LE MESSAGER*»

(Почтовый счет – ССР: № 23-601-57 U Paris).

Искусство

Соломон В о л к о в

ФЕНОМЕН РОСТРОПОВИЧА

К 60-летию великого артиста

Музыка борется за право на существование в нашем страшном мире. Собственно, так оно было всегда, испокон веков. Листая страницы истории искусств, видишь – ужасаясь и восхищаясь, – на какие ухищрения кидалась музыка, гордая и великая (про себя, про себя!), чтобы выжить, на какие шла жертвы, не боясь унижений, крови и грязи, какие преодолевала преграды, дабы принести свои дары измученным людям.

И вот – бестрепетно свидетельствует та же история музыки: в каждую из роковых эпох (а им нет числа) дело решалось, в сущности, усилиями одиночек – и чем ближе к нам время действия, тем легче назвать их поименно. Конечно, конечно – на поле битвы выходили армии музыкантов и полчища слушателей, но решающий импульс, клич, приносивший – в итоге – очередную победу, исходил от немногих.

Среди этих немногих в последние два с лишним столетия музыканты-исполнители (слово-то какое – и неловкое, и по существу своему неверное, – да нет пока под рукой другого) занимали, пожалуй, важнейшее место. Один ущемленный композитор полвека тому назад высказался в том смысле, что музыка – «достойное сожаления искусство»: написанная картина живет в музее (или где ей угодно); стихи, если они напечатаны, тоже уже живы; даже драма может существовать лишь «для чтения»; между тем, напечатанное музыкальное произведения – ноты – еще не музыка.

Нужен «исполнитель» – музыкант, распоряжающийся в совершенстве своим инструментом. От такого музыканта ждут и требуют качеств ангела: помимо суверенного владения искусством игры, еще и дара проникновения в мир другого человека (композитора), внимания и сострадания к нему, а затем самоотвержения, преданности и героизма.

Всё перечисленное выше – не слова; «ссылки на то, что всякое подлинно талантливое произведение пробьет себе путь, неверны. Это обман слушателей, которые не могут знать, сколько во всей истории европейской музыки, хотя бы XIX века, было произведений, либо не нашедших *исполнителей*, либо загубленных непониманием исполнительским», – свидетельствует один из крупнейших музыкальных авторитетов нашего времени.

Музыка, однако же, живет. И когда историки следующего столетия начнут подбивать итоги, они, несомненно, составят список музыкантов – их будет немного, не более дюжины, – чьими усилиями и свершилось, в основном, это чудо в нашем, близящемся к концу, XX веке.

То будут имена не ангелов, отнюдь, но людей грешных, делавших, тем не менее, свое дело иногда на грани, на пределе человеческих возможностей. И среди них будущие читатели, ревнители и знатоки искусства безо всякого удивления найдут имя русского музыканта Мстислава Леопольдовича Ростроповича.

Ростроповичу стукнуло шестьдесят. Кто он, возможно ли определить одним словом сферу его деятельности, поле приложения его огромных сил?

Покойная Мария Вениаминовна Юдина (сама ставшая символом для всей просвещенной России) написала мне как-то: «Мне неприятна „номенклатура“: „пианистка“; в ней есть обертоны унижительные, „профсоюзные“... Мы, мне родственные люди и я сама – *музыканты*, а на чем именно мы играем (или дирижируем), это – *лишь деталь*» (подчеркнуто Юдиной. – С. В.).

Вероятно, и Ростроповичу такое разнесение «по рубрикам» показалось бы нынче лишним, затемняющим суть дела, которому он служит – как служила и Юдина. Конечно же, он – музыкант. Но кажется важным начать наш поневоле краткий анализ с того, с чего начинал сам Ростропович, – с виолончели. И не только потому, что его открытия и завоевания в области виолончельного искусства – уже история, современная легенда, но и для того, чтобы яснее очертился *путь* Ростроповича – понятие, для его творческого облика не только характерное, но и жизненно важное.

Ростропович расколдовал виолончель. Знаю, мне будут возражать педанты, тонкие знатоки и еще более утонченные

ценители, указывая на двести с лишком лет виолончельной истории, на многие великие имена прошлого и настоящего.

И все-таки повторю упрямо: да, он расколдовал ее, из Золушки превратил если и не в принцессу, то, во всяком случае, дав ей великолепные современные наряды, сравнивал в правах и достоинстве с более удачливыми сестрами – скрипкой и фортепиано.

Каких-нибудь сорок лет назад не вызывало сомнений, что виолончель – инструмент ограниченных возможностей, «одной струны» – ярко звучащего «ля», скудный в тембровом и виртуозном отношении. Публика не очень-то баловала виолончелистов своим вниманием, композиторы – тоже.

Ростропович – один! – разом изменил картину. Не вводя особых новшеств в инструмент как таковой, он настолько изменил «обращение» с ним, подход к нему, стиль и манеру игры, так широко раздвинул границы доступного, подвластного виолончели, что этого одного было бы достаточно для внесения имени Ростроповича в ту самую «обойму», о которой говорилось выше*.

Разумеется, будущим историкам будет куда как легче анализировать путь Ростроповича – не только внешние его приметы (от мальчишки, выходявшего на сцену с казенной виолончелью, на которой голубой несмываемой краской был выведен ее инвентарный номер, до одного из лидеров современного артистического мира), но и внутренние его вехи (по

* Так уж повелось в исполнительстве: великий новатор почти всегда кажется великим циркачом. Вспомним Паганини, Листа. Приходилось встречать виолончелистов, которые всерьез уверяли, будто обращение Ростроповича с виолончелью недостойно, будто он «разрушил» ее. Да нет, он разрушил не виолончель, а всего лишь старые, замшелые представления о ней; именно потому Ростропович – не просто еще одно большое имя в истории инструмента. В XX веке он дал виолончели новый облик, невиданную ранее славу, вывел ее «в люди».

Что же касается «других великих»... Когда-то Гейне предложил такое решение спора о том, кто выше – Гёте или Шиллер: Гёте, по словам Гейне, смог бы без труда изобразить характер вроде шиллеровского, а заодно, для полноты и убедительности картины, сочинил бы и полное собрание творений Шиллера. То же и с Ростроповичем: он, мне кажется, может «изобразить» любого из великих виолончелистов прошлого и настоящего, он как бы «вмещает» их в себя. А вот кому из них удалось бы симитировать Ростроповича?

Александр Блоку: путь «к рождению человека „общественного“, художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право вглядываться в контуры „добра и зла“ – ценою утраты части души»).

Легче, но и труднее: мы современники этого пути и можем ощутить его необходимость, неслучайность не умозрительно, а всем существом, всей шкурой своей дубленой; не по газетам – по давлению атмосферного столба страшенькой повседневности, общей для всех нас.

Ростропович на этом пути сам выбирал (это важно подчеркнуть!) своих учителей. Ему с ними повезло – вероятно, именно потому, что он так нуждался в них и по-настоящему искал их поддержки и совета. Думается, наставников – в большом, жизненном значении этого слова – у Ростроповича было четверо: Прокофьев, Шостакович, Бриттен, Солженицын. В чередовании и связи имен случайное прочитывается как необходимое, личное становится общезначимым.

Людей этих (кроме, быть может, великого английского композитора Бенджамина Бриттена) русскому читателю представлять не надо. Все они ценили в Ростроповиче гениального музыканта. Композиторы сочиняли для него свои произведения. Солженицын обещал написать о Ростроповиче книгу. И, быть может, еще напишет...

Прокофьев вошел в жизнь Ростроповича сразу же после юношеского познания классики, то был первый из «великих современников».

Прокофьеву трудно дышалось: Ростропович увидел закат, которому хотелось бы быть ровным, умиротворенным. Не получилось. И все-таки Ростроповичу эти дни рядом с Прокофьевым кажутся иногда самыми светлыми – может быть, оттого, что это были дни юности («наблюдая их вместе, можно было принять Сергея Сергеевича за его отца – так они были похожи», – вот давнишнее впечатление Святослава Рихтера).

В свои 23 года Ростропович получил от Прокофьева рукописную партитуру Виолончельного концерта с такой лестной надписью: «Посвящается выдающемуся таланту Мстиславу Ростроповичу на память о совместных трудах над Концертом» (музыканты тогда острили, что сочинение написано не для виолончели с оркестром, а для Ростроповича с оркестром).

Но главное в их общении заключалось в том, что молодой артист впервые в полной мере, на равных принял участие в искусстве по сути своей неофициальном, еще недавно ошеломленном как «антинародное», творившемся сбоку от проторенных дорог, гордо не требовавшем немедленного успеха и признания. Это и был урок Прокофьева, необходимость которого для последующего пути Ростроповича трудно переоценить.

Учеником другого великана Ростроповича можно назвать и буквально: два года он брал у Шостаковича уроки инструментальной (мало кто теперь знает, что Ростропович – композитор-профессионал). Когда в 1948 году Шостаковича «отставили» от преподавания в консерватории, это стало для молодого музыканта огромной внутренней катастрофой; общественное переживалось теперь Ростроповичем как глубоко личное, ранящее.

Иногда кажется – всю земную горечь Ростропович впитал в себя, общаясь с человеком, гением своим и судьбой обреченным на пятьдесят лет без малого служить обнаженным нервом огромной страны. (Кому-то надо же было быть Шостаковичем – скажем мы, перефразируя известное изречение Шёнберга.) Быть может, оно и странно прозвучит, но Ростроповичу повезло. Он как бы «прожил», прочувствовал судьбу и долю Шостаковича, не будучи им. Горькая мудрость, отравившая последние годы жизни творца, не разъела душу Ростроповича, только разбередила ее.

Новизна Прокофьева была для Ростроповича новизной прошлого, заново отрываемой, словно из-под развалин Помпеи, русской культурной традицией. Шостакович стал для артиста его доподлинным, неотторжимым настоящим. Ну, а Бриттен?

Как-то в Нью-Йорке Ростропович признался мне: «Я считаю, Бриттен появился в моей жизни очень вовремя. Вы знаете, Прокофьев умер давно. А моя дружба с Шостаковичем... Бриттен дарил – я могу сказать именно так – человеческой дружбой, нежностью. Шостакович – антитеза этому. Конечно, у Шостаковича была масса нежности. Но она существовала как необходимый контраст к его невероятной оскаленной силе. Бриттен же был настолько ясная, светлая личность. Он изнутри светился – как святой, буквально как святой».

Можем ли мы сегодня, оглядываясь назад, сказать, что Бриттен олицетворял собой то будущее, к которому Ростропович стремился? Не знаю, но, во всяком случае, существенность этого опыта для артиста неоспорима. Впервые наш герой сдружился с большой и сложной фигурой, чья драма протекала скорее внутри, чем вовне. Тогда это было, во всяком случае, ново, поучительно: трагические вопросы, вставшие перед современным музыкантом, приобретали внеполитический оттенок, вкус универсальности. всемирной культурной всеобщности.

Вослед Бриттену мы могли бы назвать не одно прославленное композиторское имя Запада, склонившееся перед нашим героем (и длинный список этот все увеличивается). Ростропович стал полноправным, а затем и почетнейшим членом международного музыкантского содружества. Вещь простая – и неслыханная, невиданная одновременно (это, скажем так, смотря с какой стороны железного занавеса взглянуть).

И как всегда – Ростропович в числе первых. Его выход на мировую арену словно бы символизировал стремление заново набравшей сил русской интеллигенции вырваться из пут изоляционизма, прорваться через опостылевшие барьеры, преодолеть искусственно насаждавшийся провинциализм – худший из видов насилия над артистической личностью. (Шостакович любил повторять слова композитора Щербачева: «Сослали бы Бетховена на остров Ням-ням – ничего бы он там не написал».)

Мы все видим, как в России возрастает тяга интеллигенции к публичности, открытости, всё более зыбкими становятся критерии «дозволенного» и «недозволенного». И в то же время всё резче обозначается граница между духовным конформизмом и волей к артистической самостоятельности. Ростропович и здесь был в числе прорубавших дорогу. На его пути, наверное, бывали опасные моменты «готовности на всякое», когда становится все равно, каким ветрам себя предать. Много примеров тому, как самодовлеющие интересы цеха и профессии отчуждают человека от существа дела, которому он служит, далее – от интересов общества, а в итоге – от самого себя. Артист, теряя этическую норму, неизбежно теряет и свою художническую индивидуальность, а вслед за ней – самую возможность выбора, хотя бы гипотетическую. Тогда наступает – раньше или позднее – артистическая смерть.

Простая теорема, но для успешного ее решения в разных условиях требуются разные сила, воля, мужество. В некоторых условиях – немалые, в других – исключительные. Ростропович находит их, вновь и вновь доказывая подлинную свою стихийность, свою, если можно так выразиться, «социологичность». Его горячее участие в «деле» Солженицына – лишь один из примеров, хотя, вероятно, и самый знаменитый.

Солженицын стал четвертым учителем Ростроповича тогда, когда артисту вдруг стало тесно, неуютно в рамках только и исключительно музыкальных, когда в России обозначилась потребность в едином фронте мыслящих людей, в громкой и символической конфронтации с одряхлелой бюрократией.

В чем причина такой отзывчивости Ростроповича на веяния века? Почему именно его позиция, его поступки приобретают значение «лакмусовой бумажки», по которой поверяется до поры до времени скрытое – мысли и мечты многотысячного отряда музыкантов и, шире, людей искусства – в России?

Разгадку феномена Ростроповича следует искать в удивительной и пока еще редкой слитности трех ипостасей Ростроповича – артиста, человека и фигуры общественной.

Замечу прежде всего, что и артистическая личность Ростроповича на диво многогранна и в то же время нераздельна. Виолончелист, композитор, пианист. (Парадоксально, но свой первый Grand Prix du Disque Ростропович получил как пианист – за запись «Песен и плясок смерти» Мусоргского вместе с Галиной Вишневной.) Дирижер оперы (а в Вене, например, взял и поставил когда-то штраусовскую оперетту). Симфонический дирижер, руководитель Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. И педагог тоже: воспитал десятки первоклассных виолончелистов (в СССР сейчас о «школе Ростроповича» молчат, как воды в рот набрали). Наконец, выдающийся музыкальный просветитель и пропагандист. На Западе Ростроповича называют человеком Ренессанса.

Захватывающе интересно наблюдать, как все свои многообразные таланты Ростропович ставит на службу одной цели. Возьмем, к примеру, творчество Шостаковича, чью музыку, смею утверждать, Ростропович понимает, как немногие из живущих ныне на свете исполнителей. Оба виолончельных

концерта Шостаковича посвящены Ростроповичу. Он играет Шостаковича неустанно, везде и всюду: как солист-виолончелист, как ансамблист (Соната в союзе с автором – незабываемое исполнение!). Ростропович-пианист – участник, вместе с Галиной Вишневской, премьеры язвительнейшего вокального цикла Шостаковича на слова Саши Черного (посвященного Вишневской). Дирижерский дебют Ростроповича тоже связан с музыкой Шостаковича, и с тех пор она – в центре его дирижерских устремлений. Он организовал первый в истории фестиваль, целиком отданный творчеству Шостаковича. Слушателям, музыкантам, журналистам Ростропович неустанно растолковывает, в чем мучительная красота сочинений «Достоевского в музыке».

В судьбе многострадальной оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» Ростропович принял горячее участие. Когда в Москве, после многолетнего остракизма, оперу собрались показать вновь (под названием «Катерина Измайлова» и с вынужденными авторскими поправками), Ростропович явился с виолончелью в театр и попросил позволения принять участие в репетициях – как одному из оркестрантов! Конечно, немедленно повел оркестр за собой, будоражил, заводил, требовал немислимого. Так и играл первые спектакли – в «яме», точно усердный оркестрант. Боролся за оперу. А на Западе записал на пластинки, уже в качестве дирижера, первоначальную авторскую версию, с Вишневской в главной роли. Запись эта стала событием экстраординарным, собрала множество премий. (Для меня она памятна по-особому: брошюра, приложенная к пластинкам, – мой американский дебют о Шостаковиче.)

Ростропович интерпретирует Шостаковича агрессивно – таков уж его стиль, артистический и личностный. Иногда можно услышать, что композитор был человек «простой и добрый». Но Ростропович его музыку трактует, скорее, «недобро». Да и что такое – быть «добрым» в искусстве? Добрыми ли были авторы «Страстей по Матфею», «Аппассионаты», «Полета валькирий»?

Мне довелось присутствовать в незабываемом «прощальном» концерте Ростроповича в Москве, когда он дирижировал Шестой симфонией Чайковского. Центром симфонии неожиданно стал исполненный с дьявольской, нечеловеческой силой Марш третьей части; и «добрый» Чайков-

ский повернулся к нам своей нищенской стороной – «есть упоение в бою»...

Когда я слушаю Шостаковича в трактовке Ростроповича, то часто вспоминаю о другом художнике – о Чаплине, который тоже ведь скорее жесток, чем сентиментален, и который, обращаясь к маленькому человеку – в сущности, к любому, ко всякому, – пытается разобраться в том, что же происходит в этом мире.

Когда говорят о маленьком человеке, его обыкновенно жалеют; для Чаплина – как и для Шостаковича – такая жалость была бы унижительной. Ростропович мыслит и чувствует так же; в картине мира, интуитивно им постигнутой и донесенной до слушателя, жалости нет места. Она беспощадна и вседо-ступна, эта картина, и оттого вызывает к действию.

«Бьютифул» и «уандерфул» – эти эпитеты из нержавеющей арсенала международных богатых дам-патронесс к искусству Ростроповича решительно не подходят. Он бежит эстетизма, красоты «во что бы то ни стало», возникающей независимо от того, есть ли настоящий повод к ней. Он несравненно чаще трагичен, нежели идилличен. (Иногда, очень редко, Ростропович играет старинную музыку удивительно умиротворенно. Получается как в ирландской саге, в которой описывается серебряная ветвь и белые цветы на ней – они почти сливаются, и непонятно, где кончается белизна цветов, а где начинается серебро ветви.) Но большей частью всё в игре Ростроповича беспокойно, всё устремлено навстречу нам, всё есть не состояние, а движение, когда сон души, пусть и прекрасный, гонится прочь.

Ростропович-музыкант ощущает себя оратором (поэтому, кстати, он и не боится больших аудиторий; наоборот, стремится к ним), он выходит к слушателям словно для публичной исповеди, которая незаметно оборачивается средством овладеть чужой душой. Здесь грань между человеком и артистом вновь стирается: артист – как и человек – демократичен и несентиментален. Он не умиляется слабости и беззащитности. Он ершист, непримирим, патетичен.

О демократизме искусства Ростроповича хочу сказать особо. Ростропович всегда помнит о слушателе, не скрывает своей нужды в нем, без него тоскует и вянет. Вряд ли можно его за это упрекнуть. Тут вновь удивительное сходство характера и ампула. Но тут и четкое осознание своей цели, своего пути.

Ростроповичу приходилось играть авторов опальных, нежеланных – однако же нежеланны они были только для чиновников – «глухих львов». Слушатели ждали, жаждали встречи с этими композиторами – и Ростропович знал об этом. Он избегает включать в свой репертуар сочинения сугубо экспериментальные, грозящие потерей контакта с залом. В сегодняшнем Ростроповиче нет ничего жреческого, а когда он пытается быть жрецом, то это мало ему удается, ибо вступает в конфликт с исконным, органичным его популизмом.

Поэтому для Ростроповича нет недозволённых средств, когда речь идет о том, чтобы сделать музыку говорящей. Тут все средства хороши, даже крайние. Любая эксцентриада становится оправданной. И, скажем, никого не шокирует, когда в кульминационных местах Ростропович, нарушая все и всяческие правила, играет – нет, не то слово, скорее, *кричит* – зажав смычок в кулаке!

А вот Ростропович-дирижер работает с оркестрантами: и здесь для него важнее всего экспрессия – поверх нот, поверх иногда и оркестровых возможностей. Ростропович никогда не просит от оркестрантов – людей, бывает, усталых, бывает, циничных – «тихого» или «громкого» звука – он говорит с ними о звуке грустном, веселом или тоскливом, звуке надежды и трагедии, душевного веселья или душевной опустошенности. Редкая слиянность человеческого характера и артистической маски! Вот почему, может быть, Ростропович без труда сохранил свою ярчайшую индивидуальность и в дирижерском тяжком ремесле.

Современная психология числит дирижирование среди сложнейших и требующих наибольшей отдачи профессий. Водитель оркестра работает в условиях жестокого стресса. Поэтому особенно важным оказывается – сопоставимы ли масштаб замысла и масштаб личности дирижера. И получается, что прославленный шубертовский певец, выйдя к оркестрантам со своей идеей шубертовской же симфонии, не в состоянии извлечь из оркестра ничего, кроме блеклого капельмейстерского отпечатка. Встав перед оркестром, он *разоблачил* себя; дирижерский подиум – неудобное, небезопасное место.

Индивидуальная воля может стать коллективной лишь в том случае, если она сама по себе достаточно велика – таков парадоксально-замкнутый круг. У Иегуди Менухина, на-

пример, камерный оркестр звучит как многоголовый Менухин, хотя это и кажется невозможным. Ростропович то же прodelывает с симфоническим оркестром и, что уж совершенно непостижимо, умудряется добиться этого и в опере: в Большом театре я слышал «Евгения Онегина» и «Войну и мир», на Западе – «Пиковую даму» и «Царскую невесту», прозвучавших по-ростроповичевски!

В Ростроповиче вообще сильна тяга к опере, оперному, зрелищному, к драматическому и внятному жесту. Страсть эта, конечно, коренится в самой его натуре – гиперболической, гаргантюа-подобной. Ростропович в обыденной жизни театрализует всё, что театрализации поддается; для зеваки его жизнь – марафонский карнавал или карнавальная марафон, как угодно. Но только зевачка в наивности своей может думать, что артист так открыт и доступен, как он это перед нами разыгрывает. То, что, наблюдая за Ростроповичем, невозможно догадаться, когда же именно происходит в нем таинственный «творческий процесс», только доказывает, как глубоко процесс этот упрятан, подальше от нескромных взглядов.

Иногда может показаться, что в Ростроповиче живут разные характеры без примирения друг с другом (Новалис утверждал: «совершенный человек – это маленький народ»). Я познакомился с ним десять с лишком лет назад, в Москве. Время для знакомства было, казалось бы, самое неподходящее: Ростропович с семьей уезжал на Запад и, как видно было всем, надолго. Его прощальный концерт потряс меня своим высочайшим накалом; я написал рецензию и принес ее главному редактору журнала «Советская музыка», где тогда работал. Главный посмотрел на меня как на сумасшедшего и статью спрятал в стол. Но в «самиздатском» виде она все-таки дошла до Ростроповича и понравилась ему. Вскоре я был приглашен зайти к Ростроповичу на квартиру.

Помню, меня тогда поразила его беззащитность, уязвимость. Ростропович в быту экспансивен, часто кажется агрессивным: вот уж такому на мозоль не наступишь. На самом деле, его невероятно легко обидеть. Он постоянно ищет моральной поддержки и одобрения людей, которых любит и уважает. И в то же время он целен цельностью потока. Он инстинктивно не доверяет ничему, что слишком уж отстоялось, уплотнилось, заостенело. Он стремится всё пересоздать и всё переделать, постоянно начинает жизнь «заново».

Романтики считали, что музыка, подобно сну, прерывает для нас обыденный ход жизни. Эстетика Ростроповича полярна романтической: по его убеждению, музыка тем и хороша, что возвращает к жизни, она – не перерыв, не «покой и воля», но движение и воля.

«Где нет свободы – нет творчества», – это было сформулировано им давно, очень давно. Этим убеждением, как всяким, в муках рожденным, а не дарованным сверху, Ростропович дорожит. Он хочет, чтобы оно стало достоянием как можно большего числа людей – как на Востоке, так и на Западе, а потому не упускает случая напомнить о нем, как всегда по-ростроповичевски громогласно.

Он свободен теперь. И – богат. Нужно ли об этом говорить? Не лучше ли обойти денежную сторону дела молчанием, как это делают в Советском Союзе? (Среди множества прочих цензурных запретов, там строго заказано приводить в печати цифры окладов, гонораров и т. д.) Я-то думаю, что читателям в России узнать о заработках Ростроповича будет небезынтересно. И вот почему.

Дело в том, что советские артисты, которых выпускают с концертами на Запад, находятся в положении крепостных на оброке: 90 процентов заработанной ими инвалюты они обязаны сдавать в советское посольство. За «ошибки» в финансовых отчетах артистов штрафуют жестоко, в пятикратном размере. Рассказывать обо всем этом иностранцам строго воспрещено, так что они иногда удивляются: как это советский музыкант, получающий приличный гонорар, не может раскошиться на ресторан.

Эта система полугласного и полуузаконенного грабежа обдирает советского артиста как липку. Она лишает почтенных музыкантов остатков чувства самоуважения. Мало того, что Рихтер или Светланов выглядят глупо перед коллегами-иностранцами. Система ставит их на одну доску с мелкими фарцовщиками.

В Москве рассказывали такую историю: воры обчистили квартиру Давида Ойстраха. Грабителей, на удивление, изловили, и к Ойстраху явился милицейский чин со списком обнаруженных вещей и ценностей. «Скрипка в таком-то футляре ваша?» – «Моя». – «Маятник стенной старинный ваш?» – «Мой». – «Инвалюта, пять тысяч долларов американских, ваша?» Ойстрах покраснел и ответил: «Какая валюта?»

Чтобы как-то обхитрить всевидящее государство, концертирующие на Западе советские музыканты пускаются на различные «операции», превращаясь – перед лицом советского закона – в уголовников. В итоге, они становятся легко уязвимыми для шантажа со стороны и жуликоватых западных импрессарио, и отечественных «органов».

Всё это вредно влияет и на характер, и на музыку. О деньгах говорить как бы не принято. На самом же деле, кубинские песо и монгольские тугрики занимают непомерно большое место в эмоциональной жизни советского артиста. (Я уж не говорю о сертификатах с полосками и без оных.) Бах, Моцарт и Чайковский как-то отступают на второй план...

Здесь, на Западе, – другое дело. Артисты из России оказались в числе первых миллионеров третьей эмиграции. Конечно, я, как и все, слышу рассказы о «миллионерах с Брайтон-Бич». Но коли они миллионеры, то почему они живут на Брайтон-Бич? Другое дело, когда у человека резиденции в фешенебельных районах Нью-Йорка и Вашингтона, в Лондоне, Париже, Лозанне и Олдборо, как у Ростроповича. Тут понимаешь, о каких деньгах идет речь.

Да и гадать не нужно. Газета «Вашингтон пост» в статье «Маэстро и миллионы» дает такие цифры. За сезон 1984-85 оклад Ростроповича как музыкального руководителя и дирижера этого оркестра составил 606.250 долларов. За три года он получил от оркестра полтора миллиона. Как виолончелист Ростропович дает около 70 концертов по всему свету ежегодно. Гонорар его при этом составляет от 10 до 35 тысяч за выступление. Да еще прибавьте к этому деньги за дирижерские выступления с другими оркестрами, отчисления с продажи многочисленных пластинок... Ясно, что Ростропович – мультимиллионер.

Но, главное, все эти миллионы Ростроповичу нет нужды скрывать. Деньги нажиты законно, честным трудом и, что называется, в поте лица. Ростропович – как и другие богатые русские артисты, живущие ныне на Западе, – может спать спокойно, не боясь ни ОБХСС, ни полиции, ни мести разгневанного партнера.

Советская «номенклатура» об этом, разумеется, осведомлена. И, разумеется, уважает за это Ростроповича еще больше. В Нью-Йорке недавно я стал невольным свидетелем забавной сценки. Недалеко от Линкольн-центра остано-

лась машина с дипломатическим номером. Из нее вышли двое в болоньях, и старожил, обращаясь к новичку, громко сказал по-русски (видимо, продолжая ознакомительную экскурсию по городу): «А вот тут живут дочери Ростроповича». После чего они проследовали к следующей достопримечательности – панно Марка Шагала в Метрополитен-опера.

Но это, что называется, простые советские дипломаты. А вот что думают о Ростроповиче граждане, ответственные за совфинансы и, в частности, за валютные поступления?

Вероятно, скрипят плохого качества вставными челюстями. Потому что изгнание четы Ростроповичей лишило советскую казну миллионов позарез ей нужных долларов.

Бывший многолетний заместитель министра культуры СССР Кухарский (сейчас он на почетной пенсии), выпроваживая Ростроповича из России, сказал ему, что советские оркестры играть с ним не хотят. Когда в Советском Союзе будут затевать очередную кампанию против злостных растратчиков, пусть лучше вспомнят о Кухарском и других управляющих советской культурой...

Поле деятельности Ростроповича ныне очень широко. Он любим и нужен везде, где нужна и любима музыка (кроме Советского Союза и стран восточного блока). Бесчисленное множество статей написано о достижениях Ростроповича на Западе; если он собирает их, то, наверное, в какие-нибудь особенно вместительные мешки. Знаем мы и о престижном эквиваленте музыкантской славы Ростроповича: переполненные залы, пластинки, премии, ордена большие и малые. Конкурс виолончелистов имени Ростроповича. Специальная стипендия Арнольда Хаммера имени Ростроповича. Заветный приз, которого добиваются короли, премьер-министры и кинозвезды, – портрет на обложке журнала «Тайм».

Скажут: «поклонение это небескорыстно». Да, конечно, – в цене, в почете не абстрактный Мстислав Леопольдович, представительный и жовиальный мужчина шестидесяти лет. Повсеместно нужны талант, энергия, работоспособность музыканта Ростроповича: его зовут поднять, улучшить дело, вдохнуть в него новую жизнь. Ростропович на Западе – институция; соответственно, и культурная потеря России видна невооруженным глазом.

Но такова уж судьба артиста – раскидывать свой шатер там, где ты нужен, где тебя ожидают, вновь и вновь начиная

вечную свою проповедь, «чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло». Это дело трудное, но и благородное зато, и благодарное. Ростропович продолжает этим давнюю русскую традицию, традицию Шалапина, Рахманинова, Кусевицкого. Он использует все свои возможности для того, чтобы еще дальше пронести славу русской музыки, утвердить ее повсеместно: открыть, истолковать незнакомое и непонятное; новой, невиданной гранью показать хорошо известное..

Как много работы – ну, просто невпроворот, и хочется всё успеть, всё испробовать, начать – а начавши, завершить. Надо спешить: в чужом находить свое, в своем чужое, в настоящем – будущее, в национальном – мировое. Ведь Ростропович – максималист; там, где он появляется, музыка начинает бить ключом, а он, со своим всегдашним, неукротимым стремлением «безличное – вочеловечить, несбывшееся – воплотить», жаждет коллективности, азартной всеобщей причастности.

Личность Ростроповича – на первый взгляд, вовсе нетипичная для тех социальных условий, в которых она формировалась, – есть, на самом деле, многообещающий пример живучести великой культурной традиции. Когда о нем думаешь, то невозможное кажется действительным, несбывшее – сбывшимся, а впереди маячат новые неслыханные чудеса. Таков уж феномен Ростроповича.

ВОЛКОВ Соломон (г. р. 1944) – окончил Ленинградскую консерваторию и аспирантуру при ней. Был принят в Союз композиторов СССР, работал старшим редактором журнала «Советская музыка». С 1976 г. живет в Нью-Йорке. Опубликовал книгу «Свидетельство: мемуары Дмитрия Шостаковича в записи и под редакцией Соломона Волкова», вышедшую на 14 языках в 20 изданиях, более чем полумиллионным тиражом. «Свидетельство» было удостоено премии Американского общества композиторов, авторов и издателей. Другие книги Волкова – «Чайковский по Баланчину: интервью с Джорджем Баланчиным» и вышедшая еще в России «Молодые композиторы Ленинграда» (с предисловием Дмитрия Шостаковича).

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде – 33.00, полугодовой – 18.00 дол.

'ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. \$ 33.00 на срок 6 мес. \$ 18.00

В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки – \$ 64.00 авиадоставки – \$ 160.00

Чек (мони-ордер) на сумму дол. прилагаю.

Газету прошу направлять по адресу:

Литература и время

Джордж Орвелл

АРТУР КЕСТЛЕР

Перевод с английского Игоря Бродецкого

Изучающему английскую литературу XX века не может не броситься в глаза то обстоятельство, что в ней в значительной степени преобладают авторы-иностранцы – например, Конрад, Генри Джеймс, Бернард Шоу, Джойс, Йитс, Паунд и Элиот. Однако, если вы хотите вступить за наш национальный престиж и ознакомитесь с различными отраслями литературы, вы обнаружите, что вклад англичан был не так уж мал, до тех пор пока мы не начинаем анализ того, что, грубо говоря, называется политической литературой, литературой политического памфлета. Здесь я имею в виду тот особый вид литературы, который возник в разгар политической борьбы в Европе, начавшейся с возникновения фашизма. Под эту категорию попадают и романы, и автобиографии, репортажи и социологические трактаты, а также просто памфлеты. У всех этих произведений общий источник и в значительной степени общая эмоциональная атмосфера.

Среди писателей этой школы особенно известны Силоне, Мальро, Сальвемини, Боркенау, Виктор Серж и, наконец, Кестлер. Некоторые из них пишут художественные произведения, другие – не пишут, но объединяющей для них чертой является то, что их книги составляют современную НЕОФИЦИАЛЬНУЮ историю, ту самую историю, которой не найдешь в учебниках и которая перевирается газетами. И все они – пришельцы из континентальных стран Европы. Не боясь преувеличения, скажу, что если у нас в Англии выходит книга о тоталитаризме и через шесть месяцев после публикации она все еще заслуживает прочтения, то наверняка она переведена

Печатается с любезного разрешения руководства архива Сони Браунелл-Орвелл.

с какого-нибудь иностранного языка. Английские писатели за последние четверть века запрудили рынок своими произведениями политической литературы, но вряд ли ими было написано что-либо, представляющее собой эстетическую или историческую ценность. Книжный Клуб Левых существует с 1936 года. Сколько названий его специально отобранных книг вы можете вспомнить теперь? Нацистская Германия, Советский Союз, Испания, Абиссиния, Австрия и Чехословакия – эти и смежные с ними темы в Англии послужили основой только для прилизанных репортажей и лживых памфлетов, в которых наживка пропагандных машин тоталитарных стран проглатывалась авторами целиком, а затем, полупереваренная, отрыгивалась читателям. И очень-очень мало было написано достоверных учебников и справочников. Английские авторы оказались неспособны написать такие романы, как, например, «Фонтамара» или «Мрак в полдень», потому что не было в Великобритании ни одного писателя, которому довелось бы испытать тоталитаризм на собственной шкуре. В Европе за последние десятилетия с представителями «среднего класса» происходили вещи, которые не случались в Великобритании даже с рабочими. Большинство европейских писателей, имена которых я перечислил, а также десятки других были вынуждены, занимаясь политикой, нарушать законы, бросать бомбы, сражаться на баррикадах. Многие побывали в тюрьмах и концлагерях, пересекали границы под вымышленными именами и по поддельным паспортам. Попробуйте представить себе профессора Ласки, проделывающего все это. Из всего вышесказанного следует, что Великобритании не хватает того, что можно назвать «лагерной литературой». Тот особый мир, который создается тайной полицией, цензурой, пытками, сфабрикованными судебными процессами, конечно, известен в общих чертах, и существование оно не одобряется, но сведения о нем не произвели должного впечатления на читательские круги. Следствием этого было то, что в Великобритании нет критической литературы о Советском Союзе. Существует отношение некоего почти бессознательного неодобрения по отношению к советской власти и отношению некритического восхваления. Мало что из написанного существует между этими двумя крайностями. Возьмем, к примеру, мнение общественности о московских судебных процессах над участниками так называемых диверсионных центров. Это мнение раздели-

лось в вопросе о том, были ли подсудимые виновны или нет. Мало кто понимал, что, независимо от виновности обвиняемых, сами суды представляли собой неопишуемый ужас. Неодобрение британского общества по поводу чудовищных преступлений нацистов выражалось подобно тому, как включается и выключается рубильник, в зависимости от политической модности. Чтобы понять все это, необходимо вообразить себя жертвой, и для англичанина написать «Мрак в полдень» так же неммыслимо, как работоторговцу написать «Хижина дяди Тома».

Главная тема Кестлера – перерождение революции под влиянием власти, растлевающей людей, но особенности сталинизма привели его к позициям, близким к позициям консерваторов-пессимистов. Я не знаю, сколько всего книг написал Кестлер. Он родился в Венгрии, пишет обычно по-немецки, пять его книг опубликованы в Англии: «Испанское завещание», «Гладиаторы», «Приезд и отъезд», «Мрак в полдень» и «Накипь». Темы всех этих книг одни и те же. В лучшем случае, на протяжении всего лишь нескольких страниц автор отступает от описаний, исполненных атмосферы невыразимого ужаса. В трех книгах из пяти действие почти целиком протекает в тюрьме.

В первые месяцы гражданской войны в Испании Кестлер становится корреспондентом «Ньюз кроникл». В 1937 г. при взятии Малаги фашистами Кестлер попадает в плен. Сначала его чуть было мимоходом не расстреливают, затем несколько месяцев он сидит в крепостной тюрьме, слушая ружейные залпы по мере того, как расстреливают одну группу заключенных за другой, и сам ежечасно ожидая оказаться в одной из них. И это не было случайным приключением, «тем, что может случиться с каждым». Все происходило в полном соответствии с его жизненной устремленностью. Человек политически нейтральный не попал бы в Испанию в это время, более осторожный обозреватель выбрался бы из Малаги до прибытия в город фашистов, а британский или американский газетчик не встретил бы столь сурового приема. Эти события описаны Кестлером в книге «Испанское завещание». В книге есть удивительные страницы, но, помимо бессистемности, присущей всем репортажам, книга страдает от ряда фактических неточностей. В эпизодах с описаниями тюрьмы Кестлеру удается создать атмосферу царящего там кошмара, что впоследствии становится чем-то вроде патентованного изобре-

ния Кестлера. Но большая часть книги слишком окрашена ортодоксальностью Народного фронта, столь популярного в то время. А несколько абзацев, кажется, были специально подправлены для Книжного Клуба Левых. В этот период Кестлер либо еще был коммунистом, либо только что вышел из их рядов. Невероятно сложное сплетение политических течений в Испании во время Гражданской войны не давало возможности члену компартии объективно писать о внутренней борьбе коммунистического правительства. Погрешность всех левых того времени заключалась в том, что они хотели быть антифашистами, но не антитоталитаристами. В 1937 г. Кестлер уже знал это, но не мог об этом писать.

В завуалированном виде он писал об этом в своей следующей книге «Гладиаторы». Роман вышел за год до войны, но по какой-то причине книга не вызвала большого интереса.

Книга Кестлера «Гладиаторы» имеет ряд недостатков. Это роман о Спартаке, гладиаторе-фракийце, который поднял восстание рабов по всей Италии в 65 г. до нашей эры, а любая книга на эту тему страдает от сравнения с «Саламбо», даже если у автора большой талант рассказчика. Величие книги «Саламбо» состоит не в точном описании исторических событий, но в безжалостности отображения ею действительности. У писателей середины XIX века еще было достаточно созерцательности и времени для путешествий в прошлое. Флобер еще мог постичь умом ледяную жестокость народов древности.

В наше же время настоящее и будущее слишком ужасны, чтобы от них можно было спастись, и если кто-нибудь читает книгу на историческую тему, то только для того, чтобы наполнить ее современным содержанием. Кестлер превращает Спартака в аллегорическую фигуру, в некую примитивную версию пролетарского вождя-диктатора. В то время как Флобер силой своего воображения мог представить воинов того времени действительно солдатами до-христианской эпохи, Спартак Кестлера – современный нам человек. Но это не было бы столь значимым, если бы Кестлер полностью понимал смысл своей аллегории. Революции всегда кончаются катастрофой – вот главная тема книги. Но автор колеблется при попытке ответить на вопрос, почему они кончаются катастрофой, и в произведение входит некая неопределенность, а главные персонажи приобретают загадочный и нереальный облик.

В течение нескольких лет восставшие рабы неизменно одерживали победы. Их число достигает ста тысяч человек, они захватывают почти всю южную Италию, они громят одну карательную экспедицию за другой, они объединяются с пиратами, тогдашними хозяевами Средиземного моря. И наконец они начинают строить свой собственный город – Город Солнца. В этом городе все люди должны быть равны и свободны, более того, они должны быть счастливы: нет рабства, нет голода, нет несправедливости, нет плетей и казней. Это та мечта о справедливом обществе, которая во все века не перестает волновать человеческое воображение, независимо от названий этого общества, будь то Царствие Небесное, или бесклассовое общество, или уже существовавший Золотой Век, в котором мы некогда жили, но больше не живем по причине нашей деградации. Рабам, как и следовало ожидать, не удается построить такое общество. Как только они перестают быть воинским соединением и возвращаются к мирной жизни, несправедливость, страх и эксплуатация возвращаются в их общество в той же степени, в какой они существовали раньше. Даже распятие на кресте – символ рабства – используется ими для наказания преступников. Поворотным пунктом является момент, когда Спартак вынужден распять двадцать самых старых и самых преданных ему товарищей. После этого Город Солнца обречен. Рабы делятся на фракции. Одна за другой эти фракции терпят поражения, а последние пятнадцать тысяч восставших попадают в плен и все гибнут на крестах.

Слабой стороной романа является то, что мотивы, которые движут Спартаком, так и не находят своего отображения в книге. Римский юрист Фульвий, который примкнул к восставшим и выступает в качестве хроникера-историка, выдвигает уже знакомую нам дилемму о целях и средствах ее достижения. Ничего нельзя достигнуть, не применяя хитрость и силу, но применяющий их предает цели и идеалы революции. Спартак, однако, изображен не как рвущийся к власти фанатик и не как идеалист. Его увлекает какая-то сила, в которой он не вполне отдает себе отчет, и иногда он подумывает, не бросить ли все это и не бежать ли в Александрию, пока не поздно. В конечном счете, республика рабов гибнет больше от гедонизма, чем от борьбы за власть. Рабы разочарованы в свободе, так как им все же надо работать, и республика распадается из-за того, что наиболее дикие и неумные рабы, в

основном галлы и германцы, продолжают вести себя как бандиты уже после провозглашения республики. Очень может быть, что так и было на самом деле. Нам мало что известно об этом восстании рабов древности. Но, давая Городу Солнца погибнуть от того, что никто не осмеливается помешать галлу Криксу грабить и насиловать, Кестлер колеблется между аллегорией и историей. Если Спартак – прототип современного революционера (а замысел именно таков), то он должен впасть в грех по той простой причине, что невозможно совместить обладание властью с праведностью носителя этой власти. Так или иначе, но Спартак в романе – пассивная, не всегда убедительная фигура. Он более подвержен влиянию других, чем сам влияет на окружающих его людей и события. Роман не удался частично потому, что центральная проблема революции либо частично замалчивалась, либо не была разрешена.

Попытка избежать этой темы, хотя и несколько более тонким приемом, повторяется и в лучшей книге Кестлера «Мрак в полдень». Но роман от этого не страдает, потому что он описывает частных лиц и их психологию. Роман представляет собой эпизод, взятый из более широкого фона событий, которые мы не подвергаем анализу. В нем описан представитель старой гвардии большевиков Рубашов, который сначала отрицает свою вину, а потом признается в совершении преступлений, которых он не совершал. Зрелость романа, отсутствие в нем сюрпризов и элементов детективности, а также сострадание и ирония, которыми пропитан рассказ, показывают, насколько лучше быть европейцем, когда берешься за такую тему. Книга достигает высоты подлинной трагедии, в то время как англичанин или американец написал бы в лучшем случае полемический трактат. Кестлер полностью овладел материалом и пользуется им на высоком эстетическом уровне. Однако – в его методе есть политическая подоплёка, не очень важная в данном случае, но могущая повредить ему в его будущих книгах.

Естественно, вся книга построена вокруг вопроса о том, почему Рубашов признается в несовершенных преступлениях. Он невиновен, то есть не виновен ни в чем, кроме главной вины: неприятие сталинского режима. Все конкретные обвинения в измене – выдумка. Его не пытаются или пытаются не слишком. Рубашов устал от одиночества, зубной боли, нехватки табаку, ярких ламп и беспрерывного допроса. Но

всего этого недостаточно, чтобы сломить закаленного революционера. Ранее нацисты пытали его гораздо больше и не смогли сломить его волю. Признания, полученные на показательных процессах в Советском Союзе, могут иметь три объяснения:

- 1) обвиняемые виновны во вменяемых им преступлениях,
- 2) их пытали и шантажировали угрозами применить репрессии по отношению к их родственникам,
- 3) они действовали под влиянием отчаяния, политического банкротства и привычки быть верными партии.

Для Кестлера в романе «Мрак в полдень» первый пункт исключается совсем, и, хотя в задачи этой статьи не входит обсуждать сталинские процессы в СССР, я добавлю, что та немногая информация, которой мы располагаем, свидетельствует о том, что процессы над старыми большевиками были от начала до конца сфабрикованы. Если мы примем за основу утверждение, что обвиняемые были невиновны или, по крайней мере, не виновны в том, в чем они признавались, то остается одно, подсказываемое здравым смыслом объяснение – объяснение номер два. Кестлер, однако, избирает третье объяснение, его же дает некий троцкист Борис Суварин в своей книге «Кошмар в СССР». Рубашов признает себя виновным, потому что он не может, перебирая в своем сознании все аргументы, найти причины, по которой ему *не* следует признаваться. Справедливость и объективная истина уже давно перестали для него существовать. Десятилетиями он оставался креатурой партии, а теперь партия потребовала от него, чтобы он сознался в несуществующих преступлениях. В конце концов, хотя он и измучен и утомлен следствием, он гордится своим решением покаяться. Он считает себя выше, чем несчастный белогвардейский офицер в соседней камере, с которым он перестукивается через стену. Этот офицер поражен, когда узнает, что Рубашов собирается капитулировать. С его отсталой «буржуазной» точки зрения, каждый человек, даже большевик, должен суметь умереть достойно. Честь, говорит он, состоит в том, чтобы поступать так, как подсказывает совесть. «Честь – это быть полезным без шума и суеты», – выстукивает ему через стену Рубашов и ощущает при этом некоторое удовлетворение от того, что он выстукивает слова дужкой пенсне, в то время как его идеологический противник, обломок прошлого, выстукивает слова моноклем.

Подобно Бухарину, Рубашов видит перед собой «черную бездну». Что таится в ней, какой свод законов, какие представления о верности, о добре и зле, ради которых ему следует отвергнуть требования партии и перенести новые страдания?

Он не только одинок, он – опустошен морально. Он сам совершал худшие преступления, чем то, которое совершается против него самого теперь. Например, будучи посланным в качестве секретного эмиссара партии в нацистскую Германию, он избавляется от непокорных соратников, передавая их в руки гестапо. Любопытно, что воспоминания о детстве, о жизни в имении отца-помещика – единственный источник внутренней стойкости Рубашова. Последнее, что видит Рубашов, когда ему стреляют в затылок, – это тополиные ветки в отцовском саду. Рубашов принадлежит к тому поколению «старых большевиков», которое было полностью или почти полностью уничтожено во время чисток. Он знаком с искусством, литературой и с жизнью других стран. Он резко отличается от молодого гепоушника Глеткина, ведущего следствие по его делу. Этот последний – образец «надежного партийного работника», без совести, без мысли, «думающий граммофон». В отличие от Глеткина, сознательная жизнь Рубашова началась до революции. Его сознание – не «чистая страница», на которой пишет партия. Превосходство Рубашова над Глеткиным заложено, как мы можем проследить, в буржуазном происхождении Рубашова. Вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что «Мрак в полдень» – просто история какого-то фиктивного лица. Без сомнения, это политическая книга, предлагающая читателям новую интерпретацию сложных общественных событий. Под Рубашовым, возможно, подразумевается Бухарин, Раковский или любой другой представитель старой гвардии из числа более или менее цивилизованных революционеров.

Пишущий о московских процессах должен ответить на вопрос: «Почему обвиняемые признались в совершении преступлений, которых они не совершали?» Ответ всегда будет являться политическим решением. Кестлер отвечает так: «Они признавались, так как эти люди были растлены Революцией, которую они совершили». И, отвечая на вопрос таким образом, Кестлер по сути дела утверждает, что революции порочны по своей природе. Если предположить, что обвиняемые на московских процессах раскаивались под воздействием

пытках, то этим самым мы утверждаем, что только какая-то одна группа революционеров сбилась с пути. Виноваты индивидуумы, а не революция. Вывод книги Кестлера, однако, в том, что Рубашов у власти не лучше, чем Глеткин, а если и лучше, то только потому, что его мировоззрение было сформировано до Революции. Революция, как бы говорит Кестлер, – процесс всеобщего разложения. Прими в ней участие – и ты закончишь как Рубашов или как Глеткин. Не только «власть разлагает», но и методы борьбы за власть разлагают в меньшей степени. Поэтому все попытки обновить общество насильственными методами ведут в подвалы ОГПУ. Ленин ведет к Сталину, и Ленин неизбежно превратится в Сталина, если сумеет остаться в живых.

Конечно, Кестлер говорит все это не прямым текстом. Он, возможно, даже не полностью отдает себе в этом отчет. Он пишет о мраке, о том мраке, который должен быть ярким солнечным светом. Временами ему кажется, что события могли бы обернуться по-другому. В его периферийном видении постоянно присутствует тень мысли о том, что все сложилось так плохо, потому что во всем виновна некая группа индивидуумов. В своем более позднем романе «Приезд и отъезд» Кестлер занимает еще более антиреволюционную позицию. Но между этими двумя романами был опубликован еще один – «Накипь». Это просто автобиография, но косвенно она перекликается с проблемами, поднятыми в романе «Мрак в полдень». Верный себе, Кестлер оказывается после начала войны во Франции. Иностранца и известного антифашиста Кестлера тут же арестовывают, и правительство Даладьё его интернирует. Первые девять месяцев войны он проводит в тюрьме, затем, после капитуляции Франции, бежит из тюрьмы и тайным и сложным маршрутом попадает в Англию, где его опять-таки бросают в тюрьму как иностранца и гражданина вражеской державы. Однако его все же вскоре выпускают. Книга представляет собой ценное описание событий и вместе с несколькими другими книгами, честно описывающим события военного времени, она позволяет заглянуть в недра, до которых опускается порой буржуазно-демократическое государство. Затем Франция вновь свободна и начинается погоня за ведьмами, то есть за коллаборантами, которых, по подсчетам некоторых очевидцев, в сороковом году во Франции было до сорока процентов населения.

Честные книги о войне всегда плохо приняты теми, кто в войне не участвовал. И книга Кестлера не имела успеха. Все персонажи выглядели в ней неприглядно: и буржуазные политики, которые хотели выиграть войну против фашизма, арестовывая всех подвернувшихся под руку левых, и французские коммунисты, которые активно проводили профашистскую политику и подрывали боеспособность Франции, и простой народ, который с одинаковым безразличием или усердием шел и за ответственными лидерами, и за жуликами вроде Дорио. Кестлер передает совершенно фантастические беседы, которые велись в концлагерях между ним и другими узниками. Он добавляет, что до тех пор он, подобно другим буржуазным социалистам или коммунистам, никогда не сталкивался с настоящими пролетариями, а встречал только представителей образованного меньшинства. И он приходит к печальному выводу: «Без образования масс не может быть социального прогресса; без социального прогресса не может быть образования масс». В романе «Накипь» Кестлер перестает идеализировать «простых людей». Он ушел от сталинизма, но не стал и троцкистом. Эта книга представляет собой действительно связующее звено с романом «Приезд и отъезд», где автор полностью и, возможно, навсегда отказывается от революционных идей.

Я не считаю роман «Приезд и отъезд» удовлетворительной книгой. Она почти не претендует на то, чтобы быть романом. По сути, это трактат, в котором утверждается, что революционные теории есть рационализация импульсов неврастеников. С чрезмерной симметрией книга начинается и кончается одинаково: прыжок, побег в другую страну.

Молодой человек, покинувший ряды коммунистической партии, бежит из Венгрии в Португалию. Там он старается поступить на службу к англичанам. Великобритания – единственная в то время страна, которая борется против фашистской Германии. Его энтузиазм несколько остывает, когда он сталкивается с тем фактом, что консульство Великобритании совсем в нем не заинтересовано. Несколько месяцев в консульстве его просто не хотят замечать. Тем временем деньги его кончаются, а более умные беженцы уезжают в Америку. Он подвергается соблазнам: Мира – в лице пропагандиста-нациста, Плоти – в лице молодой француженки и, после нервного срыва, Дьявола – в лице психоаналитика. Последнему удается

установить, что революционный энтузиазм героя романа зиждется не на том, что он верит в какую-то историческую неизбежность, а на болезненном комплексе вины, возникшем после того, как он в раннем детстве пытался ослепить своего младшего брата. Когда, наконец, возникает возможность присоединиться к союзникам, у него пропадает желание делать это.

Он уже готов отправиться в Америку, когда им вновь овладевают его иррациональные импульсы. На практике он не может выйти из борьбы. В конце книги он на парашюте спускается посреди ночного ландшафта в свою родную Венгрию, где должен действовать в качестве британского секретного агента. Для того, чтобы сделать заявление политического характера (а книга и написана с этой целью), в романе явно чего-то не хватает. Это верно, конечно, что во многих, а может быть, даже и во всех случаях революционная деятельность есть результат плохой приспособляемости индивидуума к обществу. Те, кто борется против общества, это, в основном, те, у кого есть все основания его ненавидеть. Нормальные, здоровые люди не более склонны к насилию и нарушению закона, чем к войне. Один молодой нацист в романе «Приезд и отъезд» замечает довольно прозорливо, что по уродливости женщин-участниц левых движений можно судить о несостоятельности самих движений. Но, в конечном счете, социализма этим не перечеркнешь. Определенные действия имеют определенные результаты независимо от мотивов. Глубинными мотивами Маркса, возможно, были зависть и злость, но этим не докажешь, что его выводы неправильны.

Заставив героя романа «Приезд и отъезд» принять последнее решение, исходя из инстинкта не избегать опасности и действия, Кестлер лишает его тем самым интеллекта. С его опытом Кестлер знает, что определенные вещи должны быть сделаны независимо от того, «хороши» или «плохи» стоящие за этим мотивы. История должна двигаться в определенном направлении, даже если при этом ее подталкивают неврастеники. Идолы Питера, главного героя романа «Приезд и отъезд», один за другим разбиваются и оказываются сделанными из глины. Русская революция дегенерирует, Британия, персонафицированная пожилым консулом с подагрическими пальцами рук, выглядит не лучше, международный пролетариат оказывается мифом. Но так как Кестлер и его герой стоят

за борьбу против нацизма, то он делает вывод: разбить гитлеровские полчища – хоть и грязная, но необходимая работа, и ее нужно проделать, каковы бы ни были остальные мотивы.

Чтобы принимать разумные политические решения, необходимо иметь перед собой картину будущего. В настоящее время у Кестлера, по-видимому, ее нет – точнее, таких картин у него две, и обе взаимоисключают друг друга. Как конечную цель он воображает себе Земной Рай, Страну Солнца, которую хотелось бы создать гладиаторам и которая воспламеняет воображение социалистов, анархистов и религиозных еретиков сотни лет. Но разум подсказывает ему, что Земной Рай все больше растворяется в дымке будущего, а перед нами, на самом деле, встают нищета, резня и тирания.

Недавно он назвал себя «пессимистом ближайшего будущего»: сейчас из-за горизонта дуют злые ветры, но в конечном счете все будет хорошо. Такая точка зрения находит все большее распространение в среде мыслящих людей. Она возникла как производное от весьма сложной ситуации: люди отвергли ортодоксальную религиозную идею о том, что жизнь на земле неизбежно будет чудовищной, но, с другой стороны, они пришли к выводу о том, что сделать земную жизнь сносной гораздо труднее, чем это казалось совсем недавно. Начиная с 1930 года развитие мировых событий не давало ни малейших оснований для оптимизма. Повсюду видны одни страдания, ложь, ненависть, невежество, и за теми проблемами, которые стоят непосредственно перед нами, возвышаются другие, несравненно большие, которые только лишь *начинают* доходить до сознания европейцев. Возможно, что основные проблемы человека никогда не будут решены. Но и думать так мы не имеем права! Кто осмелится взглянуть на сегодняшний мир и сказать: «Так будет всегда, даже через миллион лет будет несколько не лучше»? Поэтому в голову приходит почти мистическая вера в то, что хотя сегодня ничего исправить нельзя и любое политическое действие обречено на неудачу, но как-то, где-то во времени и пространстве человеческая жизнь перестанет быть столь чудовищно безобразной.

Прост выход из этой ситуации у человека, верующего в Бога, – для него эта жизнь есть просто подготовка к жизни вечной. Но теперь немногие верят в загробную жизнь, число тех, кто верит, зримо уменьшается. Скорее всего христианские церкви постепенно прекратили бы свое существование, если

бы была уничтожена их экономическая основа. Проблема в том, как возродить веру, принимая в то же время смерть за конечную точку бытия. Человечество может быть счастливо, только тогда, когда люди не считают, что цель жизни – счастье. Непохоже, чтоб Кестлер согласился с этим. В его книгах ясно слышатся гедонистические нотки. И результатом этого является неспособность найти политическую платформу, после того как он порвал со сталинизмом.

Русская революция, центральное событие в жизни Кестлера, начиналась с больших ожиданий. Мы уже забыли об этом, но четверть века назад все ожидали построения Утопии в России после революции. Теперь мы знаем, что произошло на самом деле. Кестлер слишком умён, чтоб этого не видеть, слишком чувствителен, чтобы забыть о начальной цели. Кроме того, будучи европейцем, он знает о массовых депортациях и чистках всё, и в этом его отличие от Бернарда Шоу или Ласки, которые знакомились с этими событиями, глядя на них через широкий раструб подзорной трубы. И вывод его таков:

Вот к чему приводят революции. С этим ничего поделать нельзя. Нам остается быть «пессимистами ближайшего будущего», то есть держаться подальше от политики, создать вокруг себя небольшой оазис, в котором с небольшой группой друзей мы могли бы сохранить рассудок и надеяться на то, что положение улучшится через сто лет.

В основе всего этого лежит гедонистическое отношение к жизни, которое заставляет его думать о Земном Рае. Но, хорош или плох Земной Рай, он вряд ли возможен. Видимо, страдание свойственно человеческой натуре. Видимо, человеку всегда придется выбирать между злом большим и злом меньшим. Вероятно, целью социализма является не сделать мир совершенным, а сделать его немного лучше. Все революции не удались, но не удались они по-разному. Нежелание признать это временно завело Кестлера в тупик, и роман «Приезд и отъезд» получился слабее, чем его более ранние книги.

1944

ОРВЕЛЛ Джордж (наст. имя Эрик Блейр) родился в 1903 году в Бенгалии, в семье мелкого колониального чиновника; вскоре семья

вернулась в Великобританию. В 1922 году закончил Итонский колледж и поступил на службу в британскую полицию в Бирме – пять лет, проведенных в Бирме, дали ему материал для его первого романа «Бирманская трагедия», вышедшего в 1934 году. Первая книга его – уже подписанная псевдонимом, под которым писатель позднее приобрел всемирную известность, – «В нищете в Париже и Лондоне» вышла в 1933 году и отражала подлинный опыт жизни писателя. В середине 30-х годов сближается с левацкой Интернациональной лейбористской партией, работает как журналист, пишет еще один роман и книгу-репортаж о жизни рабочих на севере Англии. Важнейшим событием в жизни писателя стало участие в испанской войне на стороне республиканцев. Вернувшись из Испании, он пишет книгу «Памяти Каталонии» и роман, в котором ошутимы мотивы будущего «1984». С начала Второй мировой войны Орвелл бурно занимается публицистикой и эссеистикой (в частности, резко выступает против британских пацифистов), в 1942-43 гг. работает на Би-Би-Си, с 1943 года постоянно печатается в лейбористском еженедельнике «Трибюн» и в «Обсервере». В 1944 году заканчивает «Скотский хутор», отвергнутый тремя издателями и вышедший лишь во второй половине 1945 года. В 1946 году вышел том «Избранных эссе», после чего Орвелл меньше занимается публицистикой и посвящает все свои силы роману «1984» (закончен в 1948, издан в 1949). 21 января 1950 года Джордж Орвелл умер в возрасте 47 лет. Русский читатель хорошо знает вышедшие за границей по-русски «1984», «Скотский хутор» и «Памяти Каталонии», но эссе Орвелла, составляющие важнейшую часть его наследия, лишь в последние годы стали появляться в русской периодике.

НОВАЯ КНИГА

А. НЕВИН

Факультет патологии

Роман

США, 1986. 318 с.

Полный удивительно точных деталей роман о московской студенческой жизни, о прекрасной и трагической первой любви, о первых столкновениях с государством в его разных проявлениях, – в общем, о том неизбежном и мучительном процессе, который называется взрослением...

Продается во всех магазинах русской книги США и Европы.

Цена \$ 12.

Литературный архив

Георгий И в а н о в

НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Публикация Кирилла Померанцева

В свой благополучный период (до Второй мировой войны), как и в трудный (очень трудный) послевоенный – Георгий Иванов жил Россией и только Россией: «Россия – счастье, Россия – свет... А может быть, России вовсе нет...» Он был исключительно чувствителен ко всему, что там происходит. Он приветствовал «взятие Берлина Русскими», надеясь, что это изменит режим. Но режим не изменился. Отсюда нижеследующее стихотворение:

Я за войну, за интервенцию,
Я за царя хоть мертвеца.
Российскую интеллигенцию
Я презираю до конца.

Мир управляется богами,
Не вшивым пролетариатом...
Сверкнет над русскими снегами
Богами расщепленный атом.

Георгий Иванов всегда говорил мне: «Хорошенькую атомную бомбу на Кремль, и все будет кончено». Атомная бомба на Кремль – все же меньше десятков миллионов жертв, заплаченных Россией за коммунизм. Так, наверно, считал Г. И.

Стихотворение нигде не было напечатано, и это понятно. Но оно сохранилось в моей памяти. Теперь оно достойное литературного архива.

К. П.

Почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам?

Ян Прохазка

*Плохие свойства человека как такового?
Плохие руководители? Плохие народы?
Плохая история? Может ли централизованное
в масштабах государства производство и
распределение сосуществовать с правами человека
и со свободным обращением информации в обществе?
И ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ?*

На эти вопросы отвечает книга

Доры Штурман

«НАШ НОВЫЙ МИР»

ТЕОРИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ. РЕЗУЛЬТАТ

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате с начала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность «подпольного» анализа.

Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги – 460 страниц. Цена – 15 долларов (в Израиле – 20 шекелей). Пересылка: в Израиле – 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой – 1,7 долл.; авиапочтой: в Европу – 2,5 долл., в США – 3,5 долл.

Книгу можно получить, отправив чек по адресу:

S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot,

Jerusalem 93802, Israel.

Tel. 02 - 721633.

Колонка редактора

ПРОХОДИТ ЛИ МИРСКАЯ СЛАВА?

Из речи прокурора Щербакова на процессе А. Морозова:

«Морозов считает, что статья «Око и слеза» – нестрашная, что первые три номера журнала «Синтаксис» не считаются органами КГБ Украины криминалом. Но это статья из четвертого номера, и нам ответили, что его в архиве КГБ нет. А почему не предположить, что начиная с 4-го номера журнал повернул свою линию?»

«Хроника текущих событий», выпуск 61

Передо мной две публикации, посвященные одной и той же теме, так называемому делу Владимова. Первая появилась в советской «Литературной газете» от 14.1.87 за подписью Б. Иванова – несомненный псевдоним некоего литературоведа в штатском. Вторая – на свободном Западе, в парижском журнале «Синтаксис» № 16, тоже где-то в середине января, подписанная другим литературоведом – некоей Глорией Мунди. Казалось бы, два взаимоисключающих издания, два взаимоисключающих автора, а стиль, качество аргументов, система доказательств вплоть до избирательного цитирования личных писем и частных разговоров абсолютно идентичны.

Впрочем, для «Синтаксиса» и некоторых его авторов это привычное, так сказать, дело. Многие критические мишени этого «плюралистического» журнала постоянно совпадают с мишенями советской пропаганды: Солженицын, «Континент», «Русская мысль», Максимов, Аксенов, Горбаневская и прочая, и прочая. Глория Мунди в своей статье лишь продолжает сию славную традицию. Уж, вроде бы, при чем здесь Александр Солженицын с его «Красным колесом»? В истории с Владимовым участия никакого не принимал, к теме разговора отношения не имеет, но ведь трудно удержаться такой проповеднице терпимости и плюрализма, как вышеозначенная Глория, от того, чтобы не воспользоваться подвернувшей-

ся возможностью лягнуть и его, эдак походя, не утруждая себя доказательствами: плохо, мол, пишет и всё, и все, как говорится, дела. В данном случае нам трудно не согласиться с автором, что «Наша эмиграция достигла той стадии одичания, при которой никакая, достойная этого имени, литература невозможна». Как говорили классики: умри, Глория, лучше не напишешь! Дай тебе Бог здоровья, Мунди! Что значит лично участвовать в рукопашных в кantine родной радиостанции! Тем более, что и книжонки патрона тоже весомая к тому иллюстрация.

А полюбуйтесь, как трогательно «совпадают» Б. Иванов в «Литгазете» и Глория Мунди в «Синтаксисе» в своей ревности к тем, от кого зависит большинство эмигрантских изданий. Только первый не утруждает себя иносказаниями, называет источники с большевистской прямоотой – «ЦРУ», а наша Глория, в лучших правилах родного ей издания, плюралистически жеманничает: «распорядители благотворительных фондов». Ох уж эта девичья стеснительность!

Не лишним полагаю процитировать и более убедительные совпадения.

Б. Иванов в «Литгазете»: «Теперь Владимов клянет НТС как «семейное предприятие» Романова – Артемова – Жданова, теперь он возмущается клановыми порядками, которые, по его словам, мешают „делу“. Вздор!»

Г. Мунди в «Синтаксисе»: «Пока что Владимов, как Пимен-летописец, усиленно строчит (чувствуете стилёк! – В. М.) многочисленные объяснения на объяснения, кто в НТС на ком женат и кто кому что сказал, причем художественные достоинства всего этого его будущего эпистолярного наследия меня лично как-то не впечатляют».

Вот видите и для Б. Иванова все это вздор и Г. Мунди все это «как-то» не впечатляет. Ах, девушки, девушки-привереды!

В связи со всем вышеизложенным, я позволю себе вернуть взволнованной Глории ее собственное утверждение из ее же статьи:

«Очень правильные слова: компромисс, культура, терпимость... Цены бы им не было, когда бы они не расходились столь вопиющим образом с эмигрантской действительностью». Так держать, Глория!

В связи с этим же я хотел бы процитировать здесь и строки из письма А. Синявского в «Континент», опубликованного нами в сорок девятом номере нашего журнала:

«...странно, с какой радостью некоторые эмигрантские деятели (и даже вчерашние диссиденты) в этой ситуации протянули „руку дружбы“ КГБ?»

В заключение также спешу успокоить прокурора Щербакова, помянутого мною в эпиграфе к этой «Колонке»:

– Почивайте с миром, прокурор Щербаков, журнал «Синтаксис», «начиная с 4-го номера», не повернул своей линии, а твердо следует прежней!

Так проходит мирская слава. Глория Мунди! Проходит ли?

Проходит. Но не всякая.

КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА К ВЫСТУПЛЕНИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Париж, «Континент», В. Е. Максимова

Дорогой Володя,

отвечаю на твою просьбу прокомментировать статью Б. Иванова «Отщепенцы начинают и проигрывают» в «Литгазете» от 14 января.

Опровергать всё это выступление «в жанре помоев» (рабочий термин самих отечественных редакций) нет смысла, да и времени; расчёт отчасти и на то делается, чтоб мы увязли и больше уже ничем не занимались. Укажу лишь на три главных лжи:

1. К «вполне благополучному, удачному началу» отнести «Три минуты молчания» можно было со сна либо с похмелья. Начинал я 23-х лет критическими статьями, роман написан в 37, но даже не в хронологии дело, а в том, чтоб заставить нас забыть, как отщепенцев упорно, трудолюбиво отщепляли, вынуждая уйти в Тамиздат. После кошачьего концерта чуть не во всей советской прессе, от столицы до дальних окраин, и

7-летнего неиздания книги можно считать писателя вполне созревшим для такого шага.

2. Меня не исключали из союза писателей, – для каких беспамятных это пишется? – я сам из него вышел, исключил его из своей жизни. Эта «ошибка» наводит на подозрение, что автор не чистый гебист (которому это безразлично), а некто из руководства союза, для кого самовольный выход есть пошатновение основ, нарушение нормальной карательной политики. А впрочем, граница меж двумя этими ведомствами, как известно, размыта.

3. Только по советским понятиям упираться несколько лет и уступить перед выбором – Запад или Восток – означает «выезжать триумфатором». И то, был бы мне определённый Восток, т. е. Пермь или Мордовия, если бы не заступничество Генриха Бёлля, Льва Копелева, Беллы Ахмадулиной, политических деятелей ФРГ.

Ещё одну ложь – о группе отказавшихся подписать письмо «Серые начинают и выигрывают» – предоставлю опровергнуть тем шутникам и затейникам, кто такой список составлял. Их старания не пропали даром. А юмора всё же не достало ни шутникам-затейникам – приплюсовать к «неподписанцам» ещё 5 миллиардов живущих на нашей планете, ни автору статьи – расслышать в её заглавии горделивое признание: «Да, мы серые, зато не проигрываем». Подтверждение сформулированного мною «закона» могу лишь приветствовать.

Что же до моей давнишней переписки с А. Н. Артёмовой, признаем, что наша мораль со времён Пушкина круто усовершенствовалась, ежели основанная им писательская газета находит возможным пригласить читателя к мерзейшему занятию – чтению чужих писем, изъятых при обыске. Тут опровергать нечего, джинсы и кожаные пальто имел наглость заказывать – на свои гонорары; требует объяснения только то, что касается тебя.

Раскрою источник – это Феликс Кузнецов, вождь московского писателиата, с женой Людмилой, многолетней доверенной сотрудницей В. Н. Ильина, генерала ГБ в должности оргсекретаря той же творческой организации. Надо полагать, в те годы Феликс Феодосьевич уже инспектировал свои будущие владения, прибирая к рукам с жениной помощью и тайно от старика Ильина его бесценный архив, с подробнейшими досье

на писателей. Именно намекая на этот архив и на твои беседы с Ильиным (разумеется, записанные на плёнку, всё в его кабинете записывалось), супруги мне выложили версию твоего осуждения за убийство, о котором старик будто бы знал, но решил прикрыть: сначала – «чтоб не портить парню карьеру», а после твоего выезда – для удобства дистанционного управления. К месту были живые подробности, вроде пистолета, который ты, страшись чьей-то мести, всегда держал наготове. Версия о «человеке Ильина» или «человеке Мазурова», запущенном на Запад «для разложения эмиграции», у которого залогом в России осталось сокровище тёмное прошлое, похаживала среди писательской братии, я её слышал от разных людей, которых нет нужды называть, поскольку они, как я теперь понимаю, припадали устами к тому же источнику – чете Кузнецовых.

Источник – мутный, но надо учесть, что это был ещё не тот Кузнецов, который клеймил «Метрополь» и польскую «Солидарность» и разрабатывал концепцию ненадёжности русских писателей с еврейской примесью, это был Кузнецов образца 1975 года, ещё не у власти и как будто всерьёз озабоченный «утечкой талантов», неутомимый ходатай в ЦК по делам «трудных художников». Андрею Тарковскому он вроде бы устроил прокат «Зеркала» и сосватал постановку «Гамлета» в театре у Марка Захарова, мне – пробил издание «Трёх минут» и склонил к диалогу в «Литгазете», где я мог высказать кое-какие наши обиды. Отдать ему должное, он не отпрыгнул, когда в «Гранях» вдруг выскочил «Руслан», даже ещё укрепился в намерении хотя б одного-двух из нашего гонимого поколения «вернуть в советскую литературу», отвадить от мысли эмигрировать. А меня отваживать и не нужно было, к уходу в эмиграцию я относился, как к дезертирству с бедствующего судна, когда не исчерпаны все попытки остаться на плаву; рассорить же с тобою, чтоб я чего не послал в «Континент», тоже не составляло труда – мы были в разладе, обменялись запальчивыми письмами, расстались, не прощаясь.

Версия приходится кстати, когда и «сам обманываться рад», а возникающий вопрос – может ли имярек убить, снимается и моим небольшим юридическим опытом, и мировой литературой, которая преимущественно и занимается людьми, по природе неспособными к убийству, однако совершающими его. Что говорить, в нашем военном детстве обстоя-

тельств для этого складывалось достаточно. Всё, однако, разъяснилось, когда я прочёл «Прощание из ниоткуда», о писателе вернее всего свидетельствуют его книги.

Как видишь, я был введён в заблуждение намеренной дезинформацией, в закрытом же обществе она имеет силу почти мистическую. Павел Нилин, раскрывший нам в «Жестокости» механику социальной лжи, и сам человек дотошный, работавший следователем в угрозыске, поверил же Вадиму Кожевникову, что Солженицын был в плену и служил у немцев. Клеветам о Валерии Чалидзе поверил и А. Д. Сахаров, профессией учёного обязанный опираться на факты. Мало утешительного в том, что «не я первый, не я последний», но если уже поверил, то не должен ли был предостеречь тех людей, с которыми был связан отношениями подпольного автора? Такая связь дорого обходится в России, и можно понять моё желание, чтоб эти люди тебе ничего не сообщали обо мне.

Глубоко сожалею об этих годах вражды и недоверия и прошу принять мои извинения.

Впрочем, то, что я теперь предаю бумаге, было уже нами выяснено, и расчёт «Литературки» сравнить две «конкурирующие творческие индивидуальности» не оправдался – хотя не скажу, что опрометчивый расчёт, он в логике того уродливого мира, где нам довелось родиться, жить и печататься. Новым лишь то оказалось, что «компроматериал» всплывает не в «Посеве» или «Встречах», как мы ожидали в июле-августе. Иной раз те самые люди, которых предостерегаешь, непрочь бывают использовать это против тебя же. Едва начались у меня с ними трения, как мою память не преминули освежить намёками, устно и письменно. Отнести ли к явлениям сверхчувственного восприятия или к случайному расположению небесных светил, что эти глухие угрозы осуществляются теперь «за бугром»?

И чем объясним другое: я совершил массу предосудительного – выступал в защиту Синявского и Даниэля, Солженицына, Сахарова, Орлова, Щаранского, Гинзбурга, альманаха «Метрополь» и журнала «Поиски», выходил из союза писателей и возглавлял Московскую группу «Амнистии», осуждал оккупацию Афганистана, наконец по выезде два с половиной года редактировал мерзкие «Грани» – всё это время советская

печать безмолвствовала. Когда же её терпение лопнуло? Когда я выступил против НТС...

Перед этим феноменом остановимся и разведём руками.

24 января 1987 г.

Твой *Г. Владимов*

Нидернхаузен, Зап. Германия

ОТ РЕДАКЦИИ: В последнее время (видимо, в связи с кампанией горбачевской «гласности») участились нападки советской печати на наш журнал и его редактора. В этом не было бы ничего удивительного, если бы к ней дружным хором не присоединились некоторые эмигрантские издания, редактируемые различного рода отставными дантистами, бездарными живописцами и бывшими гитлеровскими коллаборантами. Полемицировать с этой малопочтенной публикой мы, разумеется, не собираемся (слишком много для них чести!), но вот их вдохновителям, как на Лубянке, так и на Западе спокойной жизни не обещаем.

Вышел из печати новый номер бюллетеня инициативного комитета Ассоциации «НОВАЯ РОССИЯ» (эта ассоциация ставит целью создание русскоязычной политической автономии).

Основное место в бюллетене занимают письма, в которых зарубежная русская общественность дает различную оценку движению за «Новую Россию». В их числе – мнения ряда видных представителей русской эмиграции.

Желающих получить бюллетень просим обращаться по адресу: Lavrov Publishing Nouse, P.O.Box 431, Bay Station, Brooklyn, N.Y. 11235. USA.

ЧЕЛОВЕК, И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО...

У меня с Анатолием Марченко позади лишь считанные встречи, но и этих немногочисленных встреч для меня достаточно, чтобы определить к нему свое отношение раз и навсегда. Редко в своей жизни я встречал более цельного и негибаемого человека, чем он. Иные склонны были рассматривать это в нем как обыкновенное упрямство, я же считаю его неизменную твердость – страстной целеустремленностью.

В последний раз я встречался с ним на крестинах его сына Павла, где мне выдалось быть крестным отцом. В те дни он перестраивал купленный им по случаю дом в Тарусе. Правда, домом эту полуразвалину, которую он вознамерился превратить в сносное жилище, можно было назвать с большой натяжкой. Но, наблюдая за тем, с какой самоотдачей и упорством Анатолий этим занимался, я невольно проникался уверенностью, что в конце концов у него получится. И великолепный дом.

Я не знаю среди инакомыслящих России, тем более писателей, человека, которому пришлось столько в своей жизни вынести. Власти преследовали его с каким-то, я бы сказал, особенным садизмом: видно, одна мысль о том, что инвалид, который по его одному только социальному положению был обречен на пожизненную немоту, заговорил с ними в полный голос, и голос этот был услышан во всем мире, бесила их. Еще больше их, наверное, бесил его неизменный отказ выехать из страны по израильской визе, на что спокойно пошли многие из тех, кому не угрожало и десятой доли той опасности, которая подстерегала Анатолия на каждом шагу. Нет, не могло его природное естество даже в этом поступиться собственным достоинством, пойдя на этот, невинный, на первый взгляд, компромисс с прагматической ложью.

Такое предложение было сделано ему вместе с семьей и за несколько дней перед его смертью. Не берусь предугадывать, каким бы оказалось его решение на этот раз. Но трагическая смерть Анатолия Марченко сама по себе уже дала на это ответ.

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Париж

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

8 декабря, в канун Дня прав человека, в Чистопольской тюрьме погиб писатель Анатолий Марченко — больной, истощенный 4-месячной голодовкой, не дожив и до 49 лет.

Анатолий Марченко был одним из самых мужественных людей и последовательных правозащитников, он один из тех немногих в мире, кто не сказал за всю свою жизнь ни слова лжи или полуправды. Один из тех, кого можно убить, но нельзя сломать, согнуть, заставить идти на поводу у двоемыслия и компромисса.

О голодовке, главной причиной которой было требование амнистии для всех политзаключенных, хорошо знали все: и в МВД, и в КГБ, и в ЦК КПСС. И это они, «высокое начальство», в первую очередь ответственны за смерть Анатолия Марченко.

Эта трагическая кончина особенно тяжела сегодня, когда усиленно говорят о демократизации советского общества и когда всех усиленно уверяют в скором наступлении социальной справедливости. Но до тех пор, пока газетные призывы к гражданственности и телевизионные шоу будут «подкрепляться» политическими процессами, пока борьба за мир будет сопровождаться актами насилия над инакомыслящими, — нет и не может быть надежды на социальный прогресс.

Марченко умер. Вернуть его к жизни руководство страны не в силах, но в знак своего искреннего стремления к прогрессивным реформам оно должно и принять срочные меры к сохранению жизни погибающих сейчас в тюрьмах и лагерях (в первую очередь от голодовки), спасти от смерти Мустафу Джемилева, который с 30 ноября начал бессрочную голодовку, Сергея Григорьянца, Анатолия Корягина, Сергея Ходоровича.

Мы требуем объявить всеобщую амнистию для политзаключенных в СССР. Мы требуем от советского правительства немедленного изъятия из Уголовного кодекса РСФСР статей 70, 72, 190^{1, 2, 3}, 188³ (недавно введенную и продлевающую срок за малейшее нарушение внутрилагерного режима), ст. 227, и их аналогов в других союзных республиках, — статей, преследующих людей за инициативное мышление, без которого все призывы руководства к реформам внутри страны остаются идеологическим демаршем. Необходимо смягчение пенитенциарной системы, что явилось бы лучшим проявлением гуманизма.

Люди доброй воли, мы призываем вас присоединиться к этому воззванию.

Пинхас Подрабинек, Ольга Корзинина, Юрий Киселев, Татьяна Трусова, Ася Лацивер, Татьяна Ходорович, Владимир Рябоконе, Татьяна Плетнева, Федор Финкель, Лия Финкель, Светлана Маятникова, Нина Лисовская, Мальва Ланда, В. Игрунов, Николай Храмов, Алексей Зверев, Александр Рубченко, Виктор Гринев, Марина Гудава, Светлана Балашова, Мария Бондоровер, Э. Матлина, О. Святославская, Б. Марголина, А. Алтунян, Иван Рудаков, Галина Михалина, Евгения Печуро, Злобина, Нина Литвинова, Васильев, Пекунова, Петр Старчик, Софья Капистратова, Кирилл Подрабинек, Нина Коваленко, Ксения Коваленко, Владимир Глезер, Зинаида Глезер, Андрей Кривов, Ирина Кривова, Евнина, А. Мельфельд, Наталья Акуленок, Кипоть, Кристи, Сверячковский, Сергей Губин, Тамара Григорьянц, Александр Подрабинек, Алла Подрабинек, Борис Бегун, Ирина Нагле.

Москва

14 декабря 1986

**«ПРЕДЛАГАЮ ЕЖЕГОДНО 10 ДЕКАБРЯ
В ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПУБЛИКОВАТЬ СПИСОК ЛИЦ,
ПОГИБШИХ В ЛАГЕРЯХ И ТЮРЬМАХ...»**

Заявление для печати

Сегодня, 10 декабря 1986 г., нас потрясла страшная весть – еще одна кровавая страница в истории богоборческой власти: тюремными палачами убит Анатолий Тихонович Марченко.

Это неправда, что он «скончался» в тюремной больнице от кровоизлияния в мозг», так как мы забываем, что этой «больнице» предшествовали карцеры и пытки голодом, избивание до инвалидного состояния и убийство тюремным режимом, условия которого даже физически здорового человека делают инвалидом.

Зачем же лицемерить, зачем говорить «скончался», когда всякому порядочному человеку яснее ясного то, что советская карательная система уложила в русскую землю не один десяток миллионов трупов замученных и убитых граждан. Если бы опубликовать статистику погибших в советских концлагерях только за 1986 год, то любая ЮАР выглядела бы в этом вопросе самым правовым государством по отношению личных свобод своих граждан.

Существует какая-то роковая взаимосвязь с тем, что чем громче говорят о правах человека, тем больше погибает правопоборников в советских тюрьмах и концлагерях. Только за последние 2 – 3 года мы узнаем все о новых и новых жертвах ГУЛага, жертвах, имена которых известны всему миру. Пока с высоких трибун говорятся пламенные речи о соблюдении прав человека, в Советском Союзе все ужесточается и ужесточается режим содержания под стражей граждан, все расширяются и расширяются права карательно-истребительных органов. Я не знаю случая, чтобы советские чиновники открыто и честно признались в убийстве заключенного путем пыточного режима содержания под стражей. Мировой общественности всегда заявляется, что Василь Стус, дескать, скончался в тюремной больнице от... (придумывается диагноз), Анатолий Марченко – конечно же, от кровоизлияния в мозг и т. д.; при этом умалчивается, что кровоизлиянию предшествовало избивание Анатолия Марченко свирепыми надзирателями, которые, связав Марченко руки наручниками (эти наручники сами по себе причиняют невыносимую боль человеку), били беззащитную жертву головой о цементный пол, в результате чего произошло сотрясение мозга и хроническая головная боль, приведшие А. Марченко к смерти через ужесточение режима его содержания.

Я предлагаю ежегодно ДЕСЯТОГО ДЕКАБРЯ, В ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, публиковать в печати список лиц, погибших в концлагерях и тюрьмах тех стран, в которых всего яростнее попираются права граждан. И список этот начинать с имени Анатолия Тихоновича Марченко, убитого двадцатилетними страданиями за право быть человеком в бесчеловечном обществе.

ЕВГЕНИЙ ПАШНИН
*бывший политзаключенный,
отбывший в советском ГУЛаге
более 20 лет.*

10 декабря 1986.

601601, Владимирская область,
г. Струнино, ул. Труда, д. 5.

Наша почта

6 января 1987 г. Москва

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

Прежде всего поздравляю Вас с наступившим Новым Годом и с уже сейчас в Москве наступившим Св. Праздником Рождества Христова. Я только что вернулся из Собора Богородицы Всех Скорбящих Радости, наверное, Вы помните этот храм вблизи Третьяковки. Было очень много народа, и что особенно радует – много молодежи. Причем если раньше молодежь ходила больше из любопытства, чем из настоящего чувства и желания помолиться, порадоваться с прихожанами Праздникам Церкви, то за последние год-два положение коренным образом переменялось: подавляющее большинство молодых истово молится, знает молитвы наизусть, подпевает хору и даже как-то старается идти не вслед хору и причту, а обгонять и тех и других хоть на полслова.

Вообще много сейчас неожиданно нового и ободряющего вокруг и везде. В газетах можно прочесть такое, за что еще года три тому назад навешивали бы срока. Для меня лично совершенно особым событием стало возвращение в Москву Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны из горьковской ссылки. Сообщения об этом разнеслись по Москве в четверг 18 декабря, а еще в среду днем я виделся с нашим замечательным пианистом Володей Фельцманом и мы обмозговывали план такого рода: 15, 16 и 17 января Володя должен был гастролировать в Горьком. Зная, что я родом из Горького и что я готов был помочь ему, он вознамерился пригласить каким угодно путем А. Д. и Е. Г. на концерт. Мы отключили телефон и, переговариваясь намеками, а не полными фразами, разработали такой план: я ночью пешком дойду до дома А. Д. и, пользуясь тем, что их поселили на первом этаже, постараюсь приклеить на стекло снаружи маленькую записку с приглашением прийти на концерт. Поскольку сам Володя Фельцман не знал их в лицо, я дам ему знать следующим образом: приготовлю букет, после первой же пьесы выйду к сцене и вручу его, вложив в цветы, как это водится, свою визитную карточку, на которой будут написаны две цифры, указывающие на ряд и

места, занимаемые А. Д. и Е. Г. Володя примет цветы, достанет карточку, прочтет ее, затем спустится со сцены и вручит цветы Елене Георгиевне. Довольные своей выдумкой, мы разошлись, вечером того же дня Володя укатил куда-то на другой концерт, кажется – в Томск, а утром я узнал, что все наши приготовления больше не нужны. В пятницу уже совершенно точно, в том числе и из разговора с Сахаровыми, стало ясно, что они получили разрешение.

Во вторник 23-го я встал в пять утра, чтобы собраться и ехать на Ярославский вокзал встречать А. Д. и Е. Г., приехавших скорым поездом № 37. Поезд приходил в 7 утра, это был тот день в году, когда впервые ночь больше не удлинялась, а начинала укорачиваться (что-то символическое было и в этом совпадении – неужели НОЧЬ КОНЧАЕТСЯ?), но, когда я приехал на вокзал, была глухая темень и довольно холодно. Поезд подавали на самый дальний перрон, не так давно специально выстроенный для приема сверхдлинных составов (на 30 вагонов). Его соорудили сзади пакгаузов, поэтому нужно было пройти мимо всех платформ, подняться по лестнице, затем обогнуть здание какого-то могучего склада. До прихода поезда оставалось минут 15, но уже вся платформа была усыпана нерусскими людьми с фото-, кино- и телеаппаратурой. Люди переговаривались между собой на самых разных языках, тут была слышна и английская, и немецкая, и французская, и японская речь, иноземцев было так много, что русских людей практически не замечалось. Явно было, что совсем отсутствовали сотрудники славного ЧеКа. Корры переминались с ноги на ногу, а кое-кто бегал от одной кучки к другой, спрашивая, не знает ли кто, в каком вагоне едет Сахаров.

Наконец, поезд подошел, и здесь вдруг стало светло, как днем: было зажжено множество осветителей, телевизионные репортеры готовили аппаратуру. Андрей Дмитриевич вышел из вагона, щурясь от этих ярких огней, его тут же окружила толпа близстоящих корреспондентов, кольцо людей сомкнулось вокруг него, с обеих сторон бежали десятки людей с расчехленными фото и киноаппаратами, с микрофонами самой разной формы – от мини до макси. Я никогда в жизни не видел такого скопления представителей иностранной прессы в одном месте, да и вряд ли вообще страна Советов когда-либо видела такое. Стоило Сахарову встать на московскую землю,

как самая настоящая пресс-конференция началась. Наверное, Вы уже знаете про все вопросы и все ответы Андрея Дмитриевича, так что вряд ли стоит об этом рассказывать. Может быть, есть смысл сказать лишь о внешней стороне дела. Сахаров говорил тихим голосом, очень спокойно, очень гладко. Он был терпелив и приветлив. Каждый вопрос, доходивший до его слуха (а было не то чтобы очень шумно, но как-то возвышенно волнующе, ведь многие из корреспондентов были нетерпеливы и старались раньше других задать свои вопросы, поэтому голоса накладывались друг на друга, создавая особую звуковую среду), тут же получал с его стороны ответ.

Невдалеке от Андрея Дмитриевича стоял Борис Альтшуллер, державший в руках сразу несколько сумок из сахаровского багажа и, кажется, чемодан. Я взял у него одну из сумок, чтобы разгрузить его хоть частично. Обстановка была столь необычной, буквально пасторальной. Еще день назад мы переговаривались по телефону о скором приезде Сахарова в Москву, но в глубине души еще оставалось многое из того прежнего стиля, когда не все говорится вслух (особенно по подслушиваемым телефонам), когда не очень-то верится, что могут быть перемены к лучшему. И вдруг в центре Москвы, высвеченный лучами блицев и телекамер, стоит Андрей Дмитриевич, облепленный несколькими сотнями корреспондентов, и спокойно говорит о необходимости демократизации страны, о потребности в скорейшем выводе войск из Афганистана, об узниках совести – лучших людях этой земли, которых нужно срочно освободить и дать им возможность помогать строить лучшую жизнь в стране.

Здесь, пожалуй, есть смысл остановиться и сделать небольшое отступление, чтобы рассказать о русских людях, оказавшихся в это время на перроне и наблюдавших за всем происходящим. Было, пожалуй, три главных категории таких людей: настроенные злобно; относящиеся равнодушно и потому трусливо; и – восторженно. Я не видел лиц из КГБ (во всяком случае, примелькавшихся нам физиономий чинов из отдела, занимающегося диссидентами и отказниками, я не заметил). Но, когда я подходил к перрону, вровень со мной шел взвод солдат, предводительствуемый офицериком. Взвод остановился в начале платформы, я еще оглядывался, разыскивая кого-нибудь из знакомых, и в этот момент услышал, как один из солдат, явно желая выслужиться перед начальником,

помыслил вслух: «Дали бы нам разрешение, мы бы всех этих антисоветчиков мигом разогнали». Но затем взвод испарился, и ни один из солдатиков даже не был виден в толпе. О реакции простых советских людей мне рассказал один из моих знакомых, оказавшихся сзади толпы, запрудившей перрон. Дело в том, что состав был очень длинным (около 30 вагонов), Сахаровы ехали в средней части поезда, и как только Андрей Дмитриевич оказался на перроне, толпа журналистов перегородила весь проход, так что все люди из дальних вагонов состава оказались заблокированными. А кругом сверкают блицы, такое впечатление, что всех фотографируют, и вот тогда один из толпы горьковчан, приехавших с этим поездом и притертый задними непосредственно к куче корреспондентов, сказал своему спутнику: «Слушай, вот так мы влипли. Тут всех фотографируют, еще подумают потом, что мы участвуем в демонстрации в защиту Сахарова». Наконец, был я свидетелем и такого случая. Какой-то железнодорожный начальник (со звездами на рукаве) восторженно проговорил сопровождавшей его простой женщине в темной железнодорожной форме: «В жизни этого дня не забуду. Внукам буду рассказывать. Это надо же, самого Сахарова встречал!»

Журналисты непрерывно задавали вопросы, проводники из вагонов кричали, чтобы люди отошли от стенок вагонов, так как поезд должны перевести на запасные пути, но все эти крики ни на кого не действовали. Кто-то из корров несколько раз прокричал: «Андрей Дмитриевич! Давайте пресс-конференцию прямо здесь»; другой – маленький и юркий человек с темными глазами – несколько раз истошно вопил, протискивая над головами впереди стоящих коллег огромную трубу-микрофон в мохнатом чехле: «Андрей Ди-и-митри-и-евич! А что вы думайти-и про Афганистан?» Голос звучал так пронзительно, что вопрос тут же доходил до ушей Сахарова, и он, повернувшись на крик, начинал говорить об Афганистане то, что он уже раньше сказал: что это самый больной вопрос, что проблема Афганистана должна решаться мирным путем, что ее решение целиком должно зависеть от воли афганского народа, что советские войска должны быть выведены из этой страны. Но задававший вопрос корреспондент не слышал ответа и не мог, из-за низкого роста, увидеть, как Сахаров поворачивается к нему боком и отвечает на его вопрос, и

потому через мгновение над толпой снова проносился его истошный крик: «Андрей Ди-и-митри-и-ивич! А что вы думаете-ии-и про Афганистан», и Андрей Дмитриевич без всякой тени неудовольствия опять поворачивался и снова столь же мягко по форме, не сокращая слов, высказывался об этой проблеме.

Со времени начала этой импровизированной пресс-конференции прошло уже, наверное, минут двадцать, а толпа если и сдвинулась с места, то не более чем метров на двадцать. Вопросы не уменьшались, Сахаров все так же терпеливо и обстоятельно отвечал. С одной стороны его поддерживал под руку Б. Биргер, а с другой наваливались корры. Я протиснулся, взял Андрея Дмитриевича под руку, в правой у меня была большая сумка из сахаровского багажа, я пытался отгородиться сумкой от напиравших корреспондентов, и еще около получаса мы шли рядом с Андреем Дмитриевичем. Вот тогда-то я и понял, как, наверное, тяжела физически была эта дорога для него, отвыкшего от людей, от свободных разговоров и пр. и пр. Со спины напирали так, что приходилось идти, отклонившись спиной назад. Из-за головы, с боков и спереди торчали самые разнообразные микрофоны – зажатые в руке, укрепленные на каких-то штангах, – многие старались просунуть между телами свои диктофоны – и вся эта масса сопротивлялась движению. Была, конечно, приподнятая, ликующая атмосфера радостной встречи, и я понимал, что отнюдь не праздное любопытство согнало сюда две сотни занятых людей, представляющих все ведущие информационные агентства мира. У большинства на лицах не исчезали улыбки. «Сахаров вернулся!!!» Могло ли быть что-то более радостное на всей земле в этот день. Но, вместе с тем, это было очень тяжелым, утомительным делом для немолодого и далеко не здорового человека. И все-таки он ни разу не попросил остановить вопросы, дать ему передохнуть... Он мужественно и терпеливо отвечал и по поводу его жизни взаперти в Горьком, и по поводу новых реформ в стране, и о томлящихся в застенках сподвижниках по борьбе за права человека и демократию, и о новых правилах выезда из страны... Я шел рядом и слышал все его ответы и не мог не поразиться мужеству и мудрости этого человека, оставшегося таким же, каким он был раньше. Мне стало ясно, что ссылка в Горький нисколько не сломила Сахарова. Это был проигрыш тех, кто думал, что репрессиями

можно заставить замолчать такого человека как Нобелевский лауреат мира Андрей Сахаров...

Когда толпа, наконец, достигла лесенки, выходящей на площадь перед вокзалом, Сахарова наконец-то смогли увидеть многие русские. Молва о том, что САХАРОВ ПРИЕХАЛ, успела, конечно, разнестись. Снизу с площади было хорошо видно, как на ступенях появился освещенный светом ламп человек, имя которого было известно всем в стране. Аплодисментов и приветственных криков не было. Но в толпе с почтением многие говорили: «Смотрите – академик Сахаров».

Вся дорога от вагона до машины (расстояние метров пятьсот) потребовала 44 минуты. Когда вместе с одним из приятелей, также встречавших Андрея Дмитриевича и Елену Георгиевну, мы решили зайти куда-нибудь выпить кофе, я обнаружил, что правая рука, в которой я держал сумку и которой пытался отстранять подальше от Андрея Дмитриевича напирающих корреспондентов, так устала, что я даже не мог удерживать в пальцах чашку кофе.

Вечером в восемь мы еще раз увиделись уже на квартире Сахарова и Боннер. Было человек десять, все уселись на кухне. Елена Георгиевна сидела с ногами на диване, прислонившись в уголке к стене, Андрей Дмитриевич незадолго до этого вернулся из института (Физического института АН СССР имени Лебедева), где он побывал на семинаре. Ему разогрели гороховый суп, и он с удовольствием стал его есть. Потом мы расспрашивали о деталях жизни в Горьком, о разговоре с Горбачевым и Марчуком, о планах на будущее. Андрей Дмитриевич много улыбался. Он рассказал, какой теплой была встреча в ФИАНе, где его, как он выразился, многие радостно расцеловали. Даже незнакомые ему люди.

Я, пожалуй, чересчур широко растекся в своих воспоминаниях. Но ведь и на самом деле это было событие исторического масштаба, а в подобных случаях мелкие детали, которые сами по себе совершенно незначительны, приобретают особое значение. Может быть, Вам они будут интересны.

Из других новостей: по Москве бродят слухи, что вот-вот вернется Любимов (есть люди, которые с упорством повторяют: он уже вернулся, но живет на даче!), много разговоров о том, как скоро все, что ни захочешь, будут публиковать. Но,

не иначе как на всякий случай, – редакция «Науки и жизни» сняла из уже набранного номера «Роковые яйца», официальное объяснение таково: год 70-летия советской власти, а тираж «Науки и жизни» слишком велик, чтобы бездумно... Тем не менее я уверен, что «Континент» все равно будет самым интересным из русских журналов.

Еще раз поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством,
Искренне Ваш

В. Сойфер

Владимир Емельянович!

Посылаю Вам копию моих ответов на вопросы корреспондента телекомпании Си-Эн-Эн Питера Арнетта, заданные мне в новогоднюю ночь. С вопросами было все просто, а с ответами произошла заминка. Мы договорились, что я прослушаю выступление М. Горбачева в 23.55 31 декабря, а затем сразу выступление Р. Рейгана по «Голосу Америки» в 0 часов 1 января и прокомментирую оба выступления. Я все сделал, как договорились, но в ноль часов мой телефон оказался поврежденным каким-то злоумышленником. Он молчал. Пришлось мне идти в новогоднюю ночь на улицу и диктовать на морозе с уличного таксофона мое заявление. В два часа ночи телефон дома снова заработал. (Вспоминаю, что более года назад, когда во время приезда сына Р. Рейгана, тоже Рональда, но младшего, мы договорились с ним, что он придет ко мне в гости, позвонив предварительно по телефону в 9 утра, телефон тоже замолчал без пятнадцати девять... и молчал полгода. Дирекция телефонной станции объяснила, что ей было приказано отключить телефон за то, что его использовал не по назначению. Клянусь, я не колол орехи трубкой, не использовал аппарат как пресс-папье и не имел в мыслях намерения использовать вертящийся диск для изобретения перпетуум-мобиле.) Вы можете опубликовать эти ответы, если захотите. Так же, впрочем, как любые отрывки из моих писем лично Вам. У меня ни от кого нет секретов.

21 января 1987

В. Сойфер

ОТВЕТЫ В. Н. СОЙФЕРА НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА
ПИТЕРА АРНЕТТА (начальника бюро компании Си-Эн-Эн)
в Москве 1 января 1987 года

Конец года был ознаменован освобождением академика Андрея Дмитриевича Сахарова и его жены после 7-летней депортации в Горький. Вместе с другими событиями, такими, как предоставление права на эмиграцию Анатолию Шаранскому, с высылкой из страны узника совести выдающегося ученого и борца за права человека Юрия Федоровича Орлова, с освобождением Мустафы Джемилева, Ирины Ратушинской, равно как с предоставлением права на эмиграцию дочери Сталина Светлане Аллилуевой, эти решения были позитивными, они продемонстрировали, что советский лидер хочет принести в мир безопасность и укрепить взаимное доверие. Сегодня Горбачев снова повторил, что советский народ и его правительство стремятся к дружбе с народами мира и с американским народом.

Горбачев сказал, что в СССР будут бороться за гласность. Это хорошая идея. И что особенно замечательно – это то, что сам термин «гласность» был введен в широкий обиход в наши дни академиком Сахаровым и его друзьями, борющимися за демократизацию общества.

Но мы хорошо знаем, что тысячи тех, кто боролся за демократию в СССР, были арестованы. Мы празднуем Новый год, собравшись за празднично накрытыми столами. А в это время узники совести, люди, относящиеся к лучшей части общества, чьи имена будут с уважением произносить наши потомки, находятся сейчас в жутких условиях. Наш долг – сделать все возможное для их освобождения.

Рейган говорил только что о влиянии русской литературы и о великом вкладе русских писателей в мировую культуру. В этой связи уместно вспомнить, что писатель Федор Достоевский был приговорен за политические высказывания в 1849 году к смертной казни. Царь заменил этот приговор четырьмя годами каторжных работ. Позже Достоевский написал книги, известные сейчас во всем мире. Позволительно задать вопрос, какие книги мог бы написать Анатолий Марченко, недавно убитый в тюрьме? Каким мог бы быть вклад других политических заключенных в мировую культуру?

Я считаю, что М. Горбачев должен серьезно задуматься над этой проблемой.

Другая проблема – это проблема эмиграции из СССР. Любой человек, желающий покинуть эту страну, должен иметь возможность получить выездную визу.

СССР должен стать открытой страной. Это принесет к ней глубокое уважение всех мыслящих людей в мире.

Я был рад слышать, что как Р. Рейган, так и М. Горбачев заявили, что они хотят продолжить диалог в наступившем году. Любой разумный человек понимает, насколько важны такие встречи, как ценен для мира результативный диалог руководителей двух стран.

Нельзя не согласиться с господином Рейганом и в том, что программа обмена специалистами, право на эмиграцию, право на самовыражение равно важны для любого человека. Это совершенно правильно.

Пользуясь случаем, я хочу выразить мое глубокое уважение к американскому народу и пожелать всем людям на земле больших успехов в Новом Году.

Многоуважаемый Владимир Емельянович!

Меньше всего я хотел бы брать под защиту покойного Л. Р. Шейнина и малоизвестного Вайнштока. Защищать же всякую «Лубянку», безусловно, последнее дело, но и обратное явление, когда «органы» обвиняют во всякой чепухе, вроде физического преследования на территории Штатов «писателя» Самарина и осады его дома, ничего, кроме вреда, не приносит. По разным причинам (частично и в этой связи) в зарубежной прессе в недавнее время печатались материалы об Илье Эренбурге и Анатолии Максимовиче Гольдберге. (Крупная газета опубликовала статью одной дамы, где об Эренбурге говорилось на уровне беседы в очереди в парикмахерской на Пушкинской улице.) Особенность нашего времени состоит в том, что экскурсии в биографию писателей всегда выходят далеко за рамки оценки отдельных личностей, чаще всего мы имеем дело с проблемами «примирения с коммунизмом» или забвения фашизма. И то и другое неприемлемо. Здесь, в Сиднее, в отдельных полемиках-дискуссиях эмигранты-чехи часто используют козырную карту: фашизм – мертв, а коммунизм,

как известно, – нет. Не желая обидеть этих, действительно униженных и оскорбленных, людей, мы не напоминаем им отдельные детали войны и судьбу пражских евреев, но смерть фашизма не выдерживает никакой критики.

В очерке «Забывать нельзя» (НРС, 10.3.85 г.) я писал: «Герои и жертвы спят в земле сырой. А фашисты выжили, – немецкие, украинские, литовские...» (Редакция искажила эту фразу, придав ей совершенно иной смысл.) Нужно ли мне напоминать Вам, что сотни тысяч фашистских преступников, воспользовавшись известной лазейкой, не были переданы администрации стран Восточного блока и благополучно рассеялись по всему миру. (Это ни в коей мере не уменьшает вину преступников, стоявших во главе стран упомянутого блока.) За послевоенные годы мир был свидетелем сотен попыток искажения истории II-й мировой войны – от отрицания фактов убийств 6-ти миллионов европейских евреев до изготовления «дневников Гитлера» и «сомнений» в подлинности дневника Анны Франк. Скрывается один из самых тяжелых аспектов войны – кровавая межнациональная рознь, которую Европа не знала последние столетия. Сколько сербов замучили хорваты в лагерях уничтожения? На процессе Артуковича называют цифру 700 тысяч. Здесь в Сиднее эмигранты-хорваты утверждают, что ровно столько же их братьев убили после войны сербы. И те и другие не говорят, сколько было убито евреев (естественно – только в Хорватии после войны евреев не осталось). Какими бы благими намерениями ни руководствовались либералы-гуманисты, пекущиеся о «примирении и забвении» во имя Христа, цивилизации и грядущих поколений, – всё это не так просто. Посмотрите, во что вылился противоестественный альянс маленькой группы евреев с украинцами в пресловутом обществе «Связи». В попытку определенной группы украинских националистов свести счеты с «москалями». В очерках «Жертвам Ялты» и «Причем здесь КГБ?», в повести «Австралийские марки» я писал, что интернациональное явление антисемитизма надо рассматривать в каждой стране по отдельности. Что погромы были в Проскурове и Казатине, а не в Костроме и в Вологде. Что в Москве был хамский-черносотенский антисемитизм, а в Петербурге либерально-аристократический. И так далее. Это в прошлом. Но я обратил внимание, что в РОА и в бригаде Каминского и других формированиях не было зондеркоманд и айнцагрупп, а на Украине

немцы формировали их сотни, не считая спецбатальонов «Нахтигаль» и «Бергман». Операцию «Телефонная книга», в которой были зверски замучены польские и еврейские интеллигенты во Львове, украинцы провели без немцев. Нет такого города на Украине, такого местечка и села, где бы немцы убивали евреев без активной помощи украинцев. Приходится напоминать об этом, ибо важны масштабы содеянного и понимание этих масштабов теми украинцами, которые искренно хотят какого-то конца ненависти, какого-то «сближения», «связи». А факты говорят другое, – стоило «диссиденту» Морозу добраться в США, как он тут же организовал демонстрацию в защиту Демьянюка. Последнего разоблачил случайно выживший узник Трешлики, ведь там старались не оставить свидетелей. Дело не в Демьянюке, – их тысячи скрываются здесь в Австралии, украинцам можно поверить, когда они их разоблачат и избавятся от этой скверны. «Свободный мир» пока бессилён это проделать. В том же эссе об Эренбурге дама высказала важную мысль: «Можно случайно погибнуть, – выжить случайно нельзя!» Ну да, как выжил фронтовой поэт – мы не знаем («будем знать, только мы с тобой».) Надо еще раз читать «Эксодус». В Австралию в конце 40-х годов прибыло несколько сот венгерских евреев, больных, измученных людей с голубыми наколками лагерных номеров на запястье. Они случайно выжили на сборных пунктах, их не успели отправить в лагеря уничтожения. Когда им говорят, что были немцы-антифашисты Харро Шульце-Бойзен, профессор Харнак, что в соседней Чехословакии было «сопротивление», они смотрят на вас непонимающими глазами. Эти простые люди не поймут идею какого-то примирения, разве что поймут их внуки. Часть венгерских евреев все же выжила, а в Донбассе, в Харькове и в Крыму не выжил ни один еврей, взрослый или ребенок. Здесь в Сиднее живет полицейский из Харькова, – он сам сообщил об этом. Он уверяет, что не убивал и не грабил евреев, он уверен, что ему должны верить, и он ничем не рискует, его имя нигде не значится ни в каких списках. Вот об этом не думают евреи из упомянутой «связи».

После «ГУЛага» принято проводить прямую линию от ЧК до КГБ, хотя прямых аналогий здесь, безусловно, нет. Стоит напомнить, что ЧК создавалась для борьбы с бандитизмом (да, да – и с «контрреволюцией и саботажем»). Уже поэтому называть «чекистами» Шейнина и Вайнштока, как-то не совсем

правомерно. Так же как называть чекистами вконец изолгавшихся ничтожеств типа Ионы Андропова или Игоря Беляева, которым щедрые публицисты-эмигранты присваивают полковничьи звания (лучше всего отношение к КГБ честного человека выражает Аркадий Шевченко). Я верю Вам, Владимир Емельянович, что Вайншток характеризуется только отрицательно, но сценарий фильма «Мертвый сезон» вряд ли стоит хаять. Я видел эту ленту и принял ее антифашистскую направленность. Задолго до «пролетарской революции», организации ВЧК и службы в ее составе евреев Владимир Жаботинский говорил: «Позвольте и моему народу иметь своих подлецов». На Украине против петлюровцев и «зеленых» евреи сражались в ЧОН, об этом не только поэма Багрицкого. «Евреи в ЧК» – сильный козырь в руках антисемитов по обе стороны занавески. При этом никогда не приводятся данные – сколько евреев было в «органах», но часто называют высокую должность, занимаемую евреем. Хорошо чувствовавший ситуацию Катаев, интеллигент, доведший до совершенства искусство лизания, очень вовремя «вспоминал» еврейские имена в ЧК на Юге Украины. В горьковском «Канале им. Сталина» неоднократно упоминаются те, кто руководил строительством и носил по 4 ромба, – это Коган и Фирин. Упоминается и Берман. Тогда мало знали о Френкеле и Раппопорте – начальнике Управления Строительства вторых путей. Характерный «обличительный документ» преподнес недавно один «диссидент»: приказ Когана по ББВП (Беломорканалу) с выговорами за грязь в женских бараках виновному личному составу охраны и упреками (без наказаний) женщинам – з/к. (Это был 31-й год, задолго до усиления «классовой борьбы» в городах, но в ее разгар в деревне.) Вряд ли эти мелкие детали повлияют на стиль той страшной книги, где будут описаны все преступления советской власти, в ряду злодеяний, творимых партией, правительством, органами милиции и «юстиции», политическая полиция далеко не всегда занимала первое место, это подтверждают материалы последнего времени.

Поразительны убожество и глупость антисемитской пропаганды в последние годы! Выжившие фашисты распространяют в Саудовской Аравии «Протоколы Сионских мудрецов» и разработки философов III-го рейха об иудаизме. (Их охотно размножают и внедряют «умеренные» арабы.) Ослепленные бешеной злобой к государству Израиль в Советском Союзе

«нашли» и разрабатывают «золотую жилу» – фантастические «попытки отдельных сионистов договориться с нацистами» об эвакуации немецких евреев в Палестину. Болезненный бред идет дальше: Игорь Беляев обвиняет нынешнего премьера И. Шамира в том, что тот «предлагал немцам совместные действия против англичан в Северной Африке» (ЛГ №43 от 22.10.86). Злость – плохой советчик. Бессильная злоба толкает советскую пропаганду на гадость и подлость, вроде обвинения американцев в умышленном распространении вируса АИДС. Неужели уж так плохи дела в этой империи лжи и зла и она может лопнуть под тяжестью своих преступлений, издавая, – как писал Ленин, – ужасающее зловоние? А как же разработки А. Зиновьева о ее «бетонной устойчивости»? (Бетонный кожух вокруг 4-го реактора, – одно из самых глупых инженерных решений. Но в СССР не нашли другого.) Диссидентов преследуют и КГБ и МВД (вторые больше «технически»), нужно большее мужество, чтобы участвовать в этом великом противостоянии, на это идут считанные единицы. От евреев такое мужество требуется в массовом порядке. Более того – некий «философ» Тростников (и не он один) считает, что евреи просто обязаны вступать в конфронтацию с властью, как-то не учитывая, что там, где ему грозил выговор и нотация, там еврей оторвут голову. Не учитывают и реакцию «общественности» и населения, – в антисемитизме «Народ и Партия» поистине – едины. Партия поняла это, учтя немецкий опыт и поняв, какие скрытые резервы есть в этой тысячелетней подлости. Тростниковы требуют, чтобы еврей выставил в своем окне плакат «Долой самодержавие!» и встал на защиту любого «преследуемого» по любым, даже связанным с профнепригодностью, вопросам. Я писал об этом в очерке «Приглашение к героизму». Должен противостоять, обрекая семью (особенно – детей) на ужас вражеского окружения и неограниченный произвол, равный объявлению «вне закона». Пастернак не выдержал такую жизнь. Мы имеем другие примеры – Ботвинник, Давид и Игорь Ойстрах, Эмиль Гиллельс. Найти линию сосуществования с нечеловеческим режимом, – здесь бы и у И. М. Поддубного сдало сердце. Надо напомнить Д. Д. Шостаковича, но надо ли? Очень это красивая позиция, – сидя здесь, в безопасности, громогласно требовать от Анатолия Васильевича Эфроса, чтобы он активно выступил против Центрального Комитета, Комитета советских Женщин,

Комитета «За Мир!» и Антисионистского Комитета Народов СССР. В отличие от тех недалеких и простоватых людей, что бегают в Париже и в Нью-Йорке слушать Вознесенского, эти грозные требователи – заслуженные деятели нонконформизма – хорошо понимают, что к чему, в том числе и всю неприглядность письма советским мастерам культуры. Толстую кожу подонков – матвеевых, михалковых, – оно не пробьет, а людей – огорчит. В Америке сетуют, что наших людей еще не приглашают в приличные дома. А может, – правильно делают?

Глубоко уважающий Вас, Ваш коллега – я изыскатель с 40-летним стажем.

Н. Калина

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы ответили автору письма в частном порядке, но, публикуя, считаем нужным сопроводить этот текст некоторым комментарием. Письмо Н. Калины представляется нам характерным примером смешения всех понятий, всех знаний, полученных когда-то в СССР и ныне, на Западе, проверенных и непроверенных, противоречащих друг другу, но сваленных в одну кучу – притом, вероятно, с самыми искренними намерениями. Пытаясь вытянуть ниточку основной мысли, мы в конце концов находим несколько таковых, и все, как нам кажется, попросту непродуманные, на уровне эмоций, опирающихся на клочки непереваренных и ничем не дополненных сведений.

1. Говорят, фашизм мертв (а коммунизм – нет), но фашизм не мертв, потому что фашисты разбежались по всем континентам.

Фашизм (точнее, нацизм, или, еще точнее, национал-социализм) мертв как строй, практически мертв как идея. Дай Бог, чтобы коммунизм был «не мертв» в такой же степени, т. е. чтобы коммунистический строй был уничтожен везде, где он существует, а коммунистические преступники «благополучно рассеялись по всему миру».

2. Украинцы (в целом, как народ, и даже чуть ли не больше, чем немцы) повинны в массовых убийствах евреев. Даже если поверить, что действительно в еврейском геноциде украинцы приняли большее участие, чем другие народы захваченных гитлеровцами стран, нельзя переносить преступление на весь народ – это, как нетрудно вспомнить, называется «кро-

вавый навет» – и автоматически, до суда, признавать виновным в преступлениях против человечности каждого украинца, бежавшего с территории СССР (будь то и полицаи), пока его вина не доказана.

3. *Прямых аналогий между ЧК и КГБ нет, и не надо называть «чекистами» подлецов.* ЧК создавалась для борьбы против контрреволюции и бандитизма, в чем, по мнению автора ничего страшного нет (хотя пора бы уже знать, что имелось в виду под *обоими* понятиями и кого в ЧК пытали и убивали как «контрреволюционеров» и «бандитов»). Тут можно только сказать, что коммунизм и его пропаганда еще как живы в сердцах даже антисоветски настроенных эмигрантов (они настроены антисоветски по отношению к недавнему прошлому, но давнее видят в тонах своих школьных учебников). Тут и чудесная фраза: «Я видел эту ленту («Мертвый сезон») и принял ее антифашистскую направленность». Ну, что же, это о том только, к сожалению, и свидетельствует, что талантливый пропагандистский фильм пускает пыль в глаза лучше, чем бездарный (вспомним хотя бы «Никто не хотел умирать» – не оттуда ли автор письма и взял сведения о «литовских фашистах»?).

4. *Евреи в ЧК – сильный козырь в руках антисемитов по обе стороны занавески.* Антисемиты всегда найдут себе «козырь» – стоит ли по этому поводу уверять, что «политическая полиция» далеко не всегда занимала первое место в преступлениях, уступая, например, ...милиции? Действительно, она исполняла волю партии, но с самого начала настолько была сращена с партией, что как автору письма удастся разделить их ответственность – непонятно.

5. Сегодняшнюю советскую действительность автор письма, слава Богу, не приемлет – хотя, главным образом, из-за антисемитизма и клеветы на евреев. Если именно это главные преступления советской власти, то почему же не согласиться с тем, что «евреи просто обязаны вступать в конфронтацию с советской властью»? Оказывается, потому, что там, где русскому грозит «выговор и нотация», еврею «оторвут голову». Против этой почти пародийной аргументации как-то даже совестно приводить трагические аргументы недавнего прошлого, но, может быть, стоит вспомнить, что среди тех, кто только за последние годы погиб в лагерях, есть и русские, и евреи, и украинцы, и армяне – никакой дискриминации по

национальному признаку. А уж упрек ныне покойному Эфросу (которого никто не призывал, кстати, выходить на бой с советской властью – просто напомнили о порядочности, традиционном свойстве русского интеллигента, которым авторы письма и считали адресата) вообще не был адресован «еврею».

Если автор письма повторяет слова Жаботинского о том, чтобы еврейскому народу позволили иметь «своих подлецов», то почему так страшит его всякое упоминание – в контексте подлости – еврейских фамилий? Следует ли опускать эти фамилии, боясь, что антисемиты их используют? Хуже ли быть антисемитом и за каждого подлеца-еврея возлагать вину на еврейский народ, чем к имени каждого обнаруженного или предполагаемого преступника прибавлять его национальность (украинец, литовец, хорват и т. д.) и возлагать вину на весь его народ? Разве сегодня это не одно и то же? Разве национальная ненависть нашего времени не является наследницей расовой ненависти, разжигавшейся нацистами? И так далее.

В сумбурном письме Н. Калины мы, к сожалению, узнаем тон, свойственный некоторым эмигрантским публицистам, пишушим более связно и, на взгляд, логично и ко всем его эмоциям прибавляющим еще, и в первую очередь, русофобию. Для нас русофобия ничем не лучше и не хуже, скажем, хорва-тофобии или того же антисемитизма – мы об этом неоднократно по разным поводам писали. Советская отравка: ненависть не по делам человека, а по его национальной, расовой, классовой, политической, религиозной принадлежности – слишком сильна. Именно искренность автора письма, которая приводит его к чудовищным натяжкам и прямой неправде, печально диагностирует этот неизлеченный токсикоз.

Уважаемый Владимир Максимов!

Можете это письмо рассматривать как открытое, т. к., возможно, и Ваши коллеги проявят интерес к мнению человека, который лишь месяц на Западе. Из своих 33 лет 16 я прожил в Ленинграде, врач, приехал сюда по браку. Первое впечатление: изнеженность и, простите, «чистоплюйство». Вы

все правильно и лучше изложили в «Они и мы»*, у меня так не получится. И обидно, что они слишком сытые, что ли (не только физически). А заевшийся не борец. Как же они будут защищать свою, хоть и хромающую, но все же с человеческим лицом, цивилизацию. Вспомните, как на ценках доказывал преимущество спартанского воспитания кто-то из древних. Вы на 200% правы: они хотят видеть и слышать лишь то, что их не пугает и не раздражает, их не переубедить, чужой опыт ничто, да и человека трудно убедить словами.

Там я был далек от оппозиции, диссидентства. Все в себе, изредка делился с родителями, иногда с самыми близкими друзьями. Сами знаете, что в Союзе каждый в отдельности ПРОТИВ, но все вместе ЗА. Все давно разуверились во всем, степень цинизма сейчас ужасна. И надежды на изменение в лучшую сторону почти ни у кого из не «слепых» нет. Отсюда тот громадный, грандиозный, с жадной, интерес ко всему, что отличается от своего, доморощенного. Это не только в духовной сфере, но и в бытовой. Не зря сейчас «идеологи» так усилили «борьбу» с т. н. «иностранщиной». Самиздат мне на многое открыл глаза, да и свинцовая действительность учит круглосуточно, если не потерял душу. А вообще-то Бог вразумил немного. Все что-то читают, голод ведь по правдивой информации страшный. Но плохо с копированием; по-моему, нужны издания карманного формата на очень тонкой бумаге, типа Библии издательства «Жизнь с Богом». Ее-то можно достать в любой момент на «черном книжном рынке», пусть дорого, но без проблем. Извините, но формат «Континента», по-моему, немного не тот – трудно провозить и легко с ним «замести». А этого-то все же побаиваешься. И хочется и колется и ГБ не велит. Поэтому все слушают «голоса из-за бугра». Лучше всех «Свобода». Работают четко, говорят чисто, подают остро, зло, хлестко, но без издевки, с сочувствием, не свысока, не снисходят к нам, как «Войс оф Америка» или Би-Би-Си вкупе с «Немецкой Волной». Чувствуется, что они все же в узде. Если бы их пустить на самотек, то через год хваленое советское единство партии и народа трещало бы уже по швам. (Выделено нами. – Р е д.) Слушать их можно, особенно на окраине, а в бревенчатом доме без проблем. Люди хотят иметь альтернативную информацию. Велик интерес к истории (замал-

* «Сага о носорогах» – П р и м. Р е д.

чиваемой), все слушали чтение Солженицына, надо этого побольше. Многие записывают на кассеты. Ну а цитаты Авторханова по народу ходят, многие цитируют, не зная источника. Сейчас в Ленинграде можно найти буквально все, что издается здесь, часто в отличном переводе. Сам читал «Маленькую барабанщицу» Ле Карре в просто талантливом, правда анонимном, переводе. Молодежь же тянется ко всему запретному, к тому, что хоть чуть-чуть отличается от макулатуры «Юности», «Собеседника». Хорошо бы что-то типа «Русской мысли», но именно для молодежи. Газету легче провезти. Но все равно даже сейчас «Континент» делает свое дело. Я, например, лишь прочитав в машинописной копии «Любовь» Ю. Милославского и «Алкоголики с высшим образованием», на последней странице узнал источник. То же относится к статьям о Сталине, о советской мафии в спорте (Тополь и Незнанский, Некрич). Ходят по рукам «Журналист для Брежнева» и «Красная площадь» как отличный противовес семеновской «Бомбе для председателя» и пикулевской пачкотне. Спрос на политические детективы намного превышает предложение. Не имею права и не хочу советовать Вам. Но хотелось бы видеть на Ваших страницах больше более реалистичных в бытовом советском плане произведений. Это позволяет увидеть жизнь чуть со стороны, задуматься. И пусть иногда с матом, с порно. Но это сильно расширит круг читателей. Воспитанный же человек, а не онанист псевдокультуры, может читать всё. И не смущайтесь, если будет отдавать «желтой прессой», она давно России нужна. Зато наиболее ходовая. Читают все, даже те, кто в этом не нуждается. А Бог и будущая Россия Вам простят.

Дай Вам Бог силы и здоровья для этой тяжелой борьбы. Времени у нас у всех мало, но кое-что еще можно успеть. Кремлевские молодежь упустили, она аполитична на 100%. Не упустите ее Вы. Прошу больше правды и разоблачайте их сатанинские козни. Но без фальши. Молодежь тонко чувствует брехню. Они научили. Извините за почерк.

С уважением,

Кёльн, 25. 11. 86

Сергей Кампф

Многоуважаемый Владимир Емельянович!

В 49-м номере «Континента» помещено обращение Георгия Владимова «К читателям журнала „Грани“», вызванное бесцеремонным отношением издательства «Посев» к авторским правам Леонида Бородина («Грани» № 140). В том же номере «Граней» была опубликована и моя статья «Рыцарь печального образа», которую постигла та же участь; а именно, она была лишена знака копирайта, хотя копия сертификата о наличии у меня копирайта на эту работу была послана в редакцию без опоздания.

Одновременно с этим, по просьбе Г. Н. Владимова, пытавшегося сохранить знак копирайта при публикации моей статьи, я направил письмо в адрес издательства «Посев» на имя г-на Жданова, в котором настаивал на сохранении копирайта. Вызвано это было главным образом желанием предохранить мои авторские права, ибо некоторые мои ранние работы на шалыпинскую тему были перепечатаны другими издательствами без моего разрешения. Кроме того, данную статью, равно как и опубликованные ранее в Вашем журнале, после доработки я предполагаю включить отдельными главами в мою будущую книгу о Шалыпине. Поскольку над этой же темой работают и другие исследователи, то в полном соответствии с американским законом (United States Code Annotated, Title 17, Copyrights), мною был приобретен копирайт.

Закон об авторских правах, как это широко известно, с 6-го сентября 1952 года является международным. Помимо Соединенных Штатов, в которых проживаю я – автор, к этой Международной конвенции примкнула и Федеративная Республика Германии, в которой находится издательство «Посев». Женевская конвенция гласит, что неопубликованные работы, принадлежащие авторам одной страны, должны обладать теми же защитными правами и в другой стране, подписавшей конвенцию (Title 17, § 104, статья 2, п. 2), однако г-н Жданов в письме ко мне от 29-го августа 1986 года утверждает совсем иное: «Наше издательство находится в Германии, и мы придерживаемся европейских законов, которые несколько отличаются иногда не только от советских, но и от американских. По здешним законам (интересно все же – по каким, ибо ни один из них не назван. – И. Д.), прислав рукопись в редакцию журнала, Вы тем самым дали разрешение на одно опубликование в данном журнале (если я прислал рукопись

в редакцию, то пусть редактор и решает, что и как печатать, а все, не имеющие отношения к литературе, пускай сидят и не вмешиваются. – И. Д.). Других полномочий ни издательству (а оно-то здесь при чем? – «мы с нею вместе не служили». – И. Д.), ни редакции Вы не даете, поэтому (ну, а все же, почему?? – И. Д.) и копирайта вообще ставить не полагается, тем более на статью».

Подобную трактовку Международной конвенции принять довольно трудно. Свое несогласие с мнением г-на Жданова я выразил в письме к нему от 16-го сентября с. г., ответа на которое не последовало.

Почти слово в слово (под копирку, что ли, пишутся в «Посеве» письма?) поучает, как мы видим из обращения Г. Владимова, г-н Жданов и своего бывшего Главного редактора, вздумавшего отстаивать права авторов тогда еще редактируемого им журнала. В самом деле, стоит сравнить: «В правовом отношении, журнал, получая рукопись, автоматически получает право ее опубликовать, и никаких здесь копирайтов не ставят». Не знаю, кому как, а мне это заявление очень напоминает фразу из довоенной кинокомедии «Музыкальная история»: – И никто тебе ордена Ленина не даст! – Правда, г-ну Жданову дать стоит, этого он заслуживает вполне своей «литературно»-администраторской эквилибристикой. И вот почему, чтобы не быть голословным. В том же ответе Г. Н. Владимову читаем: «Копирайт мы в данном случае поставим, лишь если сам автор по какой-то причине это потребует» (выделено мною. – И. Д.). Но, простите, ведь именно этого я и требовал и при том в письменной форме. Получается так, что одним авторам г-н Жданов дает права требовать, а других тех же самых прав он лишает. Интересно, по какому принципу? Национальному? Государственной принадлежности? Вероисповеданию? Или же просто по цвету кожи? Ведь сочло издательство «Посев» возможным *поставить*, хотя, согласно г-ну Жданову, делать этого никак не полагается, копирайт на публикацию П. Вайля и А. Гениса (стр. 253 того же журнала). Чем же так досадили «Посеву» Леонид Бородин и я? В письме от 27-го октября с. г. я просил г-на Жданова разъяснить мне столь непонятную дискриминацию. Не получив на сегодняшний день никакого ответа, я вынужден просить Вас опубликовать настоящее письмо, чтобы будущие авторы «Граней» знали, какая неожиданность их может подстергать, если они чем-

либо не понравятся г-ну Жданову. Лично я с нынешним руководством журнала впредь сотрудничать не намерен.

В частном письме Георгию Владимову я уже выражал ему мою полную поддержку. В дополнение к этому, прошу Вас считать мою подпись под этим письмом 56-й подписью под заявлением «Серые начинают и выигрывают», опубликованном в 48-м номере «Континента».

Искренне Ваш,

4 декабря 1986 года,
Нью-Йорк

Иосиф Дарский

Уважаемая Наталья Горбаневская!

К сожалению, не знаю Вашего отчества, поэтому обращаюсь таким – несколько странным – образом. Мы с Вами уже знакомы заочно. Я Вас знаю немного лучше – по Вашей правозащитной деятельности в СССР и по Вашим статьям и стихам в «Континенте» и «Русской мысли». Ну а Вы тепло ответили на письмо моей жены, которая прислала Вам мои стихи. Спасибо Вам. Не только за то, что нашли мои стихи достойными для опубликования в «Континенте», но и за теплые слова, которые очень поддержали нас в трудный период нашей жизни. Теперь это всё позади – я живу в ФРГ вместе со своей женой. Уже немного освоился. Решил написать Вам, поблагодарить Вас и сказать несколько слов о том, как читают «Континент» в СССР.

Во-первых, это не только самый читаемый из эмигрантских изданий журнал, но в среде интеллигенции – и вообще самый читаемый. Новинки прозы ждут теперь не от «Нового мира» или «Иностранной литературы», а от «Континента». А публицистические отделы журнала – основа теперешнего самиздата (во всяком случае, в том кругу – не правозащитном, – где я вращался). Сами понимаете, как творческая интеллигенция (журналисты, художники-иллюстраторы, студенты гуманитарных вузов, учителя и т. п.), к которой принадлежал и я, боится вообще что-либо *распространять*. Но когда название «Континент» довольно свободно употребляется чуть ли не на журнальной планёрке, то перепечатывать статьи из этого журнала кажется не таким уж страшным.

Причина этой «свободной циркуляции» (в разговорах, разумеется) – в изменении отношения к публицистике журнала. Я давно читаю «Континент», практически с самого его начала. Так вот: было недоверие, потом позиция журнала стала отправной точкой дискуссий – читалась статья, она подлежала обсуждению или даже осуждению, но от нее танцевали; неверными признавались порою выводы, но не путь. Теперь, можно сказать, журнал *приучил* читателя к своей точке зрения, к ней почти безграничное доверие. Я скептически отношусь к авторитетам вообще, но лично для меня «Континент» часто становился авторитетным ориентиром в тех или иных вопросах.

Это важное изменение в отношении к журналу (мое «вторых») наметилось, кстати, уже давно. Пожалуй, переломный момент (подчеркну еще раз – для того узкого круга, к которому я принадлежу, с которым хорошо знаком) – «Сага о носорогах». Ее поддержали безоговорочно. И в ее противниках разочаровались – возможно, даже не из-за их позиции (анализировали мы слабо), а из-за того, что они были против *нашего* «Континента».

Теперь, в-третьих, еще об одном изменении. Изменился круг читателей журнала. Был он – для интеллигентов, стал – для всех. Беда, что рабочие, шофёры, с которыми я знаком и которые читали журнал, находили и находят в нем немного для себя. К литературе они довольно равнодушны, «высокая» публицистика им малоинтересна, в семье каждого кто-то да посидел, так что о лагерях читают из любопытства... А вот о Польше им хотелось побольше узнать. О мелочах – как организовались, как обсуждали, скажем, повышение зарплаты на тысячу злотых... Почему на тысячу, а не на две? О своих-то еще нужнее, еще важнее, чем о Польше, но не находят ничего. О первых шагах независимых профсоюзов в «Континенте» было лишь вскользь, о том, как организованы рабочие в странах Запада, – и вовсе ничего, если я правильно помню. Во всяком случае, претензии у рабочих к журналу есть.

Вот и все, что я вкратце хотел сказать. Возможно, это пригодится журналу и Вам лично в работе.

Хочу поздравить Вас и редакцию «Континента» с наступающим Рождеством и пожелать всего самого доброго, добав-

ляя, как говорят в Союзе, – побольше, погуще, бесплатно и без очереди.

С уважением –

Е. Шухман

(Прим. ред.: Автор этого письма опубликовал в № 50 «Континента» стихи под псевдонимом Борис Григорьев.)

К ВОПРОСУ О ПОДЛИННОМ ТЕКСТЕ «ЖИТИЯ ИНОКА КОРНИЛИЯ ВЫГОВСКОГО»

В 49-м номере «Континента», в разделе «К тысячелетию крещения Руси», опубликовано любопытное произведение Геннадия Русского под заглавием: «Житие и страдание старца Корнилия» (стр. 7-18). Произведение это написано на старинный манер, хотя явно нашим современником, и изобилует просторечиями и архаизмами, характерными для позднейшей древнерусской литературы¹. Не лишено оно и живых бытовых деталей, относящихся к эпохе возникновения и распространения на Руси старообрядчества. В частности, в нем очень интересно рассказывается о том, как ревнители «древлего благочестия», в том числе и герой повести, старец Корнилий, спасались в Поморье от преследований «никониян», со временем основывая свои собственные религиозно-земледельческие общины.

Что это за вещь, откуда она? Как лаконично отмечается в единственном примечании к произведению, «рукопись получена из России»².

Я не знаю, кто такой автор, выступающий, по-видимому, под псевдонимом, но повесть его – не что иное, как вольный пересказ «под старину» известного «Жития инока Корнилия Выговского», созданного в свое время в старообрядческой среде и недавно мной изданного³. Г. Русский не только воспользовался этим памятником, который он местами пересказывает почти дословно⁴, но и пополнил его рядом деталей, почерпнутых из других старообрядческих произведений – в первую очередь автобиографий «пустозерских мучеников» Аввакума и Епифания⁵. Сохранил он и хронологию событий подлинника, исключив, впрочем, ряд эпизодов – может быть,

с целью сделать повествование более стройным. Не всегда можно признать удачными допускаемые Г. Русским отклонения от оригинала. Озадачивает, например, нарочито эмоциональное слово «страдание», введенное им в заглавие и отсутствующее во всех известных мне списках памятника. Безусловно, жизнь инока Корнилия не была легкой, но нельзя создавать вокруг него ореол мученичества. В отличие от протопopa Аввакума, старца Епифания и многих других старообрядцев, чьим современником он был, Корнилий не пострадал за веру и дожил до «глубоцей старости», на что сам сетует в «Житии» и, вопреки заглавию Г. Русского, в рассказе⁶.

Можно только приветствовать интерес в Советском Союзе к старообрядчеству и его богатому литературному наследию, и такой пересказ, даже если он иногда и искажает смысл оригинала, вполне имеет место. Однако его следует поставить в историко-литературный контекст, по меньшей мере упомянув о первоисточнике. Скажем о нем два слова.

Подлинное «Житие Корнилия» представляет собой образец старообрядческой письменности начала XVIII в. Корнилий был одним из «зачинателей» знаменитой некогда на Севере Выговской поморской пустыни, ее первым «насельником». Он прожил долгую, полную скитаний жизнь и умер в 1695 г., согласно старообрядческому преданию, 125 лет от роду, успев дать свое благословение на создание «общего жития» Даниилу Викулину, Андрею Денисову и другим собравшимся на р. Выг пустынножителям (ныне река входит в систему Беломорско-Балтийского канала). Агиобиография Корнилия была составлена около 30 лет спустя, в середине 1720-х гг., бывшим его келейником, Пахомием, и должна была служить как бы историческим обоснованием созданию «общежительства» на Выгу⁷. Это – 1-я редакция памятника, написанная еще относительно простым языком и содержащая богатый бытовой материал. В 1731 г. она была переработана уставщиком Выговской пустыни Трифоном Петровым в духе складывающейся тогда Выговской литературной школы, отличающейся высоким стилем и низкой фактографичностью (такой же переработке подверглась на Выгу упомянутая выше автобиография Епифания). Так возникла 2-я, риторически украшенная редакция «Жития»⁸.

Обе редакции дошли до нас в относительно большом количестве списков. В общей сложности мне удалось выявить

ровно полсотни их – 31 список 1-й редакции и 19 2-й, – относящихся к XVIII, XIX и началу XX вв.⁹ Это говорит об исключительной популярности произведения в старообрядческой среде (укажем для сравнения, что автобиография Аввакума – включая автографы, отрывки и переработки – известна в 57 списках). Как видно по переработке «Жития Корнилия» под пером Г. Русского, памятник не утратил своего интереса и в наши дни.

Я отнюдь не утверждаю, что Г. Русский основал свой пересказ на моей публикации. Скорее всего, он располагал одним из многочисленных списков «Жития» – может быть, списком, еще не известным науке¹⁰. Каждая новая рукопись древнерусского произведения представляет собой научный интерес, по-своему отражая архетип – в данном случае, несохранившийся оригинал Пахомия. Тем более было бы интересно знать, каким источником пользовался автор новейшего пересказа. Может быть, со временем мы узнаем. А пока поблагодарим его за то, что в конце XX в., накануне тысячелетия крещения Руси, он вдохнул новую жизнь в один из интереснейших памятников старообрядческой литературы.

Д. Брецинский
Вест-Лафайет (шт. Индиана), США, 1986

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Например: «Пошто аз един остался..?», «о ту пору», «старцы гораздо спорили», «с опрятством говорил», «бунташное настало время», «и паки не бысть знамени», «плакаше», «идеже», «тамо», «камо», «токмо», «аки», «обаче», «зане» (курсив мой. – Д. Б.).

² Геннадий Русский. Житие и страдание старца Корнилия. – «Континент», № 49 (1986), стр. 7.

³ Д. Н. Брецинский. Житие Корнилия Выговского пахомиевской редакции (тексты). – В сборн.: Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского Дома. Л., «Наука», 1985, стр. 62 - 107. Публикация памятника основана на обследовании пятнадцати списков 1-й его редакции, изученных мной во время научной командировки в СССР по официальному культурному обмену с США.

⁴ Вот, например, как читается в оригинале совет предводителя «лесных старцев» Капитона Конону (мирское имя Корнилия), пришедшему к нему с просьбой быть принятым в его общину: «Чадо Конане, Бог да исполнит желание твое, якоже сам хочет. Но понеже

юн сый еси и не можеши zde трудов иночества понести, понеже место пусто есть и всякого утешения кроме, – но даю ти совет благ: да идеши в Корнилев монастырь Комельского, и тамо тя примут с любовью...» (Брецинский, стр. 69.) А вот то же место в пересказе Г. Русского: «Не для новоначальных сие испытание. Понеже ты юн сый, не можеши понести трудов наших. Место сие пусто и утешения кроме. Даю тебе совет благ: иди в Комельский монастырь, тамо начинай» (Русский, стр. 8). Наблюдающееся здесь упрощение текста оригинала, с сохранением, однако, ключевых его слов и выражений, характерно для пересказа.

⁵ Любопытно отметить, что подлинное «Житие Корнилия», написанное со слов свидетеля, а отчасти и участника крупнейших событий неспокойного XVII в., является одним из немногих документальных свидетельств, подтверждающих общепринятую версию, что протопоп Аввакум был именно сожжен.

⁶ Вот как это передается в пересказе: «Господи!.. Пошто лишил мя венца мученического? Я ли не молил Тя о сем? Пошто аз един остался недостоин пути сего?» (Русский, стр. 15.)

⁷ Если в оригинале роль Пахомия сводится лишь к двум-трем ссылкам на себя («Аз, Пахомий...»), то в пересказе он уже выступает как полноправное действующее лицо – вместе с другими пустынножителями, к примеру, провожающее Корнилия в последний путь: «Понуро стояли Данило с Андреем, утирал слезу Пахомий» (Русский, стр. 16).

⁸ Подробнее о литературных особенностях памятника см.: Д. Н. Брецинский. Житие Корнилия Выговского как литературный памятник и его литературные связи на Выгу. – ТОДРЛ*. Л., 1979, т. XXXIII, стр. 127 - 141.

⁹ Подробнее о списках памятника 1-й редакции и их взаимоотношении см.: Д. Н. Брецинский. Житие Корнилия Выговского пахомиевской редакции и его литературная история. – ТОДРЛ. Л., 1983, т. XXXVII, стр. 269 - 285.

¹⁰ Рукописные фонды многих хранилищ древнерусской литературы в СССР быстро пополняются. Особенно быстро растет «Древлехранилище» Пушкинского Дома, ежегодно отправляющего научные экспедиции в Поморье, Прибалтику и другие районы страны в поисках сохранившихся рукописей, очень часто старообрядческих. Нельзя сомневаться поэтому, что новые списки «Жития Корнилия» обеих редакций будут со временем найдены.

* Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

ВМЕСТО ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

По просьбе члена редколлегии «Континента» Густава Герлинга-Грудзинского публикуем перевод одного фрагмента из его постоянной рубрики в журнале «Культура» – «Ночной дневник» («Культура», 1986, № 12 / 471).

Адам Михник написал в тюрьме текст, предназначенный для «Континента», о «поляках по отношению к России». Мне хочется коротко сказать о нем в дневнике. Текст не датирован. Кончается он размышлениями о сегодняшнем дне, из которых желающие могут извлечь уроки на будущее.

С одной стороны – Бжозовский и Кухаржевский, «теоретики антирусской политической философии». С другой – прагматическая «позиция Ксаверия Прушинского» (разумеется, с соответствующими историческими прецедентами), определенная как «выбор компромисса». Для начала этого достаточно, чтобы очертить общую схему Михника.

О сегодняшнем дне Михник пишет: «Позиция Прушинского (...) появилась, в свою очередь, как реакция на поражение демократического движения в России. Те же самые люди, которые с энтузиазмом читали бунтующих русских писателей, были вынуждены признать в эпоху «Солидарности», что русские «инакомыслящие», дающие столь поразительное нравственное свидетельство, оказались вне сферы политического расчета. Для политиков из «Солидарности» политическим фактором должны были стать люди, правящие Россией. Соглашение с ними было необходимым условием политического успеха Гданьского соглашения. Валэнса неизбежно (подчеркнуто Михником) воспроизводил логику Прушинского. Он был вынужден принимать во внимание в своих политических расчетах реальную Россию, управляемую Брежневым и Андроповым, Черненко и Горбачевым, а не Россию, о которой мечтали, Россию Сахарова и Буковского, Солженицына и Горбаневской, Некрасова и Копелева». И далее: «Если для польских эмигрантов, например, из кругов парижской «Культуры», первых проводников знания о независимой России, единственная ставка – фундаментальные перемены в самой России, то для Валэнсы компромисс по образцу августовских соглашений 1980 года не может быть убран с горизонта политической надежды. В этих категориях следует понимать его

молчание на тему Сахарова. Ни один ответственный политик не должен делать из этого укоризну вождю „Солидарности“». И наконец: «Но, к счастью, не все мы – политики». Не будучи политиком, Михник не чувствовал и не чувствует себя связанным политической заповедью «молчания на тему Сахарова».

Поскольку я чувствую себя политиком еще меньше, чем Михник, мне позволено по праву outsider'a из кругов парижской «Культуры» спросить: а чего именно ожидал Валэнса от акта «молчания на тему Сахарова»? Вероятно, того, что правители России поглядят друг на дружку, приятно удивленные, и пробурчат: «Ну, да*, вредный тип – ничего не скажешь, но нельзя отрицать, что у его неизлечимо реакционных земляков к нему слабость; раз этот *вредный, но как будто деловой парень** знает, о чем молчать, а о чем говорить, и раз наши польские товарищи никак с ним не сладят, то, может, стоило бы поговорить и договориться с ним прямо, поверх их глупых голов, ради восстановления порядка и спокойствия над Вислой». Вот это была бы Политика с заглавной буквы, щедрая плата за «выбор компромисса».

О такой Политике или Геополитике долгие годы бредил Киселевский, близкий (как напоминает Михник) Прушинскому. Пока (как рассказывают) хитрый Кищак, похвалив набожные грезы «старосветского поляка», не выразил сомнения: да есть ли у него «нужный номер телефона в Москве»? А главный ледокол польско-российских торосов ради «выбора компромисса», автор знаменитой статьи «По отношению к России» и брошюры о Велепольском? В послевоенном Риме говорили, что он часто приезжал туда для прощупывания возможности обмена посольствами между Варшавой и Ватиканом; злые языки говорили, что он уже видел себя на посту посла ПНР при Апостольском Престоле рядом с профессором Котом при Квиринале. «Выбор компромисса» рухнул после разгрома ПСЛ и бегства Миколайчика из Польши. Уцелевший Прушинский должен был удовлетвориться малозначащим посольством в Гааге.

В послевоенном Риме появился и Ян Добрачинский, у которого «выбор компромисса» оказался ближе к советскому пониманию отношений с поляками. Он с восторгом рассказывал (это я слышал своими ушами) о своем маэстро и учителе

* По-русски в тексте. – П е р.

Болеславе Пясецком, особенно о его многочасовом разговоре с Серовым, который он назвал «поединком спиритуалиста с материалистом в тени эшафота». Каков был результат «поединка»? На папке с делом Пясецкого (так звучал восторженный заключительный аккорд рассказа) Серов написал: «Заблуждается, но можно использовать». И в самом деле. Советская формула компромисса была дана сжато, лаконично и недвусмысленно. С теми или иными отклонениями она действует и по сей день.

Пора вернуться к Валэнсе и его «молчанию на тему Сахарова». Разумеется, имя Сахарова выступает тут как символическое сокращение, за которым разумеется «ставка (как пишет Михник) на фундаментальные перемены в России». Эта ставка, по его мнению, ничтожна после поражения демократического движения в России? Не более ничтожна, чем «политические расчеты» Валэнсы («воспроизводящего логику Прушинского») после поражения «Солидарности» в Польше. Что мы приобрели благодаря «молчанию на тему Сахарова»? Ничего. Что мы потеряли в результате этого «молчания»? Нечто существенное, хотя не измеримое в категориях «логики Прушинского». Политические лидеры таких движений, как «Солидарность», должны руководствоваться иной логикой, долгосрочной, в которой временный успех иногда бывает чудом и никогда – правилом.

Почитатель и друг Михника (каковым я себя считаю) должен объяснить, откуда берется нотка раздражения в этом полемическом комментарии. У меня обостренная чувствительность на появляющуюся иногда у публицистов оппозиции веру, сознательную или подсознательную, в польский «особый статус» внутри империи: по разным причинам в Москве наконец смиряются с тем, что с поляками надо обращаться иначе, нежели со всеми остальными – чужими и своими; поэтому у поляков есть шанс – при условии не касаться щекотливых тем, российских и соседских, – самостоятельно отвоевать себе несколько более широкое поле национальной и политической свободы. Я был убежден, что Михник вполне свободен от подобных иллюзий. Оказывается, не вполне.

Густав Герлинг-Грудзинский

«Континент» полностью согласен с этими серьезными замечаниями. Мы не хотели вступать в спор с Адамом Мих-

ником – не потому, что он нам также друг, но потому, что мы рассчитывали на отклик с польской стороны. Мы рады, что эта надежда оправдалась. – Р е д.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе
Главный редактор Ирина Иловойская-Альберти
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

Воздушной почтой

Европейские страны,			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка,			
Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка.
В цену входит выходящее 6 раз в год приложение
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под
редакцией А. М. Некрича.

Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.

Критика и библиография

ОДЫШЛИВАЯ ГАРМОНИЯ

О стихотворениях Евгения Рейна

Статья эта, к сожалению, пишется с большим запозданием – книга Евгения Рейна «Имена мостов» вышла в Ленинграде уже два с лишним года назад. Но – по сравнению с добрыми двадцатью годами, которые она *не* выходила, срок это небольшой, а событие замечательное. Русская печать за рубежом отозвалась на него только удивившей меня заметкой Дм. Бобышева в «Континенте» – о стихах там было сказано сравнительно немного, зато дотошно разбиралось, как именно, в чем и насколько Евгений Рейн пошел на уступки цензуре, затем поэта хлопали по плечу за «почти полное» отсутствие паровозов, т. е. идеологически выдержанных стихов, потом отмечалось, что Нобелевской премии он не получит, хотя по юношескому таланту и мог бы претендовать. Писал рецензент и о том, что из книги вырисовывается образ «несчастливого, неумного и, увы, пожилого человека». И отмечал, наконец, что в ранг высшей художественной реальности Рейн возводит «адюльтер».

Книгу Рейна достать трудно, а она, мне кажется, заслуживает более восторженных чувств. Наверное, в разнице вкусов дело, но не всем же, право, быть Мережковскими и Вл. Соловьевыми, кому-то приходится тянуться и за такими «адюльтерными» поэтами, как Пушкин, Тютчев или Блок, например. Что же до счастья, ума и молодости, то эти достоинства, в полном наборе, лучше оставить студентам юридических факультетов американских университетов. Вольно Рейну признаваться, что живет он «беспомощно, нечестно, неумело», а рецензенту – торжествующе хватать его за руку. Мало ли кто из пишущей братии, «с отвращением читая жизнь свою», оставался славным парнем и отличным поэтом. Уж пишет-то Рейн как раз сильно, честно, и умело – а до его личного мнения о себе читателю, и мне в частности, никакого дела нет.

Евгений Рейн. Имена мостов. Ленинград, 1984.

Есть полные люди, даже страдающие некоторой одышкой, способные к мгновенному преображению. Один жест или фраза – и облик такого человека исполняется неожиданной грации, в которой неуклюжесть тоже занимает свое неотъемлемое место. Таков, кстати, Евгений Рейн в жизни. Такова и его поэзия – на первый взгляд простая и будничная, при внимательном чтении – сердечная, точная и драматическая.

В провинциальном городе чужом,
Когда сидишь и куришь над рекою,
Прислушайся и погляди кругом –
Твоя печаль окупится с лихвою.

Доносятся гудки и голоса,
Собачий лай, напевы танцплощадки.
Не умирай. Доступны небеса
Без этого. И голова в порядке.

Это восьмистишие в книжке, правда, стоит особняком, потому что содержит прямую декларацию, ключик к более непосредственным стихам. А они – густые, весомые – создают порою иллюзию полного тождества с реальностью. Даже строчки так длинные, что набор выглядит почти прозой. Даже рифмы нарочито небрежны. Даже обилие существительных – то самое, говорил когда-то Рейн Бродскому, которое для стиха важнее всего, – создает картину, будто взятую «прямо из жизни». Длинные, с попарной рифмовкой строки вроде бы лишены каких бы то ни было поэтических ухищрений.

В этой старой квартире, где я жил так давно,
Провести три недели было мне суждено.
Средь зеркал ее мутных, непонятных картин,
Между битых амуров так и жил я один.
Газ отсвечивал тихо, чай на кухне кипел,
Заводил я пластинку, голос ангельский пел.
Изгибался он плавно, и стоял, и кружил:
А на третьем куплете я пластинку глушил.
И не ждал ничего я, ничего, ничего!..

Картинка передвижника? Вовсе нет. За простодушной наблюдательностью автора, присмотревшись, мы различаем

иной замысел. О нем, между прочим, сразу сообщает один из любимых приемов Рейна – щемящее прошедшее время, некий плюсквамперфектум, читай – прошедшее невозвратное. Хитрое ли дело – жил поэт один в большой квартире, пластинку слушал, однажды услышал ту же песенку по телефону и до сих пор не знает, кто ему звонил. Но, вчитавшись, видим мы в этой истории пронзительный контрапункт. Мутные зеркала и непонятные картины заставляют думать о разладе с самим собой и с миром, битые амуры – о любовной драме, а бесконечная, много раз на дню заводимая пластинка и ангельский голос, которому дают допеть только до третьего куплета, – прямо подводит нас к троекратному «ничего». И уже не удивляешься, читая в конце стихотворения горькое:

И, как прежде, пристрастна, как всегда, холодна,
Не хотела признаться и молчала она.

Власть над «прозаической» деталью доступна многим. Но одной наблюдательности для поэзии, конечно, мало: она не цель, но средство. Слишком часто ее избыток приводит к появлению стихов, напоминающих красивый, бугристый, поражающий приятной фактурой грецкий орех, который внутри, однако, либо пуст, либо содержит усохшие остатки собственно ядра. Потому-то и подкрепляет, например, Бродский свою «прозаичность» – парадоксом и замысловатой метафорой, Кублановский – мгновенными перелетами во времени и пространстве культуры, Чухонцев – виолончельной печалью. Подкладка и основа стихов Рейна – невеселая судьба человека незадачливого, которого жизнь мучает и учит своему собственному смыслу. Эти уроки, быть может, сводятся – после всех приключений реального героя в реальной стране – к романсу или чеховскому рассказу. Только ничего дурного в этом, ей-Богу, нет. Пропп насчитал 29 сюжетов волшебных сказок. Наша духовная жизнь, увы, также в конечном итоге сводится к весьма конечному числу сюжетов. Простота Рейна, эфирное, если угодно, содержание его стихов трогает за душу как раз потому, что замешано на густых отрубях реального мира. Вот – в сокращении – одно из самых замечательных стихотворений книги:

За улицу Герцена я жил и не платил
В Москве в холодном августе в трех комнатах один.

Что мог хозяин вывинтил, не завершил ремонт,
А сам уехал в Индию на медицинский фронт...

.....
Как жил я в этих комнатах, так не живу сейчас.
Там был букет, обмокнутый в большой цветастый таз.
Ты целовала сердце мне, любила, как могла.
За улицу Герцена уж обмерла Москва.
В оконных отражениях и в прорубях ворот
Мелькала жизнь, что грезилась на десять лет вперед.
За плотной занавескою, прикрывшей свет и тень,
уж притаился будничный, непоправимый день,
когда на этой улице под майский ветерок
мы разошлись, разъехались на запад и восток.
И на углу, где к Герцену выходит Огарев,
свою обиду вечную я высказать готов –
на то, что годы канули; пора бы знать нам честь,
а встретимся ли заново – Бог весть, Бог весть, Бог весть.

Романс на ту же тему уже написан Полонским, и строки из него вынесены в эпиграф: «В одной знакомой улице / Я помню старый дом...» Героиня Полонского шепчет: «Послушай, убежим! Мы будем птицы вольные, Забудем гордый свет... Где нет людей прощающих – Туда возврата нет...» Хорошие стихи, выдержанные в канонах поэтической благопристойности. Непоправимое прошлое в рейновском стихотворении – не преодолено. Оно до сих пор так же терзает поэта, как и много лет назад, а может, и больше. Иначе он, пожалуй, не запомнил бы «большого цветастого таза» и «контуров пропавших мебели» на обоях. Рана не зажила – по сей день «свою обиду вечную я высказать готов...» (курсив мой. – А. Т.). А кому из нас не знакома эта обида.

Так «прошедшее невозвратное» превращается в настоящее, воспоминания столь же реальны, как сегодняшний день. Ценитель отметит строчку «Как жил я в этих комнатах, так не живу сейчас» – употребление простодушного просторечия вроде «как сел, так и встал», или «как жил, так и умер» – внезапно и бесповоротно. Отметим он, вероятно, и строку «ты целовала сердце мне, любила, как могла» – стоящую целого эпизода из итальянского неореалистического фильма. Но мы говорим о времени и вечности, о реальности прошедшего.

В Павловском парке вечно стоит зима,
падает занавес, кончено синема.
Вот я вбегаю в последний пустой вагон,
лишь милицейский рядом поблескивает погон.
Сядь со мной рядом, бери, закури, дружок,
над Ленинградом кто-то пожар зажег
тусклого пламени – время сжигает все,
только на знамени Бог сохраняет все.

Завидно внешнее спокойствие поэта, непреходящее чувство собственного достоинства – и ровный пламень сильного чувства, горящий под этим ледком. В этом стихотворении речь о еще более далеком прошлом, чем в предыдущем, – а время употребляется настоящее.

Ты, моя пигалица, щебечущая кое-как,
вечный в словах пустяк, а в голове сквозняк.
Что ты там видишь за павловской пеленой –
будни и праздники, понедельничный выходной?
Ты, настороженный, рыжий, узлом завязавший шарф, –
что бы там ни было – ты справедлив и прав!
Смотрит в затылок твой пристально Аполлон,
ты уже вытянул свой золотой талон.

.....
Через столицы к окраинному шоссе
надо проститься. А ну подходите все!
Глянем на Павла, что палкой грозит, курнос.
Что-то пропало, но что-нибудь и нашлось!
Слезы, угрозы, разграбленные сердца,
прозы помарки и зимних цветов пыльца.
Чашечка кофе и аэрофлотский билет –
мы не увидимся, о, не надейтесь, нет!..

«Добрые слова, – обижается рецензент, старый товарищ автора, – нашлись у Рейна лишь для одного из нас, рыжего, который вытянул свой золотой талон. В этом-то и все дело – обожествление успеха...» Я – человек сторонний, мне-то все персонажи представляются описанными с одинаковой теплотой и любовью, а что до золотого талона – помилуйте, какой там у этого «рыжего» успех в те годы – навоз возить? Нет, не об успехе эти стихи, как и вообще весь Рейн – не об успехе. Это он кокетничает, когда пишет:

Что ж не стал я химиком,
химиком-механиком,
а хожу на кладбище
непутевым странником?

На самом деле он настолько уверен в себе и в своей музе, что отваживается на почти запрещенные в поэзии вещи – полное отсутствие образов, например. Поэтическая картина в таких случаях возникает Бог весть из чего. «Жил я когда-то на той стороне возле Фонтанки. Падал, вставал, повисал на ремне автоболтанки. А спохватился – чужая мигрень, тушь на подушке. Что я запомнил в последний свой день в той комнатушке? ... Вот и прошел с чемоданом квартал до паровоза. Все озирался, да слезы глотал – бедная проза».

Такая нарочитая «бедность» – не от скудости, а от искусственности. Ведь отказ, в конечном итоге, – тоже художественный прием. Потому не удивляешься такому на первый взгляд неожиданному признанию по отношению к Блоку:

О любовник из жгучих и лживых,
ты со мною, покуда живу,
в кабаках, в переулках, в извивах,
в электрическом сне наяву.

Намеренность этого отказа видна и в вариации на тему пастернаковского «Коробка с красным померанцем – моя каморка». Там, где у Пастернака бродягу-поэта «заземляет» женщина, где красный померанец цветет, – Рейн вновь вызывающе прозаичен. «На кухне кактус, в ванной свечка, бутылка томата, а на окне горит сердечко губной помады...» Зато и вместо пастернаковского хэппи-энда – угрожающее: «Теперь уже не откупиться добром и кровью. Осталось нам распорядиться своей любовью...»

«Имена мостов» – к сожалению, книга избранного, написанного на протяжении чуть ли не тридцати лет. Дат под стихами не стоит, и нелегко разобраться в том, куда шел – и идет сейчас – поэт. Можно только предполагать, что позже других были написаны тревожные стихи, в которых наблюдательной уравновешенности, спокойного прощального взгляда начинает не хватать для творчества. Где появляется призрак самой обыкновенной для романтического поэта расплаты.

Ненастья и безумия боялся я всегда,
безлюдья, полнолуния и влаги у виска.
Ах, осень беспощадная, наверно, ты близка,
скрипит крыльцо дощатое от мокрого песка...

Как нежданно-негаданно у такого светлого, чуждого бесовщине поэта вдруг

...входит кто-то маленький, в цилиндре и в плаще,
и смотрит бедной лакомкой на водку и вообще...

Наш старый знакомый – черный человек, привидение, смахивающее на покойника-Пушкина, тоже личность, которая стремилась все в жизни принимать с благодарностью – за что и расплатилась общеизвестным образом... Эта беспокойная нота, да еще неожиданно «комфортабельное» настроение заключительного стихотворения книжки («Как, земля, ты проста и строга, Рассудительна как и богата!») звучат некоторым диссонансом. Однако мы говорили о лейтмотиве книги. Об умении принимать жизнь такой, какая она есть, – будничной, прозаичной, исполненной трагического тайного смысла. Как подводит итог этому умению сам поэт:

И все-таки спасибо за все, за хлеб, за кров,
Тому, кто назначает нам пайку и судьбу,
Тому, кто обучает бесстыдству и стыду,
Кто учит нас терпенью и душу каменит,
Кто учит просто пенью и пенью аонид,
Тому, кто посылает нам дом или развал,
И дальше посылает белоголовый вал.

Алексей Татаринов

Ноябрь 1986, Нью-Йорк

РОМАН О БЕГСТВЕ

Джойс писал когда-то о себе, бедном искателе смысла в этом бессмысленном мире: «Ничего не понимаю ни в своей судьбе, ни в чужих судьбах». Нынешнее время потребовало от писателя такого четкого осознания и мира, и себя, и своего назначения в нем, что романтической безнадежности пришлось потесниться в дальний угол. В этом смысле писательское кредо Сергея Юрьенена полно смелости и категоричности: «Хочу быть писателем русской судьбы», – ибо русской литературе дана «всемирная отзывчивость» и ей исторически выпало защищать свое высшее созидающее начало. С. Юрьенен, один из наиболее талантливых прозаиков так называемого «послеоттепельного поколения», начал писать до эмиграции, и ему удалось еще на родине издать небольшую книжечку. Получивший первоначальный, но очень существенный опыт жизни во чреве тоталитарного государства, Юрьенен сумел переплавить этот опыт в вещество истинного искусства.

Начинавший как автор рефлексивно-пульсирующих, вырастающих из памяти отроческих чувств повестей и рассказов, писатель довольно неожиданно пришел к диктуемому временем жанру авантюрно-психологического романа, короткого, стремительно несущегося и поднимающего на своем гребне героя-супермена. Так был написан превосходно принятый на Западе «Вольный стрелок», близок к нему и появившийся недавно в русском, наконец, издании «Нарушитель границы». Роман направлен центростремительно, нацелен на героя, а по сути на самого автора и, как всегда у него, автобиографичен, ибо героем всех произведений Юрьенена является он сам. Здесь он носит имя – Алексей Спесивцев.

Начало действия – родной и самому писателю, но такой безжизненно-призрачный Ленинград, где с серебряной медалью закончена «общеобразовалка», но где для активно заряженного героя нет никакой возможности самовыражения. Вот почему вскоре после экзаменов он «соскочил на перрон Ленинградского вокзала Москвы», чтобы подавать заявление о приеме на первый курс филологического факультета МГУ.

Сергей Юрьенен. Нарушитель границы. Париж – Нью-Йорк, «Третья волна», 1986.

Спесивцев, кажется, недаром так назван. Он действительно «спесивый», «спесивится», дворянского рода, голубых кровей. Ненависть к советской власти всосана им если не с молоком матери, то от общения с надменной и умной бабушкой-аристократкой. Он лишен иллюзий, но четко знает свой путь: при всем отвращении к системе, по мере сил продержаться в стране, набраться впечатлений, опыта, творческих сил, чтобы потом, в готовом, так сказать, писательском качестве, найти любую возможность для побега за границу. Так и получится, что Алексей Спесивцев станет не кем иным, как нарушителем границы.

Итак, МГУ. Для большинства абитуриентов, как и вообще для нормально мыслящих людей, – храм науки, дворец на Ленинских горах. Для Спесивцева, человека «с ободранной кожей», – это чудовищный кафкианский чертог, точный архитектурный слепок с тоталитарного государства, безвкусный, громоздкий, нелепый, где вполне зэковские «зоны», «отсеки» и «секторы» опутаны барочными гирляндами и подпираются античными колоннами. А надо всем над этим – пятиконечная звезда в лавровом венке, эмблема заданного миропорядка и вечного триумфа над ним, над Спесивцевым. Но жизнь под этой звездой для него лишь форма небытия.

Рефлектирующий наш герой словно и живет и не живет в одной из ячеек этого гигантского улья. Вокруг него, почти его не касаясь, словно за толстыми стеклами, озабоченно кружатся трудолюбивые пчелки-студенты. Это толпа, которая все принимает всерьез и ничего не подвергает сомнению. Но именно они, с чистыми анкетами, без родственников за границей и отцов-ноноконформистов, добьются тепленьких местечек под крылышком Системы. А для таких, как Спесивцев, в ней места нет. Однако сюда, на уровень учебного заведения, некоторым из людей подобного сорта пробраться удалось.

Их мало, они эфемерны и в жизни, и в описании, странные, безликие тени, пытающиеся «восстановить сеть доверия». В толпе «незрячих» они ищут «своих», пробуют издавать рукописный подпольный журнальчик. Один из них, некто Журавлев, уныло твердит Спесивцеву: «Мы – в аду... Не в метафорическом, а в самом настоящем... Этой небытийной Системе необходимы призраки. Она вас обескровит – вы не почувствуете боли. Только потом спохватитесь, что были когда-то юны, чисты, добры. Что – были». Однако путь по-

добных идеалистов предрешен: арест, пересылка, этапы и медленное гниение за колючей проволокой ГУЛага.

Другой из этого ряда, ставший герою другом, но столь же призрачно очерченный, о котором известно лишь, что бывший золотой медалист из Сибири и носит «очки в пластмассовой оправе, мятый костюм и корейские полукеды», Ярик, все-таки пытается спастись и разрабатывает планы бегства. Первая попытка – под крышей экспресса «Москва – Брест – Париж» – не удастся, вторая – вплавь морем до турецкой границы – кончается гибелью.

Одна из центральных тем романа, тема бегства из чудовищной тоталитарной клетки, приобретает здесь онтологический характер необходимости: бегство как единственная возможность спасения и бегство как единственная цель существования. Эта тема начинает звучать уже на первых страницах романа, прорываясь из уст умирающей бабушки: «Беги из этого Некрополя...» Мечтами о побеге пронизано подсознание героя, которому снится, как он бежит, и его ловят, и бьют смертным боем, и он вырывается и выживает, «потому что бежал. Всегда».

Впрочем, простейшую и довольно банальную идею побега подает Спесивцеву случайно встреченная им туристка-голландка, которая, с ужасом оглядывая ленинградскую коммуналку, предлагает: «Я на тебе женюсь и увезу тебя отсюда, хочешь?» Под занавес эта идея и осуществляется, воплотившись в женитьбе на иностранной студентке, которая на собственном новеньком «фольксвагене» перевозит героя через финскую границу. Вот почему так просится горестно воскликнуть: «Бедный Ярик (почти что бедный Йорик), для чего тебе, бедному, нужны были трюки с недоступным поездом и побег вплавь до турецкой границы? Женился бы на иностранке – и дело с концом».

Женитьба женитьбой, однако в соответствии с законами жанра герой должен быть влюблен, возлюбленная по непредвиденно-таинственным обстоятельствам должна исчезнуть, а он, хочешь не хочешь, вынужден ее искать. И как ни наплевать Спесивцеву на всякого рода сантименты, тем не менее он пускается на поиски любимой девушки Дины, и эта поездка «в глубинку» позволяет ему вплотную разглядеть лицо страны. Существуют на земле люди, наделенные особым «внутрен-

ним» зрением. Оно болезненно обостряется в странах с ненормальным общественным устройством, где бытие как бы вывернуто наизнанку. Подавляющая масса жителей такого государства смотрит, но не видит. Это зрячие слепые. Но таково уж свойство обыкновенного человека адаптироваться к окружающей среде. Однако «сверхчувствительные» с жуткой отчетливостью видят ее уродство.

Перед Спесивцевым пустые полки магазинов, в разгар сезона ни овощей, ни фруктов. На поезда и самолеты садятся с бою, мест в гостиницах нет. И всюду жадно открытые, сосущие, пьющие алкоголь рты: звериную тоску надо как-то заглушить. Когда у Алеши спрашивают, пьет ли он, в ответе звучат ирония и злоба: «Конечно, пью. Разве я не сын своей страны?» Что-то странное и страшное предстает перед сознанием, краски сгущаются, и действительность приобретает сюрреалистическую окраску.

Телесным воплощением уродств Системы становится подселенный в комнату Спесивцева студент Цыппо. Вот уж поистине невообразимая помесь Квазимодо со Смердяковым! И никакой он не студент, а бывший убийца и нынешний гебешник, получивший задание следить за опасным «писакой», который тайком шлепает на своей «Колибри» что-то недозволенное. Цыппо буквально ошарашивает читателя своим моральным и физическим уродством. По всему лицу его расплзлось синюшно-бордовое пятно, от щуплого тельца исходит смердящий запах. Никакому Достоевскому не приснится рассказанный Цыппо эпизод детства: «При Сталине бабы из барачных наших на свалку эмбрионов выбрасывали. Закон ведь запрещал аборт. Раз, думаю, сварю эмбриошку... Взял и сварил».

Тут, что называется, ни прибавить, ни убавить. Но... характерная особенность романа: дотошно описывая прыщи и бородавки на лице тоталитарного государства, автор держится отстраненно и отчужденно. Его альтер эго Спесивцев, словно пришелец с иных миров, скользит вдоль жизни, оценивая ее надменно и со стороны: «Этот век подорвал их генофонд, ежегодно, по статистике, прибывают сотни тысяч новорожденных дебилов». Так «всему посторонний, кроме себя одного», герой искусственно вычленил себя из советского, пусть и больного, пусть и уродливого, но все-таки мира живых и страдающих людей и укрылся в удобной позиции «зоологического индивидуализма».

А между прочим, уж не такой он, этот мир, никудашный и конченный. Сам же автор опровергает собственную версию, описывая в главе «Хороним „Оттепель“» похороны Эренбурга. Он сам когда-то на них присутствовал и описал с присущей его памяти фотографической зоркостью все детали события. Окружавшая его толпа была отнюдь не сборищем дебилов или роботов тоталитарного государства. Эти люди, подобно, кстати, ему самому, рисковали и *не боялись*. А ведь их окружала железная гебистская цепь. И насколько смелы раздающиеся в толпе выкрики: «Им приказано, они выполняют. Сила есть – ума не надо... А чего им стыдиться? Они в своей стране! В стране рабов, стране господ, прав Лермонтов! Вам не стыдно за свою страну, ефрейтор?»

Есть в книге и еще один эпизод, переданный заинтересованно и чутко, с личным пристрастием к описываемому. Речь идет о пребывании заболевшего язвой желудка Спесивцева в одной из московских больниц. Вот уж воистину островок живой жизни в царстве полуживых и калечных! Представшим пред лицом смерти людям уже нечего бояться. И, говоря правду, став самими собой, они преображаются. «Здесь, в процедурной, перед сортиром, ничего не боялись... стукачей среди замученных хроников не было». И там отстраненно-надменный Алеша Спесивцев впервые оказался свободным, спокойным и даже веселым человеком.

В заключение следовало бы обратить внимание на «сексуальную» сторону романа, потому что эта сторона отнюдь не случайность в творчестве Юрьенена, а чрезвычайно направленная, принципиальная позиция. В интервью журналу «Стрелец» свой «эротизм» он объясняет тем, что его поколение «сексуальность свою осознало» и что «сон, точнее полная отключенность разума в сексе ... порождает чудовищные недоразумения». Как бы то ни было, эротизм поддает огня и без того напряженной юрьененовской прозе. Ломая всякие барьеры и перегородки в «целомудренном» русском языке, автор с точной обнаженностью рисует эротические сцены, заставляя гореть и сгорать «огнем желанья» и самого героя, и многих встреченных им на пути женщин. Под конец наш новый Дон Жуан, кажется, даже устал, и у читателя создается впечатление, что он и сам не знает, как спастись от настигающих его сладострастниц.

Итак, Сергей Юрьенен постарался выполнить свою задачу обнажения советской действительности, выговорить,

как он выражается, «тридцать лет намолчанного опыта». Он написал роман о бегстве, и тут, на Западе, вдруг обнаружил, что никуда убежать ему не удалось: тоталитарное сознание вполне успешно расползается по всей планете. И теперь писателя мучит жажда выкричать свой новый западный опыт. Но это уже тема новой статьи.

Майя Муравник

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АПОКАЛИПСИС

Повесть «Плакун-город» написана в Москве в 1975 году. Повесть «Шесть сонмов» создавалась лет через восемь после первой, место написания не указано. Имя автора повестей Александра Суслова читателю незнакомо, и никаких сведений о нем редакция не дает. Не исключено, что теперь он живет на Западе. Обе повести фантазмагоричны, хотя «Шесть сонмов» несколько более выдержана в реалистически-бытовом ключе. Общая идея – апокалипсический характер наступивших ныне в России времен и обличение власти Нечистого, то есть советской власти. «Шесть сонмов» так и заканчиваются выдержкой из «Апокалипсиса»: «И ГРАД ВЕЛИЧИНОЙ В ТАЛАНТ ПАЛ С НЕБА НА ЛЮДЕЙ, И ХУЛИЛИ ЛЮДИ БОГА ЗА ЯЗВЫ ТЕ, ПОТОМУ ЧТО ЯЗВЫ ОТ НЕГО БЫЛИ ТЯЖКИЕ».

За основу берется история заурядной московской семьи Коротковых – Федора Ивановича, Евгении Михайловны, их сына Юры и невестки Марины, – которые ютятся в крошечной квартирке из двух комнат. Прослеживается обычный для советского быта конфликт молодых и стариков, которые никак не могут ужиться друг с другом. Старший сын Денис присматривается к событиям, выжидая удобного момента, чтобы занять жилплощадь, что в конце концов и происходит, ибо старик умирает, свекровь сажают за ложные показания, а Юра с Мариной собираются эмигрировать.

Александр Суслов. Шесть сонмов. Плакун-город. Анн Арбор, Ардис, 1986.

Жилищный вопрос, кстати, ставится в обеих повестях во главу угла, да это и не случайно, ибо в условиях советской действительности это вопрос кардинальный, решающий зачастую поступки и судьбы людей. У Евгении Михайловны, к примеру, мания, что невестка Марина выгонит их всех, а сама поселится в квартире с любовником. В «Плакун-городе» один из многочисленных персонажей повести Борька теряет работу и комнату за то, что отказался ехать в колхоз убирать картошку. Общее мнение выражают соседи: «А что, жилплощадь первое дело... Люди что, какая с них польза? За прописку женятся, пишут доносы, за комнату убивают». Эти самые доносы, слежка и выбрасывание ни в чем не повинных людей на улицу и становятся материалом повестей. «Шесть сонмов» приобретает даже несколько детективный характер: свекровь прослеживает, куда ходит невестка Марина, нагнетает на нее, готовящуюся к родам, всякие страхи и старается спровоцировать сумасшествие. Собранные данные старуха аккуратно приносит в психдиспансер, чтобы невестку посадили в психушку. К счастью, в дело вмешивается вышедший на пенсию участковый Василий Парфенович, который сам ведет слежку за свекровью, и негодайку арестовывают.

Если это и детектив, то довольно слабый. К нему примешивается другой, связанный с попавшим под поезд человеком и его невольным убийцей машинистом Прохором Ивановичем. Дело запутывается, окрашивается в мистические тона. Машинист уверен, что он убил именно Короткова Федора Ивановича, и отныне тень покойника постоянно сидит возле его кровати. Муки совести настолько преобразуют человека, что он становится носителем евангельской истины: когда машиниста ведут в тюрьму, «с его спины во все стороны светило: покаяйтесь, ибо приблизилось Царствие небесное». Однако оказывается, что Федор Иванович жив и здоров, а Прохора Ивановича мучает тень его двойника. Однако автору и этого мало, и он «поддает» мистического жару, показывая, что Федор Иванович стоит на *своей* панихиде. Не дремлет и неугомонный Василий Парфенович, осуществляя вторую слежку. Он доказывает, что машинист специально, с какими-то определенными целями убил собственного брата Николая.

Как видим, детективный сюжет построен довольно беспомощно. Но это было бы еще терпимо, если бы повесть (и это с еще большим основанием относится к «Плакун-городу»)

была выдержана на хорошем писательском уровне. Дурной вкус губит все самые лучшие начинания автора, в том числе замечательную идею обоих произведений. Возможно, для подчеркивания апокалипсического характера событий А. Сулову потребовался некий специфический дух мертвечины, однако бесконечные мертвецы и убийства не дали возвышенного, библейского ощущения конца времен. Вместо этого не оставляет ощущение надрыва и нарочитости. В повести не реет дух Смерти, а непрерывно мелькают картины тяжело и аляповато обрисованных убийств и смертей. В «Шести сонмах», кстати, оттенок несколько смягчается. Здесь лишь показывается, как в роддоме, где рожала Марина, нянька поджигает и никак не может сжечь ее мертворожденного ребенка, потом убийство на железнодорожных путях и над грудой раздавленных костей чудище «локомотива с безумно горящим прожектором». А потом и сам машинист, вообразив, что все грехи раздавленного перешли на него, самодельным ножом режет вены в тюремной камере. Мечется в повести несчастная Марина, нечто призракообразное, истерзанное страхами и горем неудачных родов. И вот видит она, что не свекровь уже ждет ее смерти, а непонятно откуда взявшийся «мцырь медный со странным иконным (!) гвоздем во лбу». Но это еще не все: у свекра Федора Ивановича был, оказывается, сын от первого брака, Алеша, существо забитое, потерянное, жертва постоянных насмешек своих товарищей. В довершение ко всему, находясь на военной службе, он отмораживает руки и лишается всех пальцев. Беспалый Алеша вдруг решает посетить дом никогда им не виденного отца. И что же?! Навстречу ему по лестнице несут гроб, в котором лежит отец, а рядом в черном спускается Марина, которая, как казалось Алеше, любила его, но теперь выступала в качестве жены неродного брата Юры. Весь этот узел противоречий разрубается привычным для автор путем – смертью: беспалый Алеша повесился у себя в комнате.

Однако все это ни в какое сравнение не идет с нагнетанием смерти и ужаса в «Плакун-городе». Произведение, в отличие от «Шести сонмов», целиком задумано как фантазмагорическое, призванное в иносказательной форме передать наступивший в Москве конец света. Там мертвые восстают из могил и смердящими жуткими толпами бродят по улицам и площадям. Советская власть представлена в виде Нечистого в крас-

ной рубахе, который убивает людей, разгрызая им кости и выпивая кровь. Натуралистические сцены, одна другой страшнее, но и оттого, как ни парадоксально, смешнее, следуют одна за другой: «Тускло освещивают грани золотого креста... Посреди церкви ее жених мертвеца ест». Речь идет о некоей красавице Марусе, одной из сонма (употребим здесь это слово, которое настолько полюбилось автору, что он ввел его в заглавие повести) безликих персонажей, населяющих «Плакун-город». Нечистый убивает отца Маруси, потом ее мать. И, наконец, сама Маруся становится его жертвой: «Как ножом, губы ее резали, и холод клыка в сердце спускался... Рот – рана сплошная – сухой коркой запекся, и щека одна насквозь прокушена – зубы блестят». Да... Меркнет гоголевский «Вий» перед такими подробностями.

С этим нагромождением ужасов связана бесспорно и беспомощность стиля, авторского языка, который составляет художественную ткань произведения. Александр Суслов пишет истрепанным писательским штампом, от которого давно стали шараться, зная, что это плохо, самые неопытные, самые неискушенные авторы. Но у Суслова «русские дали... горем полны до краев», «героини трясутся от рыданий», «праздники смеются» (словно недостаточно было безвкусно смеявшегося моря у Горького), «черная трещина веревки воздух синий колет», «сукровицей из раны сочится мертвенный свет» и т. д. и т. п. Герой «Шести сонмов» Юра Коротков, один из наиболее симпатичных автору, чистый душою, мечущийся в поисках выхода, выражает свое кредо самой банальной фразой, которую можно придумать: «Знаешь, у меня иногда такая тоска, не по свободе... а просто по красивым людям, умеющим достойно жить». Ему вторит самоубийца-машинист: «Все мы во всем виноваты!»

Удручающая слабость стиля тем более досадна, что автор пытается раскрыть огромной важности тему – гибельность советской власти для людей, которых она поработила, неисчислимые страдания и беды, которые она несет и будет еще нести миллионам.

В этом смысле лучшим фрагментом повести «Плакун-город» оказались выдержки из реальных писем трудящихся, обращенных к советскому правительству: «... где те партийные, про которых в книжках пишут. Поняла я, нет их – подлецы одни». Автор этого письма бабка Осипова Алек-

сандра Константиновна подвергалась вполне естественным для советской реальности издевательствам, и автор в целом убедительно показывает, как все из-за той же проклятой жилплощади одинокую старуху, мужа и сына которой убили на фронте, соседи с помощью милиционера избивают и выбрасывают на улицу, ее судят и отправляют в тюрьму. Горе одинокой старухи перерастает в символ народного горя, когда уже не женщина бездомная бродит по городу, на вокзалы просятся, а Беда растет, Беда «стеной поднимается».

Пафос этих строк, к сожалению, стирается не к месту возникшей, прямолинейно, в лоб выраженной претензией к советским писателям, в которой звучит наивная личная раздраженность. Дело в том, что письмо прочел один из них, счел, что оно написано сумасшедшей, и «успокоилась чуткая к бедам народным писательская совесть, отправился обедать писатель в Дубовый зал писательского ресторана». Дубовый этот зал не дает автору покоя. В самый разгар событий, когда Знамение встало над городом и, согласно Апокалипсису, мертвецы вышли из своих могил, стены зданий закачались, и некий Фомка (персонаж, неведомо откуда появившийся) полез спастись на крышу писательского особняка, где сгрудились перепуганные писатели. Как и следовало ожидать, они передрались, и конец света застал их рухнувшими все в тот же Дубовый зал писательского ресторана. Поневоле вспомнилось блистательное булгаковское описание дьявольской вакханалии, учиненной бесами в Доме Грибоедова, где в ужасе дрожали и метались ненавистные автору «Мастера и Маргариты» продажные писаки.

«Плакун-город» кончается пессимистически. По замыслу автора, когда перед концом времен страшной смертью умирают мучившие народ генералы, аппаратчики и следователи, некий сторож замышляет спилить Звезду с самого высокого здания города, ибо пока звезда Нечистого «небо огнем выжигает, – не спастись никому...» И старику почти удалась его затея – подпиленная махина готова свалиться и рухнуть, но... появился Нечистый в красной рубахе и зло усмехнулся: «Не трудись, старик, пока люди есть – будут фронты... будут победы. И Я – буду».

Мысль справедливая и, должно быть, выношенная писателем, ибо действительно – советская власть крепка постоянной агрессией и военными победами. А какой кровью они

даются, никого не интересует. Нечистый, как ни странно, в такой ситуации оказался силен *людьми*. Истекая кровью, они кормят вампира, и в этом словно заложено мучительное дьявольское выражение Системы. Это магический клубок, таинственная загадка существующего ныне в СССР режима, который изживает себя, лишь сживая со свету людей.

Как бы там ни было, выношенную идею надо уметь воплотить. К сожалению, на наш взгляд, это воплощение не состоялось.

Р. Франкон

ЖАРЕННЫЕ РОЗЫ ЕЛЕНЫ ШВАРЦ

Когда мы прогуливались однажды вдоль Невы, она спросила, каким я вижу цвет рostrальных колонн на Стрелке Васильевского острова. Я сказал, что, наверное, цвета терракоты, или, возможно, бледно-мясного... И тут же был сражен ее ответом: «Цвета жареных роз».

– Жареных роз?.. Кому же придет в голову жарить розы? – заметался я внутренне. Вспомнил нехстати о «сталинском» варенье из грецких орехов, и тут же в мыслях себе объяснил, «кому»:

– Конечно, поэту. Поэтессе. Но – декадентке. Так она выжаривает из роз их красоту. Так, вычурно унижая классический образ, она все-таки возвращает его поэзии. Да, но в каком виде? Да, но...

По-своему тоже фрондировал Георгий Иванов, когда он, налюбовавшись розой, выбрасывал ее в помойное ведро. Тогда, в 20-х, 30-х, культ этого цветка, в сущности вечный, слишком недалеко ушел от своего апогея 10-х годов.

Насколько же примечательна эта деградация розы сейчас, для наших 70-х, а вот уже и кончающихся 80-х!

В книгу Елены Шварц «Танцующий Давид» этот образ не вошел, но он кажется мне ключом, потому что открывает многое – возможно, самое важное в сборнике: и прихотливость ее

Елена Шварц. Танцующий Давид. Нью-Йорк, «Руссика», 1986.

стилистических причуд, но и живой ожог души, остро осознающей грязь, боль и кровь своего существования.

Такое сталкивание несходного дергает за самый нерв ее стиха, заставляет рвать образность, перебивает мысль и далее ведет к нежному выборматыванию грубостей или запальчивых нелепиц – словом, ко всему, что дыбит и будоражит классику...

Ритмически стиль ее без-инерционен: он держит метрический размер лишь постольку-поскольку и сменяет его за такт до того, как он становится монотонным. И уже в этом – ее отличие от Олейникова и Введенского, у которых смена ритма сама становится инерцией.

Конечно, можно сказать, что это – типичная ленинградская ветвь петербургской школы: есть гранулы акмеизма (где-то даже мелькает ахматовская беличья шкурка), а перекосы ритмов, перескоки образов и эдакая – руки в боки – самопародийность выдают изначальное обэриутство.

Но как же она далека от такой схемы!

Когда-то я пытался определить черты большого стиля, который бы соответствовал нашему времени; расспрашивал многих... И вот М. М. Шварцман, мудрец и художник, а впоследствии большой поклонник поэзии Шварц, дал такой теоретический рецепт (со всеми оговорками на условность определения и бесстильность эпохи): это – «смесь Хлебникова с Гильгамешем».

Теперь я гадаю: случайно ли Михаил Матвеевич, еще не зная поэзии Елены, столь крупно обозначил ее стиль или же он слегка лукавил, делая вид, что не знает...

Но, думается, даже и в этом случае мастер оказался на высоте. Действительно, не обэриуты, а Хлебников... У тех – маски графоманиаков, убийственные пародии на абсурд эпохи, а Хлебников – серьезен. И Елена Шварц тоже серьезна (по крайней мере к себе), хотя у нее и:

... меж туч клубился орган половой.

Но принадлежал он, однако, Давиду Бурлюку и смысл имел скорее утрашающий, чем шутовской. Не могу здесь удержаться от аллюзии: ведь и у раннего Пастернака был свой «Близнец в тучах»...

А Гильгамеш, если и имеет какое-то отношение к Шварц, то, конечно, не глиняной монументальностью, а чем-то иным. Такими свойствами могут быть, скажем, а-логичность следствий, ино-причинность, даже некая «антропологическая» объективность образных ходов, которые и в самом деле могут роднить шумерский эпос и творчество современной нео-декадентки. (Замечу, что «декадентку» я вовсе не осуждаю, а этим словом пользуюсь лишь терминологически...)

Беру из книги наугад:

В тебе тамбовский ветер матерится
и окает, и цокает Нева.

Хотя Нева – и не Вологда, и не Волга, а я – не защитник приблизительности образа, но есть тут нечто, напоминающее тяжелые хрипы и охи искомого стиля.

Нет, все-таки не Гильгамеш, а скорее – поздний Осип Эмильевич! Ведь он, действительно, создал великий стиль эпохи. Ведь и у него есть смысловые переносы:

И шинель прокричала сырая...

И – сознательные ошибки, например:

Богиня моря грозная Афина,

что, конечно, лишь эллипс, пауза между слов, в которую прячется вся «Одиссея».

К тому же воронежский, агонизирующий Мандельштам сильно шагнул к Хлебникову; в его стихах уже лопались ритмические и образные связи, но их звенья еще не развалились полностью, как у того. Уместно ли при этом заметить, что наша поэтесса, в ее собственных, конечно, перспективах, как бы ушла значительно дальше по пути от несравненного Осипа к неподражаемому Велимиру?

Но у двух великанов русской поэзии, эллина и варвара, не было ни на гран декадентства, чего (опять же не в укор будет сказано) предостаточно у Елены.

Да, много в ее стихах потустороннего, хотя и не всегда таинственно-мистического:

Вот стою перед Богом в тоске
и свой череп держу в дрожащей руке –
Боже, что мне с ним делать?
В глазницы ли плюнуть?
Вино ли налить?
Или снова на шею надеть и носить?

Так пишет она в одном из лучших стихотворений сборника, в «Элегии» на рентгеновский снимок своего черепа.

Странное «Плаванье» по Стиксу затевает она с разноязычными компаньонами, которых объединяет лишь то обстоятельство, что они все – мертвецы.

...Сколько лодок, сколько утлых кружится вокруг,
и в одной тебя я вижу, утонувший старый друг.
И котенок мой убитый на плечо мне прыгнул вдруг.

Как тут не вспомнить «Форель, разбивающую лед»:

Художник утонувший
топочет каблучком,
за ним гусарский мальчик
с простреленным виском.

Но «Плаванье» в целом следует не Мих. Кузмину, а скорей тягучим и леденящим кино-сновидениям Бергмана, где душа, витая вне тела, видит себя как бы отраженной в потустороннем.

Вот и в «Бестелесном сладострастии» поэтесса подслушивает, как шепчутся между собой останки средневековой королевской четы, Дагобера и Нантильды, которых выбрасывает из могилы осатанелая парижская чернь – прямо в негашеную известь. Попутно отмечу, что это изумительное стихотворение построено как музыкальная пьеса: с мелодическим дуэтом и контрастирующим хором:

Моя пыль так любила твою!
...Но что за чудо Дагобер,
вижу я твое лицо.
На руке твоей нетленной
обручальное кольцо!

О, Нантильда-Дагобер!
Дагобер-Нантильда!
ГОЛОС: Извести не жалейте! Сыпьте! Сыпьте!

Конечно, эротика, да еще и загробная – это излюбленной темой для декадентов, но стихотворение спасает (и даже делает своего рода шедевром) неожиданно ворвавшаяся футуристическая грубость. Интересно сравнить эти стихи с другими, тоже эротическими, но посюсторонними – «Хоррор эротикус». Вообще в книге все психологическое вытеснено подсознательным, но здесь грубость сменяется просто ужасом перед сексуальным партнером, который:

Целует, наклонясь, пупок,
потом с улыбкой ломаной и нежной
он автомат прилаживает к паху
и нажимает спусковой крючок.

Не удивительно, что в конце концов ею выбирается идеальный любовник – не только потусторонний, но еще и литературный, а именно: римский поэт Проперций, воспевший некую своенравную Кинфию! И вот Елена Шварц, спустя два тысячелетия, несет живой ответ на его монолог – ответ от имени его возлюбленной, а по существу просто перевоплощаясь в нее. Этим остроумным приемом она создает, может быть, самый блестящий цикл, как бы книгу в книге, – «Кинфию».

В принципе, это не ново, и именно декаденты изощрялись в воспроизведении различных стилевых эпох: куртуазных, либо античных.

В «Кинфии» определенно есть элементы стилизации, при этом весьма значительные. Прежде всего – имена персонажей, соответствующие эпохе, что немаловажно... Их, конечно, легко набрать у античных авторов, но и тут надо быть внимательным. Скажем, имя «Кинфия» звучит скорее по-гречески, откуда оно и пришло в Древний Рим, но латинянин мог бы его произнести как «Цинтия».

Септим, Клавдия, Купидон, Амур – все правильно... А вот опять неточность: Дионис. В Риме его называли Вакх.

Но я не хочу придираться: ведь приблизительность – это тоже прием. А если мы прислушаемся к ритмам всего цикла, то определим, что и здесь поэтесса приблизительно верно вос-

производит античную метрику: гекзаметры, сапфический размер и дактили перемежаются у нее свободным стихом либо ритмическими сбоями, которые великолепно взбадривают классическую монотонность.

Ливень льет с утра –
ледяными хлыстами
Рим сечет, как раба,
пойманного в воровстве.

.....
Все верещит попугай,
жалкого жалкий подарок.
Задуши его быстро, рабыня.
Тельце зеленое после в слезах поплывет,
Буду тебя проклинять, но сейчас
задуши поскорее.

Как видно даже из этого отрывка, не только ритмы, а и реалии и речевые образчики (вплоть до причудливых инверсий) подобраны Еленой Шварц как нельзя лучше, чтобы стилизовать эпоху. Но поэтесса воспроизводит и нравы, и атмосферу... Я бы сказал, что этим она передает стиль (оживляя его в женской ипостаси) не столько меланхолического Проперция, сколько желчного и взрывчатого Катулла, который ей ближе по темпераменту.

Сказанного достаточно, чтобы приравнять весь цикл «Александрийским песням» Мих. Кузмина, но я ставлю эти работы наравне еще и потому, что оба автора вложили в них, зашифровав, опыты собственных, действительных или мнимых, походов и биографий, как бы опрокинув их в иную эпоху.

И, значит, это – более, чем стилизация.

Возьмем из «Кинфии» 2-ю часть: «Снова сунулся отец с поученьем...» Вот каков ответ надоедному папочке:

Говорю я рабам – немедля
киньте дурака в бассейн...
...Некормленным муренам на съеденье
ты пойдешь, развратник и ханжа.

И в следующей, 3-й части «К служанке» нежнейшая и чувствительнейшая Кинфия бурно гневается на рабыню за то, что та:

...наступила прямо мне на – тень –
на голову, а после на предплечье.

Все эти фобии и негодующие вибрации «Кинфии» проятся быть объясненными в их собственных признаках. Что ж, вот мое объяснение: зверька своего подсознания поэтесса делает душою героини, отсюда такая живость, такая убедительность ее свирепых фантазий.

3-й раздел книги Елены Шварц, содержащий «Кинфию» и «Элегии» (с посвящением одной из них, превосходной, – М. М. Шварцману), заканчивается авторским послесловием, что представляется мне досадным дефектом сборника, поскольку далее следует еще и 4-й раздел. Так нельзя: ложная концовка расхолаживает читателя. Тем не менее, стихи последнего раздела в оплошности составителя не виновны и сами по себе находятся на высоте, а некоторые – так просто великолепны.

Многие населены мелкими чудовищами, вроде болтающегося на нитке глаза (Редон?) или каких-то хьюмби, и поэтесса их вечно наказывает: то колет булавками, то кропит кислотой. Но это, впрочем, больше не добавляет аргументов к уже затронутой теме: декадентство и футуризм в поэзии Елены Шварц.

Что гораздо более существенно – это стихи на религиозные темы, потому что они и есть пробный оселок авторского дара; ведь добронамеренные, но словесно дохлые стихи проваливаются точно так же, как и, наоборот, неоновояркие, но несущие псевдодуховность.

Религиозные стихи Шварц не принадлежат ни к тому, ни к другому виду – их духовность, действительно, как свеча на ветру, мечется от темноты к свету. Их проще разделить тематически: на Ново- и Ветхозаветные.

Вот – Новозаветная по сюжету поэма: «Черная Пасха». «Черная» – не потому ли, что «Шварц»? Или это – свечу задудло? Она, героиня, мучается с похмелья, но тянется к Церкви; ходит; кажется, причащается Св. Таинствам. Он (муж) не признает «ничего такого», и ревнует:

Вот пьяный муж
булыжником ввалился
и, дик и дюж
заматерился.

Он весь, как Божия гроза.
«Где ты была? С кем ты пила?
Зачем блестят твои глаза
и водкой пахнет?»
И кулаком промежду глаз
как жажнет.

Увы, здесь уже никакого декадентства, чистый реализм (плюс пародия на пушкинскую «Полтаву»). Но, странное дело, истинный противовес сырой жизненной грубости, Церковь с ее вечными ценностями, предстоит в поэме плоско и поверхностно. Например:

Священник, щука золотая,
багровым промелькнул плечом...

Но это никак не напоминает Пасхальной заутрени! При чем тут хищность, зубастость? К тому же и золотое одеяние исключено во время великопостной службы. А сама церковь? Она выглядит, как:

...золотозубый рот кита-миллионера.

Ну, нет!

В отличие от евангельских, ветхозаветные темы звучат у Шварц куда свежей и мажорней!

Возьмем хотя бы Царя Давида (или это – Давид Бурлюк?), пляшущего перед ковчегом Завета, – она, Елена Шварц, в это мгновение с ним вместе. И у нее, как у Давида:

...выламываются руки, а голова
летает из левой в правую ладонь.

В такой экстатический момент мы можем ее оставить.

Репутация маленького ночного чудовища, оккультной феи мешает ей печататься в Советском Союзе.

Насколько мне известно, ее чуть ли не первая, очень краткая публикация появилась в литературно-художественном сборнике «Круг», который вышел в свет в Ленинграде (где и живет наша поэтесса) в 1985 году, после многолетнего ожидания. На Западе до выхода в «Руссике» рецензируемой книги

было значительно больше ее публикаций, но и они не давали представления об этом, несомненно, очень крупном и подлинном явлении современной поэзии – Елене Шварц.

А с выходом книги это становится все яснее.

Дмитрий Бобышев

Жюри конкурса Даля, собравшись 18-го декабря 1986 г. по рассмотрению ряда рукописей и недавно вышедших книг, единогласно решило выдать приз за 1986 г. критическому очерку Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского» (появившемуся в 1985 г. в Мюнхене, в изд. «Страна и Мир»).

* *
*

Открыт прием рукописей на 1987 г. Рукописи – романы, повести, эссе (за исключением стихов), просим присылать на адрес

CONCOURS DAHL
с/о Les Editeurs Réunis
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
75005 PARIS

вплоть до 1-го октября 1987 г. Жюри сохраняет за собой право премировать и первую книгу малоизвестного автора, вышедшую не позже чем за год до объявления конкурса.

Председатель жюри: Виктор Некрасов.

Члены жюри:

Ирина Иловайская, Михаил Геллер,
Жорж Нива, Никита Струве.

Коротко о книгах

«АВТОР ВСЕХ МОИХ ПЕСЕНОК – ЖИЗНЬ...»

О новых стихах Рины Левинзон

Рина Левинзон – поэт камерный. Ее непритязательные и очень женские стихи – из тех, которые наиболее естественно звучат в аудитории, быть может, из десяти-двенадцати человек, точь-в-точь как камерная – то есть комнатная, у-каминная, пользуясь цветаевским словообразованием, музыка. Характеристика эта, разумеется, безоценочная – в конце концов, по-хорошему камерными поэтами были и Фет, и Анненский, и ранняя Ахматова. Одна из хитростей поэзии – как, впрочем, и самой жизни – в ее нелинейности. Не так уж редки стихотворцы, надрывающие голос на всех площадях мира, и не вызывающие у слушателя ровным счетом ничего, кроме подспудного раздражения. Не так уж редки и поэты «тишайшие», которые спокойно и ненавязчиво нижут обыкновенные слова, не играя никого, кроме самих себя, – и тем самым подкупают читателя или слушателя. Таким поэтам идут на пользу даже издержки их ремесла – встречая в книге неудачные, но честные стихи, мы исполняем доверия к автору, поскольку видим, что не боги обжигают горшки и что даже самая простая гармония постигается кровью и потом.

Так что же это такое – камерный поэт? Это поэт, как правило, малой формы. Без претензий на решение мировых вопросов. Поэт четко взвешенного темперамента (который, правда, иной раз оборачивается тем самым тихим омутом, в котором водятся враги рода человеческого). Поэт, для которого движения собственной души важнее внешних обстоятельств.

Кажется, этот набор определений сходится и с понятием о поэте лирическом. Тем лучше. Сходится он и с тем главным, что можно сказать о стихах Рины Левинзон. Лирик есть играющий на лире, творчество его сродни песне. И действительно, в «Отсутствии осени» мы читаем:

Ах, как музыка кружит. Кружись
надо мною подольше.
Автор всех моих песенок – жизнь,
и не больше.

Песенки. Ну-с, смирение это, разумеется, паче гордости. Надо обладать полной уверенностью в себе и в собственном призвании, чтобы жизнь записать в авторы этих «песенок», да и к тому же, по логике вещей, что же на свете больше или выше жизни? Таков подтекст этих кажущихся такими простыми и даже самоуничижительными строчек. Говоря более человеческим языком, в стихах Рины Левинзон – особенно когда читаешь их внимательно и в большом количестве – постепенно обнаруживается хорошая глубина – не океанская и не космическая, но – глубина, та самая, которая превращает писателя в поэта. Хотя, повторю, их мелодия неизменно остается такой же скромной, пастушеской, клавишинной:

Ах, что там – просто руки, губы,
зеленый август, пруд, весло,
вели серебряные трубы одну
мелодию всего...

Мелодия – одна, мелодия – простая. Трубы, однако, серебряные. Нехитрое дело – жить, беспокоиться, страдать. Хитрее – создать из этого картину мира и принять ее, принять с обаятельной женской мудростью.

И в этом нет особой правоты,
Печальное объятие – и в дорогу.
Мы просто оба живы – я и ты.
И слава Богу, милый, слава Богу...

Самоуспокоенность? Не дай Бог нам с вами, читатель, такой самоуспокоенности – как на привале перед трудным путем. Речь просто о способности ценить минутное счастье, выпадающее почти случайно, после одного испытания, накануне другого.

Позвякивает жесьь,
в ведре с водою – ковшик.
Пусть будет все, как есть,
лишь не было бы горше...

Голос поэта приглушен – она как бы боится спугнуть читателя, и даже в самых, казалось бы, «выгодных» случаях не срывается на крик – лишь приглашает разделить свою печаль или тихую радость. Не забудем, что оснований для нытья у Рины Левинзон могло бы оказаться

предостаточно – но она почти неизменно держит себя в руках. Как в лучшем, на мой взгляд, стихотворении из «Отсутствия осени»:

Ветры дули, и зимы пугали,
Не сложился разорванный круг.
Люся-Люсенька, Галочка-Галя,
Имена моих русских подруг.

Все там было печальней и глуше,
Но твержу, как молитву, и здесь:
Майя-Майечка, Валя-Валюша,
Отзовитесь, пошлите мне весть.

Лебединые ветры уплыли,
Дружбу вновь заводите недосуг.
Люба-Любушка, Лиличка-Лиля,
Имена моих русских подруг...

Между прочим, замечательного этого стихотворения вполне достаточно, чтобы искупить значительную часть прискорбной юдо- и русофобии, в которую в эмиграции кое-кто ударился с усердием, достойным куда лучшего применения. Но Рина – не эмигрант, и слава Богу. Воспоминания и переживания «о родинах двух» занимают у нее чисто символическое место – не большее, чем положено занимать воспоминаниям о прошлом, без специфической «эмигрантщины» – то бишь перепевов собственного комплекса неполноценности под выигрышный географически-политический аккомпанемент. Да и к чему, в самом деле, предъявлять претензии к мирозданию, если оно – есть, и если чувствуешь благодарность за его сиюминутную осязаемость.

Две форели в прозрачной реке,
Ты, к моей прижимаясь руке,
Я всем телом к тебе – не исчезни! –
Вот и берег невдалеке.

Сколько вместе нам плыть и плутать...
Ах, не все ли равно? Благодать.
В этой близости век коротать,
Глубины не бояться и бездны.

А ведь и впрямь – не боится. Даже «берега» не боится, который в этом стихотворении означает не радостный конец скитаниям, как в традиции, а нечто совсем иное – это ведь для форели берег, для рыбы. Любопытен и симпатичен этот страх перед высокими словами – действительно, в лучших стихотворениях книги их совершенно нет, они затушеваны и снижены, как этот «берег», поставленный вместо привычных смерти и разлуки. Эта скромность пришла к поэту не сразу – в ранних стихах она то и дело становилась на котурны, провозглашая иной раз, что всюду она «подлежала смерти и погрому», а иной – что «поэтов в мире меньше, чем солдат». И той отточенной тонкости, той негромкой музыки – в этих строках, конечно, нет. Но оба эти примера – из ранних, а поэты нынче взрослеют поздно. Рина Левинзон, если судить по «Отсутствию осени» в сравнении с предыдущими книгами, уже поняла, в чем ее сила.

Я так всегда стремилась к слову, к Богу,
и к той высокой ноте неземной,
что просмотрела тихую дорогу
и милого, который был со мной.

В самом деле, стремилась – и стремление это, вернее, следы его, остались в ранних стихах. Но это четверостишие лучше читать от противного – не просмотрела, и на свою «тихую дорогу» – которая, между прочим, не просто дорога, а лермонтовская, – Рина Левинзон уже вышла.

А. Т.

ВОЛЬФГАНГ КАЗАК. СЛОВАРЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕ 1917 ГОДА

*Wolfgang Kasack. Lexicon der russischen Literatur ab 1917.
Ergänzungsband. München, Verlag Otto Sagner in Kommission, 1986.*

Принцип, положенный Вольфгангом Казаком в основу выпущенного им нового справочника, вполне определенный – это принцип единства литературы метрополии и эмиграции. Данный справочник дополняет тот, что уже выпущен этим исследователем в 1976 году. В нем уточнены некоторые ранее неправильно приведенные данные,

приведены (или уточнены) даты смерти писателей, скончавшихся за последнее десятилетие, – этому посвящены последние страницы справочника.

В этом новом «Словаре русской литературы после 1917 года» 136 словарных статей отведено тем или иным авторам и 29 – отдельным вопросам. О некоторых писателях, уже вошедших в предыдущий сборник, даны новые статьи (В. Аксенов, Л. Копелев, В. Набоков, Ю. Трифонов). В словаре указаны беллетристы, драматурги и поэты (биографии, скажем, литературных критиков и литературоведов не рассматриваются).

К каждой статье о том или ином прозаике и поэте приложен список его основных публикаций (по возможности более полный) и список критических работ о нем. Иногда, правда, привести его невозможно – как в случае с писателем Леонидом Ильичом Брежневым (1906 – 1982), автором «Малой Земли», «Возрождения» и «Целины», – поэтому там отмечены только некоторые отклики из-за рубежа; между прочим, в СССР иногда говорят: такой-то – не член Союза писателей, поэтому не писатель, – а вот Брежнев получил Ленинскую премию по литературе, не будучи членом СП, что и отмечено в справочнике.

В статье «ГУЛаг и литература» это уже ставшее международным слово определяется как совокупность лагерей, тюрем и мест ссылки; это так и есть, но, может быть, перечисляя среди других Иосифа Бродского как узника ГУЛага, надо было пояснить, что это была ссылка; ведь в том же списке «переживших заключение» приведен и Шаламов, более 20 лет бывший в колымских лагерях. А приведенный там же Леонид Бородин – и до сих пор в лагере. Не совсем точно и то, что Василий Аксенов провел детство в зоне ГУЛага, – он приехал к матери на Колыму уже скорее юношей, чем ребенком. В перечислении авторов, писавших о ГУЛаге, отсутствует скончавшийся в Чистопольской тюрьме 8 декабря 1986 года Анатолий Марченко, чья книга «Мои показания» является одним из важнейших и хронологически первым свидетельством о послесталинских лагерях (хотя приводится даже такой специфический «гулаговед», как Айтматов). Не упомянута и книга Буковского «...И возвращается ветер», где как наяву описывается многое из лагерной повседневности 60-х – 70-х годов.

Другие статьи по темам («Цензура», «Тамиздат» и др.) содержательны и достаточно выпукло характеризуют те или иные феномены или издания.

А. К.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

книга 163-я

Сорок пятый год издания

Почетный редактор – Роман Гуль

Редактор – Юрий Кашкаров

ПРОЗА: Ю. Кашкаров – East-West; В. Крейд – Гость из Англии; С. Гозиас – Белая и черная коза; Дм. Шляпентох – Революция; В. Петров – Калиостро. Воспоминания и размышления о Михаиле Кузмине; Н. Ровская – Сергей Шаршун; Сергей Шаршун – Из листовок, публикация Рене Герра; Е. Таубер – О поэзии Ольги Анстей; Б. Шер – Клад прошлого.

СТИХИ: Е. Таубер, О. Капابلанка-Кларк; Л. Кузнецова; И. Чиннов, Г. Семенов, О. Ильинский.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Роман Гуль – Ледяной Поход; Из истории Гражданской войны (Письма, доклады и записи Н. И. Астрова для ген. А. И. Деникина. Публ. Ю. Фельштинского). «СТАРЫЕ ГОДЫ» – Вступит. ст. Д. Скалона; Б. Татищев – Семейная хроника; гр. Ю. Олсуфьев – В Никольском-Обольянове.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: П. Палий – Чаения народа или чаения народов? К. Померанцев – Христианство и коммунизм; Игум. Геннадий Эйкалович – «Федоровиана»; А. Иванов – Экология исторических памятников и могил: Посмертная судьба Д. В. Веневитинова, Судьба А. С. Грибоедова.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: Д. Бобышев – Слово об Иваске; В. Блинов – Памяти Ю. П. Иваска; В. Перелешин – Ю. Иваск; Е. Климов – Художник Эрик Прэн (1894 – 1985).

БИБЛИОГРАФИЯ: Ю. Иваск – О. Ronen. An Approach to Mandelstam; Е. Валин – Феликс Светов, «Опыт биографии».

Цена одной книги – 10 долларов

Подписная цена на 1986 год – 35 долларов

Заказы адресовать по адресу: The New Review,
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

По страницам журналов

«НОВЫЕ ГРАНИ»

Два номера «Граней», 139-й и 140-й, были последними с грифом: «Главный редактор – Г. Владимов». Поэтому, разбирая содержание этих номеров, нужно, необходимо подвести хоть приблизительный итог, подсчет потерь, убытков, а может, и усмотреть в свершившемся кое-какую прибыль – в виде урока, что ли, не касаясь печально известной баталии.

Досужие умы после 140-го номера напряглись, вычисляя, каким по цвету станет очередной номер, без Владимова – цвета «электрик» ли, или «жовтоблакитный»? И кто, в самом деле, наполнит портфель, ниже – редакционную корзину принятыми, непринятыми, придержанными рукописями стихов, рассказов, статей? Не будем обращаться к произошедшему за последние месяцы «процессу исключения» – самоотключения многих авторов от журнала. Лучше спокойно разберем то, чем были заполнены страницы этих двух номеров, 139-го и 140-го.

Вот, в номер 139-й признанный лидер «Граней» последних времен, Василий Аксенов, дал журналу киноповесть «Блюз с русским акцентом». Киносценарий о приключениях и злоключениях левого художника и его любимой, сперва в Москве, затем за океаном, с хэппи-эндом, с множеством очаровательных находок, слов, эпизодов. Аксенов – он любит слова, он живет в мире, где каждое создание на бумаге становится необходимо живым; и неважно, как оно родилось, и удачно ли дитя. Просто автор порождает на странице жизнь, со своими законами, как и в нашем трехмерном сосуществовании.

Прощаясь с «Гранями», уходящими в тень, по двум последним номерам «от Владимова», скажем доброе слово об авторах, сотрудничавших с ним. Сделаем как бы моментальный групповой портрет.

Итак, главное, что отличало авторский актив «Граней» за эти два с половиной года, была их щегольская эрудированность и интеллигентность, которая кое-кем принималась даже и за «образованщину», как в случае Вайля и Гениса. А на самом деле эти соавторы, большие любители мозговой эквилибристики, с жалящим раздвоенным языком, словно бы смущаются того, что их могут хоть на минуту заподозрить в тяжелодумстве. Их эссе о четырех прозаиках-поэтах – Ерофееве, Синявском, Сорокине и Саше Соколове

в № 139 именно «эссе», именно *попытка* (в буквальном переводе) выдать блеск стиля за его же легкомыслие!

Постоянно действующий в «Гранях», журналист, с добротной прокладкой философии, парадоксально мыслящий эрудит – Борис Парамонов. Европейец-славянофил, редкая разновидность сочетания. Кстати, его статья в № 139 – «Низкие истины демократии» перекликаются с «лагерной повестью» Л. Бородина, и тут тоже отдается предпочтение «низким истинам» чуть не мещанских догм «добропорядочной демократии» юродству бунта, даже если он против тупоумия, лицемерия, несправедливости. Стирание граней приводит к возникновению новых. Эта же статья – в противоречии со статьей Т. Горичевой, но об этом после.

Парамонов же в следующем номере, 140-м, рассказывает о творчестве Льва Лосева, с его высокой поэзией, не боящейся «низких истин». В 139-м номере были стихи Лосева. А ведь Лосев – тот поэт, благодаря стихам которого часто и покупается какой-либо номер журнала: «А, тут Лосева стихи? почитаем...» Под маскою профессора-слависта тут – сатирик-виртуоз, пожалуй, на уровне Саши Черного, весь в скобках, цитатах, перифразах, – оригинальнейший лирик:

В уборной стонет сизый голубок.
За дверью 00 (два нуля) хорал воды проточной,
и посетитель беспорточный
среди мрамора сидит, как полубог...

Среди тех, кого активно привлекали «Грани» к сотрудничеству, оказался журналист Михаил Лемхин. И его рассказ о повестях братьев Стругацких в № 139, и его рассказ «Все будет хорошо у нас с тобой...» (140) – это все работы, выполненные тщательно. В особенности это относится к фабуле рассказа «Все будет хорошо...»: молодого прозаика, собирающегося учиться в литературном институте, завербовывает ГБ. И он на это идет. И все у него хорошо становится в жизни, и даже рука, которая его по этой жизни ведет, не пытается заставить его как-то сюжетно подличать. Просто, согласившись сотрудничать, он загнал душу чёрту, а чёрту ведь ничего иного от него и не надо было! В самом таком акте растления есть как бы перформанс...

Чуть перескакивая через темы, возвращаясь на несколько шагов назад, вернемся к статье Бориса Парамонова из № 139. Он находится на позициях, прямо противоположных позициям Татьяны Горичевой в статье «Христианский дурак в век апофатики» (№ 140).

«Апофатика» – шикарное слово из богословского жаргона, наряду со словами «окормление», «судьбоносность», «марев»... Это как у художественных критиков – «маэстровость», «экспрессивность красок», «валёр»!

Татьяна Горичева, в противовес Парамонову, протестует против «тьмы» низких истин, против умеренности, среднего человека – в пользу юродствующего, «христианского дурака». Как сказано у поэта-обэриута Олейникова – «проходит в штанах обыватель – летит соловей без штанов». Горичева пишет очень красиво, почти как Гройс, ее побратим от эссе по искусству:

«...,теология Креста“ (Иоанна Креста – К. С.) не была до конца апофатичной. В ней оставался примат субъекта...» А то еще: «У него (Ницше – К. С.) мы найдем многие черты религиозной и антропологической апофатики...» Где тут кончается камлание юродивого и начинается торговля фальшивыми панацеями? Такой, во всяком случае, представляется хотя бы попытка Горичевой найти в Ницше христианского пророка-изгоя, в противовес «живущему в благополучии» (во лжи?) прихожанину воскресной мессы... Тот, кто превращает чуть не в новую догму утверждение, что дважды два – пять – притом не перед нашей, «ушлой» братией, но перед западной аудиторией, представляется таким миссионером-коммивояжером, с запоздалой рекламой «теневого света» причудливого славянского «первичного человека».

В «Гранях» при Владимове были представлены авторы самых различных философских формаций, литературных направлений, возрастных ступеней. И они существовали на равных: Редлих и Аксенов, Довлатов и Назаров, Горичева и Парамонов. Были там вещи спорные в смысле качества. Быть может, справедливо и обвинение в том, что слишком мало печаталось на страницах журнала «самиздата» – в противовес прежней установке о приоритете публикации рукописей из России. (А Ратушинская?! А Бородин?!)

Но ведь бывает и такая система отбора, когда подпольное написание оказывается единственным критерием для публикации на страницах русской зарубежной периодики! И даже довелось услышать мнение о неудачном рассказе какого-то писателя, опубликованном в «Гранях», что, мол, приди такой рассказ из «самиздата», еще можно было бы принять и простить...

Но вообще – как дальше будет складываться судьба русской западной журналистики? Останется ли феномен «Самиздата» в его первоизданном виде – то есть «в стол»? Что же до истории журнализма – как в истории искусства живопись начала XX века даже в следующем, XXI-м, будет называться авангардной, – так и «Грани», вы-

пущенные за два недолгих года под руководством Георгия Владимира, будут называться «Новыми Гранями» – что бы ни пришло потом.

Кира Сапгир

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ!

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ «ДВАДЦАТЬ ДВА»
(В каждом номере 224 страницы)**

Оригинальная и переводная проза, поэзия, статьи. Актуальные проблемы мира и Ближнего Востока. Анализ политических ситуаций в России и на Западе.

С 38 номера начало публикации самого знаменитого детективно-политического романа десятилетия – «Маленькая Барабанщица», о сложнейшей операции израильской разведки против террористов. (Исключительное право перевода предоставлено автором Джоном Ле-Карре нашему журналу).

Подписная цена на год (6 номеров) 40 долларов (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56). Заказы с указанием начального номера подписки и чеки посылайте по адресу: «22», Ramat-Gan, Israel, P. O. Box 7045.

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С КУРТОМ ВОННЕГУТОМ

– *Были ли вы в России?*

– Да. *(Улыбается.)* Вначале мы с моим другом полетели в Хельсинки и сели на поезд, пересекающий границу. Пересекли ее мы без проблем. Остановились в гостинице «Астория», богатой, для иностранцев... Через 48 часов нам в гостинице выдали билеты назад в Хельсинки: сказали, что нужно освободить комнату. За эти двое суток мы, правда, успели посмотреть Эрмитаж...



Итак, нас выслали в Хельсинки. Это было в 1967 году. Несколько лет спустя я встретился в Нью-Йорке с Евтушенко, на банкете в его честь, куда я был приглашен. Он знал меня как писателя и сказал: «Вы непременно должны приехать в нашу страну». Я ответил: «Последний раз, когда я попытался это сделать, меня

из этой страны вышвырнули». Он обещал выяснить, в чем дело. Через несколько лет он опять приехал в Америку читать свои стихи и сообщил мне: «Да, да, это очень забавно. Они подумали, что вы – педераст!»

– *Несколько слов о вашем детстве?*

– Я происхожу из среднезажиточной семьи. Мои отдаленные предки прибыли все из Германии. Но мои родители родились в Америке. Предки приехали в эту страну в 1839 году, до Гражданской войны и задолго до Статуи Свободы. Для многих американцев Статуя Свободы не значит ничего, потому что их предки прибыли до того, как она была установлена. К тому времени и мои предки были уже здесь.

– *Сколько было детей в вашей семье?*

– Трое. У меня есть брат, известный физик в Штатах, который также известен и в СССР. Моя сестра была скульптором, но больше матерью и женой – она умерла в возрасте 41 года.

– *Повлияло ли в какой-то мере ваше детство на вашу прозу?*

– Наверняка, но скорее косвенно: если бы я начал писать о моей семейной жизни в Индианаполисе, посерединке этой страны, то это вряд ли вызвало бы какой-нибудь интерес. Я и сам не считал бы такое чтение интересным.

– *Когда вы впервые осознали, что хотите быть писателем?*

– Еще ребенком я великолепно читал, и все наперебой меня расхваливали. Происходя из семьи, добывающей свой хлеб насущный в искусстве (отец и дедушка были архитекторы и художники), я, как и все кругом, считал, что для меня естественно пойти в искусство, а не во что-то другое. К тому же я учился в замечательной школе, в которой даже издавалась ежедневная газета. В нее я и писал постоянно. Потом Корнельский университет (в котором преподавал ваш и мой великий соотечественник) – я поступил на факультет биохимии, к которой не имел никакой склонности и дара, совершенно.

– *Так почему же вы тогда пошли на этот факультет.*

– Потому что так велел мой отец. Я был очень послушный сын. После войны я попал в Чикагский университет, куда принимали отвоевавших солдат по одному простому экзамену – на основе знания окружающего мира. В этот раз я избрал специальностью антропологию.

– *В каком возрасте вы издали вашу первую книгу? И, кажется, вы тогда писали полицейские репортажи для городской газеты?*

– Да, одновременно учась в университете. А моя первая книга – «Механическое пианино». Я сдал рукопись в 1951 году, а опубликована она была в 1952-м. Так что мне было 30 лет.

– *Были ли у вас сомнения относительно того, что ее опубликуют?*

– До этого я продал в журналы много коротких рассказов, так что я был профессиональный писатель.

– *Выход вашей первой книги, принес ли он вам ожидаемое?*

– О, да! Абсолютно!

– *Был ли это самый возвышенный момент в вашей жизни?*

– Как я уже упомянул, я публиковал свои рассказы уже в течение трех лет, до того как вышла моя книга. Так что я уже

пережил восторг от того, что меня печатали очень популярные в то время журналы. Эти журналы больше не существуют. Это было до телевидения – великолепные большие журналы, очень процветающие, они платили невероятно много за рассказы.

– *Какие это были журналы?*

– «Сатердей ивнинг пост», «Колльерс». Они столько платили за короткие рассказы, что даже сейчас это показалось бы много.

– *Значит, это была как бы прелюдия? Вас не смущает теперь то, что вы печтаетесь в «Плейбое»?*

– Нет, не смущает. Хотя не так уж много я там опубликовал.

– *«Плейбой» стал парадоксом. Все знаменитые писатели печатают свои произведения в журнале...*

– Это не более чем способ заработать на жизнь...

– *Я не знаю, случайно или нет, но похоже, что мистер Хеффнер собрал лучшую коллекцию авторов только потому, что он много платит.*

– Он коллекционирует наши имена. И только. Ему начхать, что мы пишем. Кстати, если сделать антологию того, что под нашими знаменитыми именами было опубликовано в этом журнале, это оказалась бы очень плохая книга! Единственное, что его волнует, – это вынести наши имена на обложку.

– *Может быть, это все-таки принесет пользу, и девочки на блестящих страницах, ошибившись, ненароком скользнут взглядом по опубликованному?*

– Очень сомневаюсь!

– *«Колыбель для кошки» сделала вас всемирно известным писателем. Что изменилось для вас внешне и внутренне?*

– Писатели обычно не показываются публично и не мозолят глаза своим читателям. Я начинал до телевидения, хотя «Колыбель для кошки» и стала культовой книгой на протяжении 60-х годов, вперемешку с Вьетнамской войной и музыкой рок-н-ролла. Но я так и не показался на глаза своим последователям. Мои книги печатались, расходились и переживали какой-то свой опыт – меня это не касалось. В плане бизнеса книга принесла достаточно дохода, чтобы я мог жить безбедно и продолжать писать. Впрочем, я и до этого умудрялся, живя скромно, существовать с семьей на мои литературные заработки.

Что ж изменилось? Я работаю по утрам, до полудня. Во второй половине дня я выхожу гулять и хожу по всему городу, обхожу Манхеттен. Некоторые люди узнают меня. Это приятно, но в этом нет ничего особенного: каждое человеческое существо хочет быть признанным в своем обществе. Так ведется, по крайней мере, миллион лет.

– Как бы вы сегодня ответили на вопрос: «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?» Ваш персонаж-философ Боконон задает этот вопрос и отвечает на него: «Нет». Можно полагать, что он выражает мысли автора...

– О, да. Летопись человечества совершенно ужасна. И со всеми новыми видами оружия, механическими, химическими, новой техникой, способной к большему разрушению, я не думаю, что у нас есть шанс, судя по прошлому. Я чувствую, что две мировые войны были настолько ужасны и говорят о нас как о животных столько, что я не вижу надежды на выздоровление. Я посетил Освенцим и Бжезинку, будучи в Польше год назад. И поднялся на сторожевую вышку посмотреть вниз, на крематорий... И смог сделать единственное заключение, что все мы настолько ужасные животные, что нам не следует и существовать.

– Не все из нас стали животными...

– Во всех нас есть этот потенциал, я думаю.

– И в детях?

– Нет, пожалуй, нет...

– Дети невинны, пока не вырастают и не становятся взрослыми...

– Но зло их привлекает, и они способны... Я считаю, что зло очень легко выпустить на свет Божий, попросту популяризируя его.

– Пытаетесь ли вы в своих последних книгах учить человечество, что оно должно предотвратить еще одну великую трагедию – третью мировую войну (после которой вряд ли кто останется...)?

– Я говорю только о смирении. Абсолютно отсутствует смирение: не обидь слабого, не укради, не насилуй. Не осталось никаких преград. Было бы невероятно интересно, если бы пилот, который полетел на Нагасаки и сбросил бомбу, четыре дня спустя после Хиросимы, прекрасно зная, ч е м

это грозит, если бы этот пилот – отказался выполнить задание! Я думаю, это был бы колоссальный момент в истории европейской цивилизации!

– Но другой бы сделал это.

– Конечно. Но п е р в ы й отказался бы! Посмотрите на историю Иисуса, неважно, правда это или нет, – она невероятно поучающая, один человек, одного человека. Или, например, Сахаров и Боннэр, их история свершается сегодня. Это экстраординарные люди, отказавшиеся принять участие в приготовлении к войне.

– Я знаю, что вам, может быть, неприятно это вспоминать, но так как этот опыт повлиял на ваши, по крайней мере, две главные работы, то я хочу спросить: как вы попали в плен?

– Я был солдатом в пехоте. В 1944 году моя дивизия стояла частично в Бельгии, частично в Люксембурге, прямо на границе с Германией. Неожиданно мы были атакованы, мы абсолютно не ожидали атаки, так как позади нас не было ничего, что стоило захватывать. Нас было 15 тысяч солдат, защищавших 75 миль линии фронта. Это был достаточно длинный фронт для небольшого количества солдат. Немцы собрались с последними силами и обрушились на нас с невероятной яростью. Причины этого понять трудно, так как позади нас был сплошной лес. Они прорвались сквозь нас, сметая все на своем пути и убивая. Но так как у них не было резервов для того, чтобы продолжать наступление, то большинство из тех, кто разбил мою дивизию, были сами в течение пяти дней убиты или взяты в плен.

– Не попали вы в плен, возникла бы книга «Бойня № 5»?

– Нет. Я был бы убит, если бы меня не захватили в плен. У меня была работа, на которой люди не жили слишком долго. Я был разведчик, батальонный разведчик. В американской армии в то время каждая пехотная рота имела разведчиков. Но батальон, который состоял из трех рот, имел своих собственных шесть разведчиков. И мы всегда шли в дозоре, увидеть или выведать, что могли. Так что разведчиков, как правило, часто убивали или ранили.

– Если бы вас не захватили в плен, а вы все-таки выжили бы в рядах американской армии, возникла бы эта книга тогда?

– Нет, я должен был увидеть все это, чтобы написать. Иначе, я думаю, это вряд ли меня заинтересовало бы. Я бы

не знал многого о них. И я бы просто написал, как это быть разведчиком.

– *Что от писателя Воннегута присутствует в писателе-фантасте Килгоре Трауте в романе «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер»?*

– Даже не знаю.

– *Но это не полностью вы?*

– О, нет! Существует тип классического писателя в этой стране, который пишет научную фантастику. Они, эти писатели, решили быть отдельной семьей, и я знал многих из них. Они любят друг друга, они все время встречаются, они пишут очень длинные письма друг другу. У моего героя был прототип – один из этих писателей, он умер два года назад.

– *Какие американские писатели влияли на вас вначале?*

– Я читал невероятно много, так что был готов ценить почти всё. Конечно, Марк Твен, также Менкен, который, вероятно, не известен русскому читателю.

– *Он переведен, но малым тиражом, «для избранных».*

– Его английский язык настолько чарующий, что я не совсем себе представляю его хороший перевод. Но наиболее глубокое влияние на меня, как и на большинство писателей, которых я знаю: на Нормана Мэйлера, Уильяма Стайрона, – произвели русские писатели XIX века. Это очень странно. В Соединенных Штатах мы встречали самых разных эмигрантов, потому что многие приезжали сюда, – кроме русских. Было много шотландцев, ирландцев, итальянцев, греков, поляков. Но русских было немного. А те, кто прибыл на наш континент, имели тенденцию оседать скорее в Канаде, чем в США. Тем не менее, в Америке всей душой отозвались на литературу дореволюционной России, что необъяснимо. В моих глазах наиболее гуманный писатель, человек, на которого я больше всего хотел бы походить, – это Чехов. И писатель, который был настолько смешным*, насколько это возможно, – Гоголь.

– *Не удивительно ли, что русские писатели XIX века влияли на современных американских писателей, а американские писатели всегда оказывали влияние на современную русскую литературу? Считалось, что американская – лучшая из литера-*

* Слово «смешным» не совсем точный и соответствующий перевод английского слова «funny».

тур мира – включая вас, Роберта Пени Уоррена, Скотта Фитцджеральда, Томаса Вулфа и так далее. Вы не осознаете, какое влияние вы имели, имеете, хотя бы эти имена – Хемингуэй, Стейнбек, Фолкнер.

– Да, я был достаточно поражен этим, потому что наши общества настолько далеки исторически, географически и культурно. Так что, казалось бы, откуда взяться этой великой симпатии?! Я думаю, что оба наших общества – крестьянские, людские. И в нашей литературе, как в русской, мы писали о рядовых людях, а не о титулованных, избранных. Если взглянуть внимательно на французскую, английскую, испанскую литературу – они восхваляют и находят великие качества в избранных людях, имеющих предков-аристократов и так далее. Без чего мы обходимся полностью. Я думаю, может, это и есть причина нашей большой симпатии друг к другу. Мы все пишем – о «простых людях». Которые, в свою очередь, не так просты. Но происхождение у них обычное.

– *Испытали ли вы влияние Фолкнера или, например, Сэллинджера?*

– О, они безусловно интересовали меня, и, в действительности, никогда сам не знаешь, кто повлиял на тебя, а кто нет, так как мы не копируем друг друга.

– *Я не говорю о копировании. Почти у каждого в жизни было несколько писателей, перед которыми человек преклонялся, – были ли такие писатели в вашей жизни?*

– В который раз мне задают этот вопрос, и я отвечаю – Марк Твен. Твен, Мелвилл из американцев, и потом – русский роман XIX века. А также тот, кого я всегда забываю назвать и только через две недели вспоминаю – хорошо, что сейчас не забыл: Стивенсон «Остров сокровищ». И Артур Конан-Дойль, они оба были великие рассказчики.

– *Кто еще из иностранных писателей, кроме русских?*

– Мопассан. Я читал очень много Вольтера, Свифта. Они были мои писатели и остались ими. Я пишу в их направлении, не очень популярном. Критикам это не нравится, они находят это странным и злым. Большинство критиков чувствуют себя неудобно с сатирой.

– *Не знаю, ответите ли вы на такой вопрос: кого бы вы назвали в числе первых пяти современных американских писателей, кого вы рекомендовали бы читать?*

– Это всё очень известные имена. Я, естественно, не расставляю их по рангу (а также запишем, для протокола, я протестую против вопроса, но – все-таки отвечу). Я считаю, что несомненно стоит читать Апдайка, Стайрона, Хеллера, Джона Ирвинга и Роберта Стоуна (два последних моложе, чем первые три – представители моего поколения). Но я вообще считаю, как и писал до этого, что мы не произвели романа мирового класса, как например, «Улисс», или «Война и мир», или «В поисках утраченного времени». Однако мы создали свою литературу, достаточно удовлетворительную.

– *Включили бы вы себя в пять имен американских писателей, которых стоит читать в Америке?*

– (Минутное молчание.) У меня взрослые дети. Как-то раз на семейной вечеринке я начал танцевать и неожиданно полюбопытствовал, что они думают обо мне танцующем? Я подошел и спросил их. Они вынесли приговор, что я танцевал *допустимо*. Так что я – *допустимый*.

– *Что вы думаете о современной русской литературе?*

– Я время от времени читаю современную русскую литературу, но мне не всегда легко запомнить имена... Одна из лучших коротких книг, которую я читал, была «Верный Руслан» Владимова. Великолепная история! Я читал Максимова, Солженицына. Мне не очень понравился «Август Четырнадцатого». Но один из сильных романов, которые я читал, абсолютный шедевр был «Один день Ивана Денисовича». А также мне очень нравятся его короткие рассказы. Если бы я ожидал такого интервью, я приготовил бы свое «домашнее задание» и знал больше!.. В общем, та часть русской литературы, с которой я знаком, – в ней всё хорошо, но, к сожалению, я не читал всего. Могу сказать, что моя любимая книга более раннего периода вашей литературы – «Мастер и Маргарита».

– *Над чем вы работаете сейчас?*

– Я работаю над книгой прозы о единственной школе живописи, существовавшей в Америке, основанной абстракционистами, нью-йоркской школой живописи: Джексон Поллак, Марк Ротко и другие. Я знал нескольких художников, когда они были живы, и мне интересно, что они чувствовали в момент их творчества, так как рисовали они картины *н и - о - ч е м*. Абсолютно *ни о чем*! Так как если вы могли угадать на картине цветок, облако, вазу с фруктами, то картина была – провал. Но они были интересными людьми, и мне хочется

понять, что они чувствовали в конце жизни, всю свою жизнь используя свой талант, чтобы представить н и ч т о. Многие из них покончили самоубийством, включая Поллака, скульптора Смита, а также одного из основателей школы – Арчила Горки. У меня нет названия для этой книги, так как я пишу, пытаюсь понять жизнь этих людей, причины и мотивы, которые двигали ими.

– *Пришли ли вы уже к каким-то итогам вашей жизни как писателя, и удовлетворены ли вы?*

– Начинаешь с абсолютно примитивного призыва – написать книгу, и чудом кажется, что напишешь хоть одну. Получилось так, что я написал несколько и они были неплохо встречены. В школе я был многообещающим ребенком, так что я удивлен и поражен, что оказался более одаренным, чем всем казалось вначале. В моих книгах есть серьезные ошибки, о которых я теперь знаю, но я не буду возвращаться и исправлять их. А в остальном, за исключением состояния сегодняшнего мира, – я удовлетворен.

– *Вернемся к началу нашего интервью. Посещали вы Советский Союз позднее?*

– О, да. О первой попытке я рассказал в начале, а второй раз, это было примерно в 1972 году, я приехал увидеться с моим переводчиком – Ритой Райт-Ковалевой. Я провел тогда в Москве неделю. Потом я поехал снова, не помню зачем. Но я виделся с Ритой и Москвой снова. Тогда Советский Союз вступил в международную конвенцию по охране авторских прав, и моя книга была вторая, после Альберто Моравиа, которую советские купили. Там же и сторговали со мной цену – 1500 долларов. Лучше, чем ничего!..

– *Вас, может быть, удивит, что самую большую аудиторию в Европе вы имеете в России, где ваши книги практически читают миллионы читателей.*

– Меня не волновали деньги. Каждый писатель хочет читателя. Четвертый раз, кажется, в 1979 году, я был в Ленинграде, а потом в Москве с моим издателем Сеймуром Лоуренсом, который никогда не был в Советском Союзе и очень хотел туда попасть. В эту же поездку мы навестили всех моих европейских издателей и после Финляндии прибыли в Ленинград. И в этот раз я смотрел потрясающую постановку «Мёртвых душ» в театре. По окончании спектакля режиссер и актеры устроили в нашу честь вечеринку.

– Какую последнюю вашу книгу перевели на русский язык?

– Я не совсем уверен, надо подумать. Думаю, «Завтрак для чемпионов».

– Хотите ли вы что-нибудь сказать русскому читателю?

– Мне интересно знать, что русские думают о нас. Огорчен, что Солженицына не интересует Америка и его соседи. Странно, что он находит нас неинтересными. Хотя, может, он через столько прошел и такое пережил, что этого хватит до конца его жизни. Несомненно, что он один из величайших людей на земле.

– Собираетесь ли вы еще посетить Россию?

– Не знаю. Я столько уже путешествовал!..

Интервью взял А. Мирчев

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

Ю. Алешковский, И. Шапиро

Поэзия:

**Д. Бобышев, А. Гриднев,
Б. Кенжеев, В. Мартова**

Публицистика:

**Т. Горичева, А. Зиновьев,
М. Джилас, А. Оз, А. Федосеев,
Д. Штурман**

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40,- ДМ, или 20. – US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,- ДМ, или 4. – US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



K

ПАМЯТИ ПОЭТА

Умер наш друг. Иван Венедиктович ЕЛАГИН, замечательный русский поэт, две трети жизни проживший вдали от России.

Жизнь Елагина была чудом, ибо по законам двадцатого века он не мог, не должен был выжить. Мальчиком в Киеве его обрекли на небытие как сына «врага народа». Когда пришли немцы, ему грозила газовая камера как сыну еврейки. Террор, война, нищета, заброшенность – все это он пережил и одолел не потому, что ухитрился укрыться от века-волкодава, а потому, что хранил не столько жизнь свою, сколько свой дар.

И были люди, которые на этот раз откликнулись: русские, украинцы, евреи, американцы. Сначала немногие, а с годами все больше и больше. Без компромиссов, без сделок с совестью, Елагин пришел к русскому читателю. Его чистую лирику, его изумительный перевод американского поэтического эпоса, «Тело Джона Брауна» Стивена Винсента Бене, читают за рубежом и на родине. Хочется верить, что будут читать всегда. Вечная ему память.

*Юз Алешковский,
Иосиф Бродский,
Лев Лосев*

12 февраля 1987

«Континент» присоединяет свои глубочайшие соболезнования.

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО АРТИСТА

27 марта 1987 года Мстиславу Ростроповичу исполнилось 60 лет. Для музыканта такого масштаба это пора расцвета. Недаром его деятельность год от года становится все разностороннее: он сделался на Западе одним из самых прослав-



ленных дирижеров, ему принадлежит несколько великолепных оперных постановок — вспомним хотя бы «Евгения Онегина» в Парижской Гранд-Опера или совсем недавнюю «Войну и мир» в концертном исполнении во время организованного им же прокофьевского фестиваля в Париже. Он организует музыкальные фестивали во всех концах мира, возглавляет жюри нескольких музыкальных конкурсов, в том числе созданного им конкурса молодых скрипачей и виолончелистов. Как когда-то в России Прокофьев и Шостакович, так теперь крупнейшие западные композиторы посвящают ему свои произведения, с которыми он первым знакомит музыкальный мир. Статьям, которые Ростропович время от времени публикует в западной печати, позавидовали бы многие профессиональные публицисты. Но жизненные планы его простираются еще дальше: он задумал основать всеамериканскую консерваторию

в Вашингтоне, подступает к большой автобиографической книге, планирует участие в кино.

Садистскими унижениями изгнав Мстислава Ростроповича с родины, «хозяйева» Советского Союза не оставляли его своими заботами и на чужбине: расплускали сплетни одна нелепее другой — что он сошел с круга, спился, валяется под забором, ходит чуть ли не с протянутой рукой и готов уже на коленях ползти обратно. В это самое время Мстислав Ростропович триумфально покорял музыкальные аудитории всего мира, буквально обрстая по пути титулами, званиями, орденами и, конечно же, поклонниками. Дружбу с ним почитают честно для себя представители царствующих домов, главы правительств, ученые с мировыми именами, звезды всех областей человеческой деятельности и духа. Фамильярное, на первый взгляд, «Слава» превратилось теперь в знак безоговорочного преклонения перед гением художника и неповторимостью его личности.

И вот сегодня, на волне пресловутой «оттепели», рассчитывая на христианскую незлопаятность и ностальгическую эмоциональность великого артиста, его приглашают — на гастроли — в Москву. Во всяком случае, как мы слышали, такое приглашение передал ему «от имени советского правительства» находившийся в США главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович. Он и готовый «простить» его — у него же прощения не просят. Нет сомнения, что великий артист не удовлетворится милостью с барского плеча: если он решит встретиться со своими слушателями и почитателями на родине, то условия этой поездки продиктует советским властям предрержащим его мировая слава.

Что же пожелать ему на пороге седьмого десятка? Хватит ли у нас фантазии на большее, чем мечты и замыслы самого художника? Пусть исполнится все, чего он желает самому себе.

Дай-то тебе Бог, Слава!

«КОНТИНЕНТ»